АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1967

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Брозович (Загреб). Славянские стандартные языки и сравнительный метод 3

ДИССКУСИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Л. В. Бондарко (Ленинград). Структура слога и характеристики фонем 34
В. И. Григорьев (Москва). Модуляционная природа речи и дифференциальные признаки фонем 47
А. Ф. Лосев (Москва). Логическая характеристика методов структуральной типологии 62
Е. М. Поспелов (Москва). Картографирование как метод исследования субстратной топонимики 80

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

И. А. Перельмутер (Ленинград). О первоначальной функции индоевропейского перфекта 92
А. С. Либерман (Ленинград). Общегерманское /h/ и некоторые закономерности звуковых изменений 103
А. Н. Тихонов (Самарканд). О семантической соотносительности производящих и производных основ 112
Г. Е. Корнилов (Чебоксары). О типах топонимов в агглютинативных языках 121

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

О. А. Лаптева (Москва). Изучение русской разговорной речи в отечественном языкознании последних лет 129

Рецензии

Э. Итконен (Хельсинки) *В. И. Лыткин.* Исторический вокализм пермских языков 139
Е. Кржижкова (Прага). «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в.» 144
О. Г. Карпинская (Москва). *A. M. Schenker.* Polish declension 153
А. М. Щербак (Ленинград). *А. А. Юлдашев.* Аналитические формы глагола в тюркских языках 157

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 163
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию. 171

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

Д. БРОЗОВИЧ

СЛАВЯНСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЯЗЫКИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД

1.1. На IV Международном конгрессе лингвистов в Копенгагене в 1936 г. акад. Б. Гавранек поставил такой вопрос: «Является ли вообще языковая норма, нормирование литературного языка и культура речи предметом лингвистики, относится ли это к ее научным задачам?»[1]. В наше время на этот вопрос отвечают утвердительно, так же как отвечал Б. Гавранек в 1936 г., но это не значит, что сама проблема снята с повестки дня. Лингвистические дисциплины, занимающиеся стандартными языками (в нормативном или ином смысле), до сих пор не определили своего отношения к тем дисциплинам, чьим объектом являются языки безотносительно к их стандартизованности или нестандартизованные языки и диалекты. Можно даже сказать, что иногда наблюдается некое скрытое принципиальное непонимание различия этих дисциплин, и в связи с этим — недооценка науки о стандартных языках.

Особенно важным оказывается вопрос о значении стандартных языков для сравнительного языкознания. Лингвисты, занимающиеся исключительно стандартными языками, мало интересуются сравнительным языкознанием, считая его даже устарелым, а компаративисты, со своей стороны, не интересуются проблематикой стандартных языков, но пользуются в той или иной мере их материалом, не обращая специального внимания на их стандартность.

Данная статья посвящена не столько общей теории стандартных языков, сколько месту и роли стандартных языков в компаративистике — генетической, типологической и сопоставительной. Автоматически возникает вопрос — не должна ли существовать в компаративистике специальная дисциплина, предметом которой было бы изучение и сравнение исключительно стандартных языков с учетом этой их специфики. Естественно, что поднимаемая здесь тема должна опираться на материал какой-либо конкретной языковой семьи — в данном случае она ставится главным образом на материале славянских языков.

1.2. Для рассматриваемой здесь проблемы вопросы терминологии приобретают исключительное значение, во-первых, из-за недостаточной ее разработанности и отсутствия необходимости ассоциаций, которые могли бы обеспечить понимание даже в условиях неоднозначности и неустойчивости терминов; во-вторых, из-за того, что новая постановка вопроса требует новых терминов, пересмотра, уточнения или иного распределения старых.

1.2.1. Общим, качественно и иерархически нейтральным, т. е. не имеющим специфического значения, избирается термин и д и о м. Идиомы мо-

[1] См.: B. Havránek, Zur Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur, «Actes du IV Congrès international de linguistes», Copenhague, 1938, стр. 151; переиздано в сб. «A Prague school reader in linguistics», Bloomington, 1964, стр. 413.

жно классифицировать по трем различным критериям: органичность ~ неорганичность, конкретность ~ неконкретность, высшая ~ низшая иерархическая ступень. Очевидно, что при такой классификации неизбежна схематичность, ведущая к игнорированию отдельных явлений, неповторимых в своей специфике и потому не подлежащих абсолютной схематизации. Но схемы имеют то преимущество, что они открывают внутреннюю природу и взаимоотношения явлений, образующих структуру.

1.2.1.1. Органическими считаются идиомы, развившиеся в рамках конкретной этнической общности, следовательно, и конкретной этнической культуры; они удовлетворяют лишь ее собственные коммуникативные и экспрессивные потребности. Определение «этнический» не следует рассматривать как синоним к «автохтонный» или «генетически чистый», так как генезис данной общности, так же как и ее культура (цивилизация), для нас в данном случае не существен. Для органического идиома существенно, что он удовлетворяет потребности конкретной культурно-этнической общности и существует только для этой цели. Если этим идиомом в той или иной мере пользуются представители других общностей, то лишь временно, в условиях пограничных, торговых и подобных контактов, общности же сосуществуют как замкнутые организмы. Такие общности, особенно если они оказываются соседними, обладают известным числом общих элементов культуры. Тем не менее эти элементы являются неотъемлемой частью каждой общности; и хотя они принадлежат одновременно нескольким общностям, они не функционируют в качестве автономной суперструктуры и поэтому не нуждаются в отдельном, собственном языковом инструменте. Согласно такому представлению, органическим идиомом мы можем считать лишь говор социально монолитной, этнически гомогенной (независимо от генезиса), замкнутой и устойчивой общности, с определенными особенностями культуры, т. е. говор отдельного села или группы сел и деревень или говор какого-либо племени, рода и т. п., находящихся на начальных ступенях общественного развития. Это исходное положение требует дополнения и разработки в двух направлениях.

На высших ступенях развития появляются автономные надстройки цивилизации, уже лишенные строго определенной этнической характеристики; вместе с их появлением возникает необходимость в идиомах, которые бы их обслуживали. Органические идиомы дают материал для создания новых, неорганических языковых инструментов[2], продолжая при этом существовать и развиваться параллельно с ними. Таким образом, органическим будем считать любой идиом, отвечающий изложенной выше характеристике, хотя в наше время его в чистом виде уже нигде нет, даже на Новой Гвинее: ныне органические идиомы сосуществуют с надстроечными неорганическими. Вместе с тем органическим будем считать любой абстрактный идиом высшего иерархического ранга, в котором абстракция выводится из органических идиомов, о чем речь будет ниже.

Неорганический идиом в самом характерном своем виде — это любой стандартный язык. Кроме стандартного языка, неорганическими идиомами следует считать также иерархически более низкие феномены той же категории, например разговорный язык (общенациональный или региональный, resp. зональный, в случаях, когда его употребление выходит за релевантные лингвистические границы), интердиалект и т. п. Термин «разговорный язык» нужно воспринимать как обозначение различных субстандартных идиомов, которые в отношении к устной форме

[2] Исключение составляют только так называемые искусственные языки, но и они, посредственно или непосредственно, пользуются материалом природных языков.

установившегося стандартного языка определяются различными «негативными» критериями: региональными отклонениями от нормы, инновациями, не поддержанными престижем, функциональными редукциями и редукциями в инвентаре субстанциональных и структурных элементов, наконец, нестабильностью и неопределенностью самих этих элементов.

1.2.1.2. К о н к р е т н ы м и можно считать только два вида идиомов: территориальный говор и стандартный язык. Только эти идиомы обладают четко определяемым инвентарем элементов своей субстанции и четко определяемой структурой — так что в принципе можно в каждом случае о каждом элементе субстанции или структуры дать однозначный ответ, относится ли он к норме или находится вне ее. (Здесь понятие «норма» употребляется в широком смысле, речь идет о норме языкового сознания коллектива, который пользуется данным идиомом, а не о нормативности, являющейся плодом процессов стандартизации. Естественно, что в стандартном языке присутствует и нормативность.)

Все остальные виды идиомов н е к о н к р е т н ы; органические идиомы, иерархически более высокие, чем говор, а б с т р а к т н ы.

1.2.1.3. И е р а р х и ч е с к а я л е с т н и ц а характерна для обоих видов идиомов — органических и неорганических. Среди неорганических идиомов стандартный язык занимает высшее положение; с лингвистической точки зрения все стандартные языки равноправны. Если бы для них могла быть установлена иерархия, она опиралась бы не на лингвистические особенности самих стандартных языков, а основывалась бы на свойствах того коллектива или той общности, которая пользуется определенным стандартным языком. В этом случае можно было бы установить иерархию не языков, а коллективов (см. 1.3.2.). С другой стороны, если невозможна иерархия стандартных языков на основе их субстанциональных и структурных черт, то возможно описание и систематизация стандартных языков на основе их функциональных признаков (см. 3.2.4).

На иерархической лестнице неорганических идиомов высота ранга прямо пропорциональна степени конкретности: высшим рангом наделен стандартный язык, являющийся конкретным идиомом, разговорный язык относится к неконкретным идиомам (хотя это в малых территориальных масштабах не всегда ощущается) и потому принадлежит к низшему рангу, самый низший ранг, однако, отведен интердиалекту, отличающемуся еще меньшей конкретностью. На лестнице органических идиомов высота ранга обратно пропорциональна степени конкретности. Здесь обладает конкретностью только территориальный говор, являясь органическим идиомом самого низшего ранга. Каждый органический идиом более высокого ранга абстрактен, и эта абстрактность тем больше, чем выше ранг. Это означает, что все органические идиомы — результат абстрагирования общих черт (особенностей) того или иного числа говоров, которые, только будучи конкретными идиомами, способны дать материал для абстракции. Отсюда следует, что ранг органического идиома тем выше, чем больше число говоров, служащих исходной базой при абстрагировании.

Основные позиции на иерархической лестнице органических идиомов занимают территориальный говор как конкретный идиом и диалект как идиом абстрактный. При этом мы можем сгруппировать говоры в группу говоров, наделенную меньшей степенью абстракции, чем диалект, а диалекты в группу диалектов, обладающую большей степенью абстракции, чем диалект. Таким образом, мы можем зафиксировать четыре основных ранга: говор, группа говоров, диалект, группа диалектов[3]. Над ними на-

[3] Подробнее об этом см.: D. B r o z o v i ć, O strukturalnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrpskih dijalekata, «Зборник за филологију и лингвистику». III, Нови Сад, 1960.

ходится органический идиом самого высокого ранга, для которого у нас нет более удачного названия, чем термин «язык», а так как это слово входит также в состав двучленного термина «стандартный язык», в лингвистике нередко возникают недоразумения в связи с содержанием этих двух терминов (см. 2.2.3).

Органические идиомы ранга более низкого, чем язык, относятся к предмету диалектологии. Органические идиомы ранга «язык» группируются в различные меньшие и большие группировки — группы и семьи языков. Проблема их классификации находится в ведении сравнительной грамматики. Подобный подход к идиомам различного ранга наблюдается и в типологических исследованиях, ведущихся как на уровне диалектологии, так и на уровне компаративистики.

1.2.1.4. Понятие д и а с и с т е м ы — последнее обобщающее понятие-термин, необходимое для систематизации идиомов. Территориальный говор, конкретный органический идиом, в лингвистическом отношении является системой. Органические идиомы более высокого ранга абстрактны и, следовательно, являются диасистемами. Органический идиом в ранге «язык» также оказывается диасистемой. Что же касается групп идиомов в ранге «язык», то их мы также можем в некотором отношении считать диасистемами, но с весьма высокой и все возрастающей степенью абстракции: подгруппа (или малая группа языков), группа (или «ветвь» языков, **особенно в славистике** [4]), языковая семья в узком смысле, языковая семья в широком смысле. Таким образом, к диасистемам причисляются как отдельные органические идиомы высшего или низшего ранга, так и два или более идиома в ранге «язык».

Естественно, что и стандартный язык, будучи конкретным идиомом, является системой, так же как и территориальный говор, но неорганические идиомы в ранге более низком, чем стандартный язык, нельзя считать ни системами, ни диасистемами, так как они неконкретны и не являются результатом абстракции [5]. Поэтому к неорганическим идиомам из-за конгломератного характера их субстанции и структуры подобная проблематика не применима.

1.2.2. Особая терминологическая проблема возникает в связи с термином с т а н д а р т н ы й я з ы к. Любой термин побуждает к определению отношения содержания и формы, значения и знака (обозначающего). В этом отношении различия в терминах, применяемых к стандартному языку в связи с разными национальными терминологическими традициями, не столь существенны и глубоки; практически разногласия в отношении содержания понятия «стандартный язык» меньше, чем в теории стандартных языков. В данном случае вопрос обозначения особенно важен и имеет принципиальное значение.

Терминология отдельных языков богата разными терминами, соответствующими термину «стандартный язык». Среди них наиболее употребителен «литературный язык» (нем. «Literatursprache», англ. «literary language», франц. «langue littéraire», итал. «lingua letteraria», хорв.-сербск. «književni jezik»). Этот термин обладает лишь одним положительным свойством: длительной традицией и широкой известностью. В ассоциативном плане он плох, так как слишком мало отличается от специализированного термина «язык литературы». По той же причине вообще неудобно включать слово «литература» в состав термина, означающего стандартный язык — в литературе используется не только стандартный язык, и потому термин «литературный язык» слишком ш и-

[4] Термин «ветвь» неудобен по той причине, что вызывает ассоциации с родословным деревом (Stammbaum), но и термин «семья» связан с биологическими представлениями. «Семьей в узком смысле этого слова» можно назвать, например, славянскую, «семьей в широком смысле» — индоевропейскую.

[5] В качестве альтернанта конкретности могут выступать две категории: абстрактность в полярной и неконкретность в привативной оппозиции.

р о к. Литература (т. е. беллетристика) пользуется и другими органическими и неорганическими идиомами высшего и низшего ранга, чаще всего в диалоге, но не только в диалоге, например, такими нестандартными письменными языками, как провансальский, диалектами и интердиалектами языков, имеющих свою стандартную форму, как хорватскосербский [6], или не имеющих ее, как кашубский [7], затем разными видами разговорного языка, жаргонами и т. п. С другой стороны, термин «литературный язык» одновременно слишком у з о к, так как очевидно, что стандартный язык употребляется не только в беллетристике. Этими аргументами можно было бы пренебречь, учитывая широкую употребительность термина и традицию, если бы не существовало принципиального момента, требующего отказа от термина «литературный язык». Этот термин вызывает ассоциацию о доминирующей роли беллетристики в стандартном языке, хотя литература является лишь одним, правда самым существенным, из компонентов. С этим компонентом, конечно, следует считаться, особенно при рассмотрении ранней фазы развития стандартного языка, но в принципе он остается лишь primus inter pares.

Относительно малую употребительность термина «стандартный язык» нельзя считать решающим аргументом против его принятия. Он уже достаточно хорошо известен, в англо-американской терминологии он употребляется чаще других конкурирующих терминов, а в других терминологиях он тоже употребляется все чаще (из славянских более всего — в хорватскосербском) *. Единственным серьезным аргументом против его употребления следует считать второе значение прилагательного «стандартный», кроющее в себе опасность ложного толкования. Однако основное интернациональное значение этого прилагательного хорошо отражает существенные особенности любого стандартного языка, в первую очередь те, которые ассоциируются с общественной функцией стандартного языка.

Остальные конкурирующие термины одновременно и качественно несовершенны и мало распространены. Термин «spisovný jazyk» принят в чехословацкой лингвистике, где он успешно выполняет свою роль. Довольно употребителен он и в Германии («Schriftsprache»). Однако три момента делают его неудобным для обозначения стандартного языка: 1) необходимость интернациональной семантики у национальных терминов; 2) потребность в термине «письменный язык» для обозначения тех языков, которые имеют письменную форму и литературу, но не являются стандартными языками (например, провансальский); 3) потребность в термине «письменная речь» для обозначения письменной реализации стандартного языка (при противопоставлении «устной речи»).

Во Франции и Германии иногда употребляется термин «общий язык» («langue commun», «Gemeinsprache»). Это название семантически неточно, так как стандартный язык очень редко бывает общим активным достоянием всех членов определенного коллектива. К тому же возможно смешение по ассоциации со стилистической категорией «вульгарного языка» (применительно к французскому и немецкому) или с понятием «праязык» (например, «slave commun»).

Термин «общенациональный язык», часто употребляемый в социалистических странах, не удовлетворяет как в семантическом отношении, так и из-за возникающей смежности понятий «стандартный язык: нация». Кроме того, термин «общенациональный язык» употребляется в двух различных значениях: 1) «стандартный язык» как стандартная форма определенной диасистемы в ранге языка; 2) то же плюс сумма органических идиомов, подчиненных этой диасистеме. Для этого второго значения, видимо, не требуется специального термина, так как сам объект имеет гетерогенный характер и им нельзя оперировать научно. Французский лингвист П. Бек пользуется противопоставлением «langue nationale ~ langue ethnique», что значит: диасистема в ранге языка, обладающая стандартной формой (например, langue d'oïl) ~ диасистема в ранге языка, не обладающая стандартной формой (например, langue d'oc) [8].

---

[6] Подробнее об этом см.: D. B r o z o v i ć, Regionalno i dijalektalno u novijoj hrvatskoj lirici, «Hrvatsko kolo», V, Zagreb, 1952, стр. 203—207; е г о ж е, O uvjetima za nastanak i razvoj dijalektalne poezije, там же, стр. 263—267; е г о ж е, O modernoj hrvatskoj dijalektalnoj poeziji, [предисловие к кн.:] N. P a v i ć, Antologija novije kajkavske lirike, Zagreb, 1958.

[7] Подробнее об этом см.: D. B r o z o v i ć, O karakteru kašupske književnosti, сб. «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», 5, Warszawa, 1965.

* В русской лингвистике термин «стандартный язык» (= «литературный язык») впервые ввел Е. Д. Поливанов, который говорил о «с т а н д а р т н о м (или „литературном", или „общерусском" диалекте) русского языка современности» [и в том же смысле — о «стандартном (или „общерусском" — опять-таки с оговорками) языке современности»]. См. его статью «О фонетических признаках социально-групповых диалектов, в частности русского стандартного языка» в кн.: Е. П о л и в а н о в, За марксистское языкознание, М., 1931, стр. 125, а также 54, 59 (примеч. переводчика).

[8] См.: P. B e c, La langue occitane, Paris, 1963. Эта книга представляет собой шаг вперед для западноевропейского понимания вопроса.

Я постараюсь доказать, что это различение отстаивать нельзя — все диасистемы в ранге языка относятся сполна к одной и той же категории понятий и явлений, и наличие или отсутствие стандартной надстройки в принципе не влияет на характер самой категории (см. 2.3).

В некоторых национальных терминологиях принято название «культурный язык». Пожалуй, чаще всего его употребляют поляки («język kulturalny»). Отрицательной стороной этого термина можно считать узость и односторонность его семантики и малоупотребительность. С другой стороны, термин «культурный (интер)диалект» необходим для определения специфических неорганических идиомов. В этом контексте «культурный» означает и культуру и цивилизацию. Французы довольно часто употребляют термин «langue de civilisation» в значении «стандартный язык», но было бы удачнее применять его для стандартных языков, выполняющих известную интернациональную функцию (например, стандартный русский язык в Советском Союзе, стандартный немецкий в средней Европе).

Термин «Bühnensprache» в значении «стандартный язык» воспринимается как устарелый и употребляется исключительно в стилистической и орфоэпической сферах. Изредка вместо названия «стандартный язык» встречается термин «нормированный» или «нормативный язык». Однако чаще за ним закрепляется более узкое и специфическое значение, связанное с понятием «нормы». Другими словами, термином здесь является только атрибут. Название «койнэ» (κοινή) также не удачно в применении к стандартному языку.

1.3.1. Принятая здесь концепция стандартного языка базируется в основном на принципах пражской школы [9], в первую очередь на новейших работах Б. Гавранка [10]. Для избранного нами аспекта из двух ключевых понятий — г и б к а я у с т о й ч и в о с т ь и а в т о н о м и я стандартного языка — существенно последнее.

В западноевропейской и американской лингвистике более подробно, хотя и без специального теоретического исследования, рассматривался вопрос гибкой устойчивости, вопрос же автономии стандартного языка остался в общем вне поля зрения лингвистов-теоретиков.

В отличие от чехословацкой лингвистики, которая стремилась прежде всего точно определить границы между стандартным языком и другими неорганическими идиомами и тем самым определить понятие и сущность стандартного языка, в советской лингвистике преимущественное внимание обращалось на внутренние границы в самом стандартном языке, на его отдельные функциональные стили, на отношение между его двумя основными формами — письменной и устной; «внешние» же его границы оставались без должного рассмотрения [11]. Кроме того, по моему мнению, в советской концепции стандартного языка есть два слабых пункта: 1) распространенное понимание стандартного языка как некоей крыши, под которой объединены все остальные неорганические и органические идиомы разных рангов; при этом предполагается, что под этой крышей нет свободных пространств, но одновременно нет и ничего такого, что бы под эту крышу не входило; 2) механическое расчленение стандартных языков на *язык народности, народа, нации*, т. е. переоценка *роли социальных* факторов, общественных формаций при определении характера стандартного языка, его формирования и развития, которое сочетается с невниманием к истинной роли этих факторов в сущности стандартного языка [12].

---

[9] Их синтезирующий обзор см.: A. J e d l i č k a, Zur Prager Theorie der Schriftsprache, «Travaux linguistiques de Prague», I, 1964.

[10] См.: B. H a v r a n e k, Studie o spisovném jazyce, Praha, 1963; e r o ж e, Srovnávací studium struktury spisovných jazyků slovanských, сб. «Československé přednášky pro V mezinárodní sjezd slavistů v Sofii», Praha, 1963; e r o ж e, On comparative structural studies of Slavic standard languages, «Travaux linguistiques de Prague», I, Там же см. обзор работ по проблематике славянских стандартных языков.

[11] Отсюда и различие между русской и чешской стилистикой.

[12] Д. Брозович, излагая мнения отдельных советских ученых или группы ученых, склонен распространять их на советскую лингвистическую науку в целом (примеч. переводчика).

В советской науке существует еще одно специфическое понятие, которое выражается термином «диалектный язык»[13]. В системе терминов, которыми я пользуюсь, это понятие означало бы совокупность органических идиомов, подчиненных одной и той же диасистеме в ранге языка, а в таком значении термин «диалектный язык» оказывается лишним. Термин «диалектный язык» часто употребляется для обозначения понятия, соотнесенного со стандартным языком, т. е. или как его коррелят (стандартный язык + + диалектный язык = общенациональный язык), или как подчиненное ему явление (в том случае, когда стандартный язык понимается как упомянутая «крыша»). В обоих случаях термин «диалектный язык» не только является излишним, но, как мне представляется, он даже вреден, хотя я высоко ценю русскую теорию лингвистической географии; в методологическом отношении ошибочно понятие одной категории определять понятием другой категории, а в принципиальном плане понятие диалектного языка предполагает гармоническое соотношение: «1 нация — 1 стандартный язык — 1 диасистема в ранге языка». Такое соотношение — частое, но не регулярное явление (см. 2.3.4).

В последнее время появилось несколько работ, свидетельствующих о том, что советская лингвистика выдвигает новые положения, представляющие собой значительный шаг вперед. Одной из самых характерных и принципиально важных работ является доклад В. В. Виноградова на V Международном съезде славистов[14]. Исключительное значение этого труда состоит в том, что его автор, продолжая традиции русского «стилистического» подхода к теории стандартного языка, подвел итоги предшествующим работам, дав им новую оценку, расширил круг исследования, поставил новые вопросы, систематизировал проблематику. В этой работе преодолевается второй из отмеченных недостатков советской теории о стандартном языке, т. е. слишком общее и мало конкретное оперирование такими понятиями, как язык народности, народа, нации и т. п.

1.3.2. Для удовлетворительного решения изложенных проблем необходима четкая концепция применительно к этно-социальным категориям типа *народность*, *народ*, *нация*[15]. Здесь эти термины используются в их принятом у нас смысле. В социологии пока не существует надежной, терминологически точно выраженной системы понятий этих категорий, которая бы имела свою иерархию и определенную соотнесенность с лингвистическими категориями. Ряд имеющихся в Германии и особенно во Франции работ не отвечает этим требованиям.

В терминологическом плане ощущается недостаток термина, который в ряду племя — народность — народ — нация[16] означал определенную региональную общность с определенными культурными, диалектными, фольклорными, экономическими, социальными и антропологическими особенностями, с исторически сложившимся самосознанием. Кроме того, необходим общий, качественно и иерархически нейтральный и неспециализированный термин, который бы соответствовал лингвистическому термину «идиом». В этом случае я пользуюсь термином «этнос», получившим уже права на существование.

---

[13] См.: Р. И. Аванесов, Описательная диалектология и история языка, сб. «Славянское языкознание. V МСС. Советский Комитет славистов», М., 1963.

[14] См.: В. В. Виноградов, Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпохи, М., 1963.

[15] Различие между языком нации и языком народности определено в указ. работе В. В. Виноградова (стр. 15).

[16] Различие «народ» — «нация» носит скорее качественный, чем иерархический характер.

2.1. Переходя в сферу славистики и общей компаративистики, остановимся прежде всего на той роли, которую играли стандартные языки в сравнительных исследованиях.

В славистике известно несколько попыток классификации членов славянской языковой семьи по генетическим или типологическим признакам[17]. Все эти классификации пользуются при сравнении материалом стандартных языков, для кашубского же и полабского избирается наиболее доступная исследователям форма, а именно, для полабского — сохранившиеся диалектные тексты, а для кашубского практически — Gemeinpomoranisch Лорентца, который по сути дела является абстракцией, рабочей технической формой, своеобразной конкретизированной диасистемой[18].

Идеальная генетическая классификация внутри одной языковой семьи требует, чтобы предметом сравнения были отдельные диасистемы, потому что только они составляют категорию явлений, адекватную понятию языковой семьи. Ясно, что не существует стандартной языковой формы, которая бы на уровне языковой семьи была надстроена над отдельными языками, членами этой семьи. Это же положение применимо к языковому союзу: не существует стандартной формы, которая бы на уровне языкового союза представляла собой надстройку над структурами отдельных членов союза, в сущности над теми же диасистемами. Другими словами, адекватная классификация членов языковой семьи, resp. языкового союза, возможна только тогда, когда сравниваются диасистемы, при условии, что для классификации внутри языковой семьи будут найдены соответствующие генетические критерии, точно отражающие отношения между унаследованными субстанциями отдельных членов семьи, равно как и соответствующие типологические критерии, правильно показывающие отношения между их структурами. Для классификации внутри языкового союза опять-таки должны быть выбраны соответствующие типологические критерии. Другой вопрос, в какой мере реальны возможности такой идеальной классификации.

2.2.1. Из изложенного следует, что для членов языкового союза применима только типологическая классификация, а для членов языковой семьи возможна и генетическая и типологическая классификации. Однако эти две классификации не могут считаться в равной мере релевантными в плане некоей общей, всесторонней классификации отдельной языковой семьи, потому что такая семья по своей сути относится к генетическим, а не к типологическим категориям. Таким образом, часто выдвигаемая дилемма — генетическая или типологическая классификация той или иной семьи языков или семей языков — вообще фактически не существует: критерий определяет аспект исследования, который может быть обращен и к субстанции и к структуре сравниваемых родственных языков. Все же существует иерархическое различие между этими классификациями, когда они применяются к членам языковой семьи. Сравнение фактов унаследованной субстанции открывает в той или иной мере взаимные «родственные» отношения членов языковой семьи, естественно, при применении до-

---

[17] Из новых работ можно отметить следующие: V. Skalička, Tipologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny, в сб.: V. Skalička, Vývoj jazyka, Praha, 1960; P. Garde, Réflexions sur les différences phonétiques entre les langues slaves, «Word», XVII, 1, 1961; W. Mańczak, Problem klasyfikacji genealogicznej języków słowiańskich, сб. «Z polskich studiów slawistycznych», Warszawa, 1958, и др. Свою точку зрения я изложил в докладе на софийском съезде славистов. См.: D. Brozović, O usporednom i tipološkom proučavanju slavenskih jezika i o problemu njihova klasificiranja, «Zadarska revija», XII, Zadar, 1963.

[18] См.: D. Brozović, Nachlaßausgaben der kaschubistischen Werke von Friedrich Lorentz, «Kratylos», VII, 2, Wiesbaden, 1963.

статочного числа различительных критериев и корректном выполнении сравнительных операций.

Этого нельзя сказать о сравнении структурных факторов, которое само по себе не вскрывает никаких существенных показателей родства. Но если полученные результаты учесть в генетической классификации, они могут дать существенные коррективы. Особый случай возникает тогда, когда члены языковой семьи обладают одновременно рядом черт, характерных для языкового союза. Здесь типологический критерий играет уже не вспомогательную роль, а имеет самостоятельное значение. Типичным примером подобной языковой семьи может служить романская семья [19], но, вероятно, отдельные черты языкового союза можно найти в каждой языковой семье, члены которой не развиваются в полной изоляции друг от друга. Для большинства семей эти черты окажутся малозначительными при классификации членов семьи в целом, но могут оказаться существенными для какой-либо группы языков, входящих в эту семью. Такое положение наблюдается в славянской языковой семье: элементы языкового союза в общем малозначительны для всей семьи в целом, но важны для отдельных групп внутри семьи, независимо от того, связаны ли эти группы генетической близостью или эта близость возникла на почве языкового союза. Известно, впрочем, что славянские языки входят в несколько сложившихся языковых союзов — балканский, евразийский, среднеевропейский, в которых, кроме славянских, представлены и языки других семей. Несомненно, что участие в таких вполне оформленных образованиях имеет большее значение, чем вхождение в менее очевидные общности внутри самой славянской семьи.

Можно, например, считать, что украинский и белорусский языки в рамках славянской языковой семьи входят в две группировки, каждая из которых обладает определенными чертами языкового союза: 1) русско-украинско-белорусского; 2) польско-украинско-белорусского. Условия, приведшие к образованию этих групп, ясны. Менее ясно, почему различия между двумя этими группировками не столь глубоки, как это может показаться при младограмматическом подходе к материалу, который не принимал во внимание того факта, что в список общих черт восточнославянских языков входят и явления, не восходящие к генетической общности [20], а представляющие собой результат процессов развития, характерных для языкового союза и аналогичных процессам, связывающим белорусский и украинский язык с польским. Это положение применимо также к отдельным генетическим группам, входящим в состав западнославянской и южнославянской ветви: очевидно, что лужицко-сербская и чешско-словацкая группы обнаруживают достаточно ярко выраженные черты языкового союза, в хорватскосербско-словенской группировке они отражены слабее, но особенно ощутимы они в македонско-болгарской группе и в живых лехитских языках — кашубском и польском. При этом в хорватскосербском языке наблюдаются очень сложные отношения, которые могут быть правильно определены только на диалектном уровне. Торлакская группа диалектов входит в самый оформленный языковой союз — балканский; кайкавская, чакавская и штокавская группы диалектов объединяются со словенским языком и членами балканского союза разнообразными количественными и качественными показателями негенетического порядка; различны отношения со средиземноморским, малоизученным среднеевропейским и еще менее определенным альпийским союзами.

2.2.2. Таким образом, типологические показатели важны прежде всего для двух целей: во-первых, для более четкого определения структуры унаследованной субстанции (поскольку одинаковые результаты разви-

[19] Ср.: B. H a v r á n e k, Problematika miješanja jezika, «Zadarska revija», XIII, 3, Zadar, 1964.

[20] Термины «ветвь» или «группа в широком смысле этого слова» (восточнославянская, западнославянская, южнославянская) и «группа» или «группа в узком смысле этого слова» (лехитская, лужицко-сербская, чешско-словацкая, хорватскосербско-словенская, македонско-болгарская и восточнославянская, которая фигурирует, таким образом, на обоих уровнях) объяснены в моей работе «O strukturalnim i genetskim kriterijima...».

тия могут оказаться в различных системах, а различные результаты развития наблюдаться в одинаковых системах); во-вторых, для выявления структурных отношений, возникших в результате формирования языковых союзов, независимо от того, существенны они для семьи в целом или они важны преимущественно для отдельной группировки внутри семьи [21]. Естественно, что принимаемые типологические критерии будут поразному применяться в случае, когда на их основании определяется только структура унаследованной субстанции, и в случае, когда они используются для типологического определения явлений, возникших в результате формирования языкового союза. Например, развившиеся из праславянского формы простых прошедших времен в лужицких языках, в хорватскосербском, македонском и болгарском представляют собой в каждом отдельном случае часть системы глагольных времен данного языка и могут быть рассмотрены типологически путем сравнения друг с другом и с остальными славянскими языками, в которых простые прошедшие времена отсутствуют. Однако они могут изучаться и независимо от их генетических связей как факты языкового союза. В этом случае сербо-лужицкий имперфект и аорист можно анализировать в сопоставлении с немецким претеритом, а македонский и болгарский в сопоставлении с простыми прошедшими временами в балканских языках [22]. В обоих случаях речь идет о различных субстанциях соответствующих славянских и неславянских языков, однако их структурные отношения могут изучаться и независимо от субстанциональных различий. Подобным примером могут служить и просодические системы болгарского и македонского стандартных языков. Первая из них сопоставима с восточнославянскими просодическими системами, вторая, хотя и в меньшей мере — с польской и в какой-то мере с лужицкой системой, но обе одновременно входят в структуру балканского языкового союза [23].

Это значит, например, что факты одного языка, в данном случае македонского, следует интерпретировать и как результат автономной эволюции унаследованной субстанции (эволюции собственно македонской, восточноюжнославянской и общеюжнославянской), и как результат развития целостной структуры македонского языка, в которой эти факты реализуются. Однако их следует интерпретировать и в связи с процессами, обусловленными вхождением македонского языка в языковой союз, т. е. в данном случае следует учитывать отношение македонского языка к болгарскому и к сербским диалектам, с одной стороны, а с другой — отношение его к неславянским языкам балканского языкового союза, а также к балканскому союзу в целом и даже к более

[21] Это положение применимо и к иерархически более высокому уровню — балто-славянская общность имеет, например, одновременно и характер генетического образования и отдельные черты языкового союза. (Это положение я излагал в работе, указанной в примеч. 17, и в статье «O važnosti baltičkih jezika za slavistiku, osolito za našu dijalektologiju», «Jezik», VIII, 3—4, Zagreb, 1959—1960, стр. 111—124.) Иной характер носят поздние локальные пограничные балто-славянские образования, возникшие в результате польско-литовских, белорусско-литовских, русско-латышских контактов.

[22] На диалектном уровне, таким образом, можно рассматривать, например, имперфект, сохранившийся в северно-западных чакавских говорах (о. Сусак) и словенских говорах Венецианской Словении. Этот имперфект функционально совпадает с далматским и венецианским имперфектом (словенский, резьянский имперфект — с фриульским). Это означает, что простые прошедшие времена в славянском мире сохранились только там, где они получили дополнительную функциональную нагрузку от соседних неславянских языков.

[23] В более широком фонологическом плане можно, естественно, рассматривать просодические системы отдельных славянских языков в рамках больших европейских и евразийских типологических ареалов с более или менее ярко выраженными чертами языковых союзов. См. работы Р. Якобсона и П. Ивича (R. Jakobson, Selected writings, I — Phonological studies, 's-Gravenhage, 1962, стр. 137—143, 144—201,134—246; P. Ivić, Importance des caractéristiques structurales pour la description et la classification des dialectes, «Orbis», XII, 1, 1963.)

обширным зонам. Разумеется, два указанных здесь аспекта имеют значение и на уровне диалектов: действительный характер многих явлений в пограничных языковых зонах часто остается нераскрытым в диалектологии и компаративистике из-за одностороннего подхода, т. е. из-за невнимания ко всем аспектам и их хронологической последовательности.

В связи с этим возникает возможность и иной интерпретации так называемых влияний, интерпретации более систематической и учитывающей совокупность исторических процессов развития языка. Не вникая подробно в этот вопрос, затрону лишь один момент. До сих пор речь шла только об унаследованной субстанции и о разных типах структурных отношений, в которых эта субстанция реализуется. Однако, как известно, субстанция любого языка обладает и приобретенными элементами, являющимися либо результатом развития собственных материальных и творческих возможностей, либо результатом так называемых влияний. С точки зрения языковой семьи, элементы приобретенной субстанции существенны как отрицательный показатель: они свидетельствуют о том, что некоторый язык в определенных фрагментах его субстанции не имеет уже того или иного элемента, некогда бывшего общим для всей семьи, и что в настоящее время этот элемент замещен новым.

С точки зрения языкового союза, приобретенные элементы субстанции (если они не малочисленны) обычно способствуют более полной характеристике общих черт языков, образующих языковой союз. Как правило же, приобретенные элементы не имеют особого структурного значения, речь идет почти всегда об изолированных фактах, не поддающихся обобщению, чаще всего об обычных лексических заимствованиях или семантическом переосмыслении, т. е. о внутренней субстанции. Очень редки и нетипичны такие случаи, как славянский вокатив на *-о* в румынских именах жен. рода, имеющий большое структурное значение. Разумеется, его структурная значимость была бы еще большей, если бы и грамматическая категория вокатива была также заимствована из славянских языков.

2.3.1. Стандартные языки неудобны для сравнения, как генетического, так и типологического. Генетические и типологические структуры возникают на разных уровнях, стандартные же языки по своей природе равноправны, независимо от того, какими были генетические отношения между субстанциями, на основе которых они создавались (см. 2.1). Нет ничего опаснее, чем механический перенос категорий лингвистики, изучающей органическое развитие языков генетически или типологически, в сферу стандартных языков. Это приводит к ошибочным отождествлениям, из которых, по моему мнению, самое вредное — отождествление я з ы к а и с т а н д а р т н о г о я з ы к а.

Выясняя, является ли данный органический идиом языком вообще (т. е. диасистемой в ранге языка), необходимо определить отношение его субстанции и структуры к субстанции и структуре «родственных» идиомов. Надлежащие генетические и типологические критерии позволят ответить на вопрос, заслуживает ли этот идиом «ранга» языка или его следует трактовать как диалект того или иного ранга, но все же в рамках некорого языка высшего порядка. Хотя такие критерии еще не разработаны в лингвистике, а методология их применения еще не совершенна, по-видимому, все же нет оснований для априорного скептицизма. Пока существуют, по-моему, два наиболее перспективных метода, по крайней мере в Европе: сравнение инвентарей частиц, особенно относящихся к интеллектуальной сфере, и поиск определенной константы [24] в соответствиях целостной субстанции и частично — структуры [25], константы, которая давала бы определенную гарантию объективности в операциях группировки и разграничения. Разумеется, это еще не достаточно определенный ответ на коренной вопрос компаративистики, однако совершенно очевидно, что

[24] Глоттохронология обращается к константным элементам только основного лексического фонда; в этом ее слабость. О проблеме частицы в связи с затронутым вопросом я писал в работе «O usporednom proučavanju morfološke i sintaktičke strukture slavenskih standardnih jezika», «Slavia», XXXIV, 3, 1965.

[25] Термин «структура» употребляется здесь в несколько специфическом смысле: принимаются во внимание как унаследованные структурные черты, так и результаты так называемых «общих тенденций развития» языковой семьи.

вопрос «имеет ли данный идиом стандартную форму?» не должен включаться в состав критериев, на основании которых делается заключение о ранге органических образований. Естественно, что стандартная форма, как мы увидим далее, будучи однажды сформирована, воздействует на субстанцию и структуру той основы, на которой она базируется, но квалифицировать данную диасистему как язык вообще можно только на основании конкретных результатов этого воздействия, а не на основании наличия или отсутствия стандартной формы данного идиома. И наоборот, при решении вопроса о том, имеет ли некоторый идиом характер стандартного языка, следует считать релевантными не субстанциональные и структурные признаки, а только следующие три фактора: 1) природа идиома как коммуникативного и экспрессивного средства определенной культуры; 2) его функциональное качество и, наконец, 3) характер самой культуры.

При о п р е д е л е н и и стандартного языка существенно то, что он является автономным видом языка, всегда нормированным, возникающим в условиях, когда некоторая этническая или национальная общность, включаясь в интернациональную культуру, начинает пользоваться своим идиомом, который прежде служил только потребностям данной этнической культуры. В этом определении нет места вопросу о том, имеет ли этот идиом ранг языка; это значит, что стандартный язык может быть сформирован и на такой основе, которая, с лингвистической точки зрения, находится в ранге диалекта. Следовательно, факторы, определяющие лингвистический ранг отдельных диасистем, относятся исключительно к компаративистике или диалектологии, т. е. устанавливаются только сравнением с другими диасистемами, тогда как стандартность того или иного идиома определяется на основании фактов, принадлежащих самому идиому.

Речь идет о различных критериях и различных операциях их применения, и тот факт, что конкретные стандартные языки практически чаще всего совпадают с «языками вообще», не имеет решающего значения. Рассуждения об отдельных случаях, когда эти два ряда критериев дают несовпадающие результаты, чаще всего беспредметны. Например, тот факт, что румынский и молдавский — два разных стандартных языка, не должен ставить перед нами дилемму, входят ли в состав романской семьи языков оба из них или только один, как бы мы его не называли (практически его называют румынским). Недоразумения здесь быть не может: если мы устанавливаем состав романской семьи языков, то в ней будет фигурировать только один язык, так как различия в субстанции и структуре румынского и молдавского стандартных языков находятся, с точки зрения романской семьи, на таком уровне, который не соответствует рангу языка. Другое дело, когда мы устанавливаем число стандартных языков с романской субстанцией и структурой. В этот состав должны войти и румынский, и молдавский, зато будут исключены сардинский и провансальский, включенные в первый список. Сходным образом обстоит дело с кашубским языком в славянской семье языков, хотя относительно кашубского выражаются серьезные сомнения в самостоятельности его субстанции и структуры в рамках славянской семьи и по отношению к польскому языку. Я считаю этот скепсис неоправданным, но подобные сомнения имеют право на существование; аргумент об отсутствии кашубского стандартного языка в данном контексте не подлежит обсуждению, хотя он отражает неопровержимую и очевидную истину [26].

2.3.2. Наличие или отсутствие стандартной разновидности влияет на органические языковые образования. Как только общество окажется в ситуации, когда ему станет необходим стандартный язык, оно образует собственный стандартный язык или примет в качестве такового, сознательно или вынужденно, какой-нибудь иной язык, «родственный» или «неродственный». С этого момента стандартный язык будет воздействовать на суб-

[26] В сб. «Вопросы молдавского языкознания» (М., 1953) можно найти немало неуклюжих импровизаций и неясных формулировок при попытке определить молдавский язык в качестве самостоятельного феномена.

станцию и структуру каждого органического диалекта, независимо от того, в каких лингвистических отношениях находятся субстанции и структуры этих двух принципиально различных идиомов. Разумеется, если субстанция и структура диалектной основы стандартного языка принадлежат той же диасистеме в ранге языка, что и субстанция и структура данного органического диалекта, то они начинают постепенно изменяться, центростремительная сила стандартного языка приводит к тому, что он становится образцом, которого придерживаются в своем развитии данный органический говор, так же как и все остальные говоры всех диалектов, находящиеся в одинаковом отношении к стандартному языку. Механизм этих процессов обнаружит явления своего рода «диалектного союза». При соответствующих культурных условиях эти процессы приведут в конечном счете к отмиранию диалектов. Развитие в сфере langue d'oïl дает хорошую иллюстрацию к протеканию этих процессов — в настоящее время в этой сфере существует практически только стандартный французский язык со своими локальными неорганическими субстандартными типами.

Аналогичное положение наблюдается при сосуществовании двух родственных диасистем в ранге языка, из которых одна (А) имеет стандартную разновидность, а другая (В) — не имеет, причем носители органических говоров разных диалектов диасистемы В пользуются в определенных культурных ситуациях стандартным языком диасистемы А. В этом случае процессы, протекающие в говорах и диалектах диасистемы В, будут аналогичны тем, которые описаны выше, и при известных условиях будут иметь те же результаты, т. е. постепенное отмирание говоров и диалектов диасистемы В. В качестве переходной фазы будут формироваться новые диалекты диасистемы А, отличающиеся от оригинальных диалектов уже генезисом и субстратом. Впрочем сходные процессы очень часто происходят, когда в определенных исторических условиях диалекты одной диасистемы окажутся вне сферы действия собственного стандартного языка и попадут в сферу стандартного языка, принадлежащего соседней родственной диасистеме, особенно если территория, на которой распространены эти диалекты, войдет в национальное образование, пользующееся стандартным языком этой другой диасистемы. Если же формирование нации завершилось прежде, чем соответствующая территория подпала под воздействие другого стандартного языка, то эти процессы будут замедленными, а чаще всего вообще не смогут дать ощутительных результатов. Европа дает нам достаточное число таких примеров.

Нация, стандартный язык и диасистема в ранге языка представляют собой три принципиально различные категории, которые обычно покрываются друг другом, однако это не является обязательным условием. Правда, существует тенденция к тому, чтобы на территории одной диасистемы в ранге языка формировалась одна нация и один стандартный язык, и это естественно, поскольку стандартный язык должен строиться на определенной языковой основе, язык же как таковой — один из элементов этнического облика, а нация есть социально-этническое образование. Верно также, с диалектической точки зрения, что существует и обратное влияние: нация нуждается в стандартном языке и потому форсирует его образование, если он не унаследован от докапиталистических (или досоциалистических) социально-этнических формаций, а стандартный язык, будучи сформирован, воздействует на диасистему. Однако могут существовать и разные иные комбинации. Например, при благоприятных условиях могут длительное время сохраняться комбинации типа: 1 нация — 1 стандартный язык — 2 диасистемы (ср. польский и кашубский, французский и провансальский, итальянский и сардинский) или 2 нации — 2 стандартных языка — 1 диасистема (ср. румынский и молдавский), 1 нация — 2 стандартных языка — 2 диасистемы (ср. норвежский и серболужицкий — со скидкой на то, что лужицкие сербы не имеют всех выраженных признаков нации [27]), или 2 нации — 1 стандартный язык — 1 диасистема (ср. английский и американский вариант английского языка, сербскохорватский) [28] и т. д.

---

[27] В этом вопросе более существенным оказывается соотношение «лужицкие сербы» — «немцы», чем «нижние лужичане» — «верхние лужичане». Подробнее об этом см.: D. B r o z o v i ć, O prirodi i funkcijama standardnog jezika, «Lětopis Instituta za serbski ludospyt», A — 8, Budyšin, 1961; e r o ж e, O slavističkom i općelingvističkom pristupu lužičkim jezicima, «Radovi Filozofskog fakulteta», III, Zadar, 1961—1962.

[28] В этом случае стандартный язык не будет иметь единого облика, поскольку в нем будут развиваться варианты (2.3.3).

2.3.3. Если отсутствие собственной стандартной формы языка отрицательно сказывается на устойчивости диасистем, особенно когда они попадают в сферу распространения стандартной разновидности соседней родственной диасистемы, то возможно также и обратное положение, при котором наличие д в у х стандартных разновидностей в рамках о д н о й диасистемы начинает угрожать лингвистическому единству этой диасистемы. Развитие такого рода требует определенных условий, которые зависят от обоих компонентов понятия стандартный язык: его особой субстанции и структуры и того, что он служит орудием высшей интернациональной культуры определенной социально-этнической формации, в настоящее время обычно — нации. Первое условие требует, чтобы диалектные основы двух стандартных языков были достаточно различными, чтобы их территориальное и лингвистическое расхождение в пределах диасистемы было достаточно велико. Если к этому условию присоединяются другие, социальные и политические, культурные, экономические, географические и подобные, то, как правило, стандартные языки воздействуют на свою основу в направлении, которое приводит к разрушению диасистемы. Естественно, что это требует длительного времени, однако показательно, что некоторые европейские диасистемы в ранге языка сохраняют свою лингвистическую самостоятельность именно благодаря этим процессам, или, точнее говоря, в этих диасистемах раннее возникновение письменного языка (см. 1.2.2) как подготовительной стадии к формированию стандартного языка обусловило появление особой диасистемы, которая в других условиях могла объединиться в своем развитии с родственными диалектами, составляющими в настоящее время другую диасистему. Это наблюдается тогда, когда различные лингвистические и экстралингвистические факторы, определяющие судьбу диасистемы в ранге языка, находятся в равновесии. Если же субстанция и структура двух стандартных языков, принадлежащих одной диасистеме, не обнаруживают существенных различий, мы приближаемся к понятию в а р и а н т о в стандартного языка.

Началом формирования многих национальных стандартных языков было возникновение в соответствующей диасистеме двух или трех близких в лингвистическом отношении вариантов письменного языка, которые позднее в процессе формирования национального стандартного языка слились. В том случае, когда эти варианты лингвистически (т. е. диалектно) сильно различались, полного слияния не наступало, но в процессе постепенного развития национального стандартного языка один из этих вариантов становился преобладающим. Однако если варианты развиваются в многонациональной диасистеме, то они не сливаются полностью даже в случае идентичности их субстанции и структуры. При благоприятных социальных в самом широком смысле условиях варианты с идентичной субстанцией и структурой (ср. уже приводившиеся случаи с сербским и хорватским, английским и его американским вариантом или, особенно, немецким и его австрийским вариантом) развиваются более или менее параллельно. Общие тенденции к нормализации, естественные для всякого стандартного языка, будут постоянно приводить к нивелированию различий между национальными вариантами (например, в хорватскосербском, английском или немецком языке), в то время как диалекты, литература, национальная духовная и материальная культура, географический и пр. моменты будут давать все новый материал для расхождения вариантов. В национально гомогенных стандартных языках эти и подобные источники дают также материал для образования дублетных форм; однако в таких языках дело не доходит до ощутимой поляризации дублетов — дублеты некоторое время сосуществуют, а затем либо один из них элиминируется из стандартного языка и переходит на субстандартный уровень, оставаясь

в качестве архаизма частью стилистической структуры, либо они функционально дифференцируются и таким образом перестают быть дублетами. Аналогичные явления возможны и в национально негомогенных языках, но для них более характерна поляризация новых дублетов, так что каждый дублет закрепляется за одним вариантом [29]. Настойчивое стремление к нивелированию или устранению национальных вариантов в стандартном языке ставит под удар автономию стандартного языка и его гибкую стабильность. Характерно, что сосредоточение главного внимания на проблеме вариантов и их нивелирования препятствует научной разработке стандартного языка в целом.

Для определения понятия «вариант» существенны следующие признаки:

(а) Вариант есть форма приспособления единого стандартного языка к традиции и современным потребностям наций как определенных социально-этнических формаций. Варианты закономерно возникают во всех национально негомогенных стандартных языках. Было бы нематериалистично и недиалектично считать, что язык, обслуживающий одну нацию, одно общество, одну национальную культуру и цивилизацию, одну науку и литературу, может иметь ту же природу, что и язык, распределяющий те же функции между двумя нациями.

(б) Практически (и юридически) варианты национально гомогенных языков функционируют так же, как национально гомогенные языки [30]. Для сербов и хорватов, например, национальные варианты хорватскосербского стандартного языка функционируют таким же образом, каким для русских функционирует русский стандартный язык; иначе говоря, в отношении стандартности русский стандартный язык легче сравнивать с хорватским и сербским вариантами в отдельности, чем с хорватскосербским языком в целом. Это значит, что в кругу национально гомогенных языков при изучении стандартности легче оперировать с вариантами национально негомогенных стандартных языков, чем с самими национально негомогенными языками (см. 3.2.4.). В применении же к другим лингвистическим дисциплинам, в том числе к генетической и типологической компаративистике, следует оперировать только с языками, независимо от того, имеют они варианты или нет.

(в) Отсюда вытекает, что в случае, когда на территории распространения определенного стандартного языка наряду с ареалами, занимаемыми четко сформировавшимися нациями, находятся ареалы, где национальный признак выражен слабо, с ними соотносятся зоны, в которых сосуществуют разные национальные варианты. Сербский и хорватский варианты представляют собой, таким образом, mutatis mutandis явления, аналогичные английскому и американскому варианту, а Боснию и Герцоговину, так же как и Канаду, можно рассматривать как область, где скрещиваются особенности обоих вариантов [31].

[29] Естественно, дублеты могут существовать и в каждом из вариантов, так же как и в любой другой языковой системе. Возможны, например, случаи, когда вариант *A* имеет дублет *a*, а вариант *B* дублеты *a* и *b* или когда в обоих вариантах сосуществуют дублеты *a* и *b*, иногда с различиями в значении, функции и частотности. В качестве типичного примера можно взять из хорватскосербского стандартного языка слова *promet* и *saobraćaj*. В значении «товарооборот» и хорватский и сербский варианты употребляют слово *promet*, в значении «сообщение между людьми» оба варианта пользуются словом *saobraćaj*, но в значении «транспорт» в хорватском варианте чаще употребляется *promet*, а в сербском — почти исключительно *saobraćaj*. Полвека тому назад хорватский вариант имел только *promet* для всех трех значений, а сербский *saobraćaj*.

[30] См.: L j. J o n k e, Specifičnosti u normiranju hrvatskosrpskog književnog jezika, «Jezik», XII, 1, Zagreb, 1964—1965; е г о ж е, Književni jezik u teoriji i praksi, 2-е изд., Zagreb, 1965, стр. 189—199; е г о ж е, Značenja i uloga jezika u pravilnom razvijanju međunacianalnich odnosa u Jugoslaviji, «Naše teme», IX, 9, Zagreb, 1965.

[31] Разумеется, аналогия вариантов хорватскосербского языка и английского стандартного языка сводится к характеру самого явления и его функционирования,

(г) Различия между вариантами касаются в основном субстанции стандартного языка, а на его структуре они отражаются мало, или, как в случае с хорватскосербским языком, почти не отражаются[32]. Это же относится и к норме: варианты имеют одинаковую систему общих норм; в ее пределах определенные позиции оказываются дублетными и взаимозаменяемыми[33].

(д) Варианты — это не чисто языковое, а языково-социологическое явление, которое никоим образом не следует смешивать с диалектными явлениями. Отношение вариантов к диалектам не отличается от отношения стандартного языка к диалектам. Несомненно, во всех вариантах отдельных стандартных языков местная специфика чисто лингвистических категорий играет несравненно меньшую роль, чем специфика цивилизационно-языковой надстройки (терминология в широком смысле этого слова, графические и орфографические особенности и т. п.).

(е) Поэтому варианты не следует смешивать с отдельными языковыми особенностями, характерными для бóльших — региональных, или меньших — локальных зон. Зональные особенности наблюдаются в каждом стандартном языке, распространенном на большой территории, и могут существовать в границах самих вариантов, например, сербский вариант хорватскосербского языка имеет свою экавскую и екавскую зоны. Естественно, что и здесь речь идет не о диалектных явлениях.

(ж) Следует, таким образом, различать, с одной стороны, варианты стандартного языка — сформировавшиеся единицы, обладающие комплексными языковыми и особенно надъязыковыми особенностями и функциями, свойственными стандартному языку в национально-гомогенных языках, а с другой стороны, зоны, в которых нет четкой дифференциации, где скрещиваются разные особенности вариантов (Босния и Герцеговина, Канада), или зоны, возникающие в результате дифференцированного употребления отдельных языковых особенностей стандартного языка (экавская и иекавская зоны у сербского варианта, зона

а не к генезису этих явлений. Если для хорватскосербского языка варианты — два параллельно развившихся идиома, то в английском языке один вариант развился из другого. Подробнее см.: D. Brozović, O problemima varijanata, «Jezik», XIII, 2, Zagreb, 1965—1966.

[32] Проблема заключается в фонематическом статусе так называемого долгого ятя, но это явление касается больше отношений иекавской и экавской зоны сербского варианта, чем отношения самих вариантов. См.: D. Brozović, Vom Begriff der Richtung bei den phonologischen Oppositionen, «Wiener slavistisches Jahrbuch», XI, [Wien], 1964; с иных позиций этот вопрос рассматривается в статье: D. Brozović, Some remarks on distinctive features, especially in standard Serbo-Croatian, «Festschrift for Roman Jakobson» (в печати).

[33] В Европе нельзя найти удачного примера возникновения двух стандартных языков на базе одной и той же диасистемы в ранге языка. Гегский и тосский (албанская диасистема) могли оказаться в таком положении, но этому помешал процесс их постепенного слияния. Румынский и молдавский (румынская диасистема) имеют в общем незначительные субстациональные различия. Норвежский риксмол правильнее рассматривать в качестве варианта датского стандартного языка, а не как отдельный стандартный язык (иначе обстоит дело с ландсмолом, относящимся к другой диасистеме). Руманч и фриульский (ретороманская диасистема) скорее «письменные», чем стандартные языки. Идиш (верхненемецкая диасистема) и сефардский (испанская диасистема), обладающий малой степенью развития,— явления специфического порядка. Вне Европы в качестве удачного примера можно привести Afrikaans (см. раздел 2.3.4); среди языков неевропейского происхождения классическим примером могут служить арамейские стандартные языки и их варианты (принимая во внимание фактическое и функциональное различие между древними и современными стандартными языками вообще) — в недавнее время восточноармянский и западноармянский являются стандартными языками. Отличным современным примером могут послужить также стандартный урду и стандартный хинди (диасистема, известная под названием «хиндустани»). Сходные явления наблюдаются в некоторых языках уральской семьи.

sch-и зона *zh*- в чешском стандартном языке, зоны варшавского и краковского типов сандхи в польском стандартном языке и т. п.).

(3) Соотношение «стандартный язык : варианты» в некотором смысле напоминает соотношение понятий «langue : parole». Это означает, что национально негомогенный стандартный язык существует в принципе только как абстракция и практически и в письменной и в устной форме реализуется в виде вариантов.

2.3.4. При исследовании стандартных языков существует опасность субъективных оценок. Как определить, следует ли ту или иную диасистему рассматривать в ранге языка или в ранге ниже, resp. выше, языка, т. е. как группу диалектов, resp. группу языков, или с какого момента можно говорить о языке, имеющем свою письменную форму, как об уже более или менее сформировавшемся стандартном языке, или как установить критерий, позволяющий различать два стандартных языка, сформировавшихся на основе одной и той же диасистемы, от двух диасистем в ранге языка, или как определять различие между двумя вариантами одного стандартного языка и двумя стандартными языками? В последнем случае возможно, например, существование, с одной стороны, двух вариантов с незначительным числом дублетных, вариантных нормативов, имеющих, однако, существенные субстанционные различия, и, с другой стороны, двух стандартных языков с мало существенными субстанциональными различиями и т. д. и т. п.

Объективная действительность богата различными возможностями. Если взять для примера нижненемецкую диасистему, то на уровне германской языковой семьи или на более низком уровне — западногерманской группы языков эта диасистема будет рассматриваться как единица в ранге языка. На немецкой национальной территории нижненемецкая диасистема лишена своей стандартной формы, в то время как верхненемецкий стандартный язык выполняет все функции языка как орудия высшей цивилизации. В беллетристике и в более низких культурных сферах употребляется несколько нижненемецких ненормированных письменных вариантов, известных под общим названием Plattdeutsch. На голландско-фламандской или нидерландской в широком смысле этого слова территории возник один стандартный язык, имеющий нижненемецкую субстанцию и структуру и представленный двумя очень близкими вариантами — голландским в Голландии и фламандским в Бельгии. В Южноафриканской республике развился на основе голландских диалектов нижненемецкой диасистемы отдельный стандартный язык — бурский (Afrikaans), пока еще недостаточно индивидуализированный, но с тенденцией к все большей самостоятельности. В Германии нижненемецкие диалекты подвержены влиянию (верхне)немецкого стандартного языка; в Бельгии и Южной Африке стандартный язык на нижненемецкой основе входит в специфические отношения со стандартным французским, resp. английским языком. В Голландии, наряду с нидерландским стандартным языком на основе нижненемецкой диасистемы, существует самостоятельная западногерманская диасистема в ранге языка — фризский язык, который находится на полпути к образованию стандартного языка. Меньшая часть территории распространения фризской диасистемы находится в Германии, где она подвержена влиянию немецкого стандартного языка. На уровне германской семьи языков (или ее западной ветви) фризская, верхненемецкая и нижненемецкая диасистемы представляют собой равноправные единицы, а с позиции теории стандартных языков отношение (верхне)немецкого стандартного языка к нижненемецким диалектам близко отношению голландского нижненемецкого стандартного языка к фризским диалектам.

Уже отдельные иллюстрации показывают, что схемы не могут охватить все явления и отношения и что всякая реально существующая комбинация явлений могла бы иметь свое терминологическое оформление. Тем не менее имеются признаки, на основе которых можно устанавливать критерии выделения явлений и их отношений. Так, стандартный язык как категория отличается от языка вообще, т. е. от языка как диасистемы; эти две категории не всегда реализуются на одинаковом иерархическом уровне.

Хотя стандартные языки нельзя считать удачным объектом для сравнительного изучения языковых семей и языковых союзов, все же существует определенная взаимозависимость между стандартными языками и

диасистемами. По сути дела каждый стандартный язык представляет собой своего рода языковой союз с территориальными говорами, входящими в область его распространения, независимо от того, относятся ли эти говоры к той же диасистеме, что и стандартный язык, или нет. При этом внутри такого своеобразного «языкового союза» наблюдаются, в общем, все процессы и явления, описанные в работах У. Вайнрайха о языковых контактах [34].

Релевантны только диасистемы, но на современном уровне науки диасистемы практически остаются лишь понятиями, не дающими материальных фактов для конкретных операций. Поэтому на практике можно использовать стандартные языки в качестве заменителей диасистем, исследуя и семьи, и союзы языков, производя классификацию языков и т. п.

3.1. Если между стандартными языками и диасистемами существует взаимная зависимость, можно ли при сравнительном изучении стандартных языков ограничиться их рассмотрением в качестве заместителей диасистем? Видимо, нет. С одной стороны, было бы полезно классифицировать стандартные языки отдельных языковых семей и притом классифицировать их именно в качестве стандартных языков. Полученная классификация будет отличаться, естественно, от любой классификации конкретной языковой семьи, построенной на основе генетических и типологических критериев. Такая классификация будет очень полезна. Она не должна рассматриваться в качестве дополнительной к классификации внутри семьи языков, так как категория «стандартности» принципиально отлична от любой особенности языковой субстанции и структуры. Но при изучении результатов постоянного влияния стандартных языков на диасистемы следует обращаться к обеим классификациям, так как их сопоставление способно обнаружить некоторые детали, которые при обычном сравнении стандартных языков выпадают из поля зрения. И еще одно: классификация стандартных языков отдельных семей должна иметь большое значение не только с точки зрения сравнительно-исторического изучения семей языков, но она важна и сама по себе для теории стандартных языков. Теория стандартных языков — автономная лингвистическая дисциплина, которой повсюду, кроме Чехии [35], уделяется по сравнению с другими лингвистическими дисциплинами мало внимания.

Если целью классификации отдельных стандартных языков, субстанция и структура которых родственны, т. е. образуют языковую семью, должна быть классификация их «стандартности», которая не может устанавливаться на основе генетических или типологических критериев, то критерии классификации по стандартности должны выявлять, измерять и оценивать нормированность стандартного языка, его функции как орудия высшей цивилизации, отношение к национальным и культурным комплексам, способ формирования, характер основы, на которой создан стандартный язык (но не субстанции или структуры), наконец, систему его графики и орфографии. Ввиду того, что стандартный язык характеризуется в отношении к своей основе также субстанционально, на базе лек-

[34] U. Weinreich, Languages in contact, New York, 1953.

[35] Прежде всего я имею в виду труды акад. Б. Гавранка. Близкая концепция изложена в труде акад. В. В. Виноградова (см. примеч. 12) и в работах Н. И. Толстого: «К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян», ВЯ, 1961, 1, стр. 61—65; его же, Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории восточно- и южнославянской письменности, сб. «Исторические связи славянских народов», М., 1963, стр. 27—38 («Краткие сообщ. Ин-та славяноведения», 39); его же, О последней попытке применения «общеславянской азбуки» к славянскому литературному языку, сб. «Проблемы современной филологии», М., 1965, стр. 260—266.

сики, относящейся к цивилизационной надстройке, стандартные языки могли бы классифицироваться и по этому критерию.

В славянской семье языков по этому последнему критерию можно наметить следующие группировки: 1) чешский, словацкий, словенский, болгарский язык и хорватский вариант хорватскосербского языка (*vlak*); 2) македонский язык и сербский вариант хорватскосербского языка (*воз*); 3) лужицко-сербский — верхнелужицкий (*ćah*) и нижнелужицкий (*śěg*); 4) польский (*pociąg*) и украинский (*потяг*); 5) русский (*поезд*); 6) белорусский (*чугунка*). Или: 1) чешский и словацкий (*divadlo*), верхнелужицкий (*dźiwadło*) и нижнелужицкий (*źiwadło*); 2) словенский (*gledališče*); 3) хорватский вариант (*kazalište*); 4) сербский вариант (*позориште*); 5) остальные славянские языки с разными формами европеизма (*театр*) [36]. Такая классификация неплохо характеризует реальное положение, однако следует все же отдать предпочтение классификации по признакам «стандартности»: во-первых, выбор материала для классификации может быть субъективным, и, во-вторых, результаты такой классификации в рамках одной семьи языков трудно сравнивать с результатами подобной классификации, проведенной для других семей.

Иными словами, набор критериев для классификации по «стандартности» должен быть б е з и з м е н е н и я ф о р м у л и р о в о к применим к любой языковой семье, т. е. иметь вполне абстрактный феноменологический характер. Продемонстрируем конкретно характер и типы «стандартности» всех славянских языков (оставляем в стороне критерии, относящиеся к графике и орфографии, хотя такое сокращение нарушает полноту картины) [37].

3.2. Классификация по принципу «стандартности» современных языков, обладающих славянской субстанцией и структурой, может быть построена по следующим критериям:

I. Основные черты стандартности — автономия и гибкая стабильность взаимосвязаны: стандартные языки с высокой степенью автономии, т. е. с малыми возможностями для сознательной перестройки, оказываются одновременно более устойчивыми. Возникшие не в результате сознательного акта, а постепенно формировавшиеся стандартные языки и после своего становления мало поддавались реформам. В таких стандартных языках субстанция и структура основы выкристаллизовалась, как правило, в результате длительных процессов, происходивших до приобретения стандартности в рамках различных типов и видов письменного языка с конвергентным направлением развития.

Такие стандартные языки обладают яркими чертами «искусственности» и слабыми чертами «органичности» из-за значительной степени автономности по отношению к органическим идиомам.

II. Во всяком стандартном языке с достаточно обширной территорией распространения существуют зоны, выделяющиеся на основании употребления одного из двух противопоставленных дублетов, обычно фонетических (см. 2.3.3). В одних славянских стандартных языках это явление выражено довольно ярко (пражско-моравская, варшавско-краковская, киевско-львовская зоны и т. п.), в других слабее, но все эти противопо-

[36] В обеих группах выступают варианты хорватскосербского языка в соответствии с положением [б] определения вариантов (2.3.3).

[37] Принципы такой классификации были изложены в статье: D. B r o z o v i ć, O jezičnoj porodici i standardnim oblicima njezinih članova, «Radovi Filozofskog fakulteta», V, Zadar, 1963—1964. Первый опыт классификации на основе пяти критериев я предложил в докладе к Софийскому съезду славистов, второй на основе восьми критериев в статье: D. B r o z o v i ć, Vuk i novoštokavska folklorna Koine (prilog tipologiji slavenskih standardnih jezika), «Slavia», XXXIV, 1, 1965.

ставления и по своему числу и по характеру в общем незначительны в сравнении с вариантами хорватскосербского стандартного языка, которые от них существенно отличаются. В этом отношении хорватскосербский язык противопоставляется всем остальным. Но два его варианта не одинаковы: в сербском варианте наличествуют экавская и иекавская зоны, которые из-за различных отношений к хорватскому варианту и к традиции — значительно более сложное явление, чем подобные зоны в некоторых иных славянских стандартных языках[38].

III. Некоторые стандартные языки сосуществуют и функционируют наряду со своим субстандартным видом, который стремится или стать общенациональным конкурентом стандартного языка, находясь с ним в паразитическом симбиозе, или занять промежуточное место между стандартным языком и региональными разговорными языками, интердиалектами и т. п. В таких стандартных языках, например в чешском, нет непосредственного перехода от конкретного неорганического идиома к низшим, неконкретным, неорганическим идиомам (см. 1.2.1); между этими идиомами в качестве посредника возникает субстандарт (obecná čeština — разговорный язык, Umgangssprache). Субстандартный язык имеет обычно в общем ту же субстанцию, что и соответствующий стандартный, но без архаических элементов.

IV. Стандартные языки обычно развиваются в результате постепенной эволюции, но в истории некоторых стандартных языков известны случаи перерыва в развитии, после которого стандартный язык возрождался вновь и обновлялся (словенский, в значительной мере чешский); другого характера — перерыв в развитии, ведущий к значительным неэволюционным изменениям в субстанции (хорватский вариант на рубеже XIX и XX вв.[39].) Для данного критерия важен момент идентичности или неидентичности субстанции и структуры на разных этапах развития. Это означает, что можно оперировать языком письменности, если он удовлетворяет названному требованию. В этом смысле периодом формирования языкового стандарта можно считать эпоху Возрождения (odrodzenia) для польского, Пушкина для русского, Вука Караджича для сербского, хорватского национального Возрождения (так называемый «Иллиризм») для хорватского, Штура для словацкого, Коласа и Купалы для белорусского, югославской революции для македонского языка и т. д. С меньшим правом для словенского языка можно принять эпоху Трубара[40]; во всяком случае это будет правильнее, чем обращение к эпохе Прешерна. С другой стороны, очевидно, что такие явления, как словацкая бернолакщина, разные региональные письменные языки, церковные языки, старобелорусский письменный язык и т. п., не относятся к истории стандартного языка

---

[38] В прошлом в некоторых славянских стандартных (или еще только «письменных») языках наблюдалось явление поляризации (религиозной, социальной, территориальной), которая, однако, никогда не была там столь значительной, как в истории хорватскосербского (т. е. хорватского и сербского) языка. Я умышленно оставляю в стороне такие явления, как современный письменный язык градищанских (бургенландских) хорватов в Австрии или так называемых «русинов» в Воеводине — они не влияют на характер стандартных языков, имеющих с ними общую диасистему. Это относится также в общем и к периферийным локальным письменным «языкам», значение которых в той или иной степени эфемерно.

[39] См.: Lj. Jonke, Ideološki osnovi zagrebačke filološke škole 19. stoljeća, «Filologija», 1, Zagreb, 1957; его же, Osnovni problemi hrvatskoga književnog jezika u 19. stoljeću, в кн.: Lj. Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb, 1965, стр. 9—25.

[40] Убедительный пересмотр существующих концепций предложил Я. Риглер. См.: J. Rigler. Osnove Trubarjevega jezika, «Jezik in slovstvo», X, 6—7, Ljubljana, 1965.

в указанном смысле, а принадлежат к его предыстории[41]. Исключением в известной мере является только штокавский письменный язык хорватской литературы до эпохи национального возрождения, так как он имел не вполне региональный характер и его языковая субстанция была к хорватскому варианту второй половины XIX в. ближе, чем это обычно принято думать.

V. Субстанция и структура стандартного языка могут быть гомогенными — например, московская, пражская, среднесловацкая основа русского, чешского, словацкого языка, а могут представлять собой и контаминацию различных элементов — например, малопольский и великопольский компоненты в польском, восточноболгарский и софийский в болгарском и т. п. Хорватский и сербский варианты хорватскосербского стандартного языка также имеют частично разную диалектную основу.

VI. Материальная основа стандартного языка была в некоторых славянских языках в предстандартный период их развития под стилистическим влиянием фольклорной литературы. Эта стилизация на первоначальном этапе содействовала становлению норм и одновременно препятствовала приспособлению языковой материи для функции стандартного языка в качестве поливалентного орудия современной цивилизации, которая имеет преимущественно урбанистический характер. Фольклорные интердиалекты были известны южнославянским и восточнославянским языкам; не все они сыграли значительную роль в формировании стандарта. Такое положение наблюдалось в хорватскосербском языке (новоштокавское фольклорное койне), в македонском и украинском. В болгарском языке также были определенные условия для использования языка фольклора, но формирование стандарта шло другими путями. В известной мере это можно сказать и о русском и белорусском языках.

VII. Подобную роль сыграл в других славянских языках так называемый культурный (интер)диалект, который там выступал в качестве базы при становлении стандартного языка или письменного языка как предшественника стандартного. Культурный интердиалект сыграл решающую роль при формировании чешского и польского стандартных языков; подобные явления наблюдались и в других западнославянских языках[42], они были в незначительной мере свойственны и отдельным южно- и восточнославянским языкам, но здесь они не были существенны для формирования стандарта. Русский культурный диалект имел свои особенности сравнительно с польским и чешским. В целом можно сказать, что разные формы койне (фольклорные или культурные интердиалекты) появляются закономерно на определенной ступени языкового развития, но их конкретная судьба очень неоднородна.

VIII. Большинство славянских языков выполняет все поливалентные функции общенационального языкового орудия интернациональной цивилизации. Некоторые функции двух сербо-лужицких языков выпол-

---

[41] Историю стандартного языка следует начинать с того момента, когда он начинает охватывать в основном всю территорию и когда стабилизуются его субстанция и структура. С другой стороны, очевидно, что существует связь между перерывом в развитии стандартного языка и возникновением субстандарта, но эти два явления все же не взаимообусловлены, т. е. не следует полагать, что при беспрерывном развитии не может появиться субстандарт или что перерыв обязательно требует его появления.

[42] Среднесловацкий культурный диалект находился в зачаточном состоянии. См.: E. Pauliny, Kultúrnohistorické podmienky a spoločenské funkcie bilingvizmu v dejinách spisovnej slovenčiny, сб. «Československé přednášky pro IV mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958, стр. 44—45; R. Krajčovič, K problematike formovania kultúrnej západoslovenčiny, «Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica», XIV, Bratislava, 1962.

няет стандартный немецкий язык. В многонациональных славянских государственных объединениях ряд общих дел ведется на одном языке, т. е. на чешском, хорватскосербском (практически обычно принимается сербский вариант) и русском, но этот факт не может серьезно препятствовать нормальному функционированию словацкого, словенского и македонского языка в национальном масштабе. Положение с белорусским и украинским языком несколько иное, особенно с белорусским, для которого характерна ситуация, средняя между той, в которой находятся сербо-лужицкие языки, и той, в которой находятся остальные славянские языки. С другой стороны, русский стандартный язык, единственный среди всех славянских языков, обладает функцией интернационального, мирового языка, но этот факт трудно использовать для классификации «стандартности», потому что он почти не влияет на характер структуры и субстанции русского стандартного языка. Кроме того, в этом случае один язык противопоставляется всем остальным.

IX. Чаще всего один стандартный язык обслуживает одну нацию и, соответственно, одна нация пользуется одним стандартным языком; оба эти правила верны и для большинства славянских языков, однако все же есть два исключения: лужицкие сербы пользуются двумя стандартными языками — нижнелужицким и верхнелужицким (и, кроме того, немецким), а хорватскосербский язык обслуживает две нации — сербов и хорватов. В какой-то мере сербский вариант можно было бы считать исключением: в то время как хорватским вариантом пользуются исключительно хорваты, сербский обслуживает и сербов и черногорцев, причем не в полностью идентичном виде (см. II). В данном случае этот факт можно не принимать во внимание, поскольку черногорцы не могут считаться вполне сформировавшейся нацией; правильнее было бы рассматривать черногорцев как специфическое образование в рамках сербской нации, особенно ярко выразившееся в культурной, литературной и языковой сферах.

X. Большинство славянских литературных языков содержат в своей субстанциональной основе главным образом собственные элементы, однако два языка в этом отношении заметно отступают от среднего показателя: их основа содержит субстанциональные элементы чуждой по отношению к данной диасистеме славянской структуры. В русском языке это церковнославянские элементы[43], в болгарском — русские (которые иногда по происхождению в свою очередь являются церковнославянизмами).

XI. При формировании своей субстанциональной и структурной основы, которая могла бы обеспечить функции стандартного языка, все славянские языки пополняли ее субстанциональными (и реже структурными) элементами из более развитых славянских стандартных языков, в первую очередь русского, польского и чешского[44]; в известной мере и эти три языка использовали элементы друг друга. Некоторые славянские языки в процессе своего усовершенствования в значительной степени оснастили свою субстанцию инославянскими элементами, например, украинский и белорусский — русскими и польскими, лужицкие — преимущественно чешскими, македонский — сербскими, болгарскими и русскими элементами, болгарский — русскими; другие же славянские языки умеренно пользовались инославянскими элементами (русский, польский, хорватско-сербский, а также чешский); диалектная основа некоторых языков

[43] Церковнославянские элементы сохранились и в других славянских стандартных языках, однако число их не столь значительно (например, в хорватскосербском языке, особенно в сербском варианте); в других случаях они появились как русизмы.

[44] Для македонского такую роль играл хорватскосербский, который влиял в известной мере и на словенский, а болгарский на македонский, хотя ни хорватскосербский, ни болгарский не подготовлены для такой роли.

позволяла легко их ассимилировать (словацкий язык — чешские); в других случаях иноязычные элементы воспринимались равномерно из разных источников и легко ассимилировались (чешские, русские и хорватские в словенском). Таким образом, одни языки служат преимущественно источниками заимствований, а другие преимущественно заимствуют, за исключением болгарского, который и заимствует, и служит источником, а также словацкого, из которого не заимствуют другие языки и который сам не принимает иноязычных элементов в том смысле, в каком это характерно для других языков-реципиентов.

XII. Усовершенствование большей части славянских стандартных языков происходило под влиянием какого-либо иного славянского стандартного языка, служившего им в известной мере моделью и главным источником обогащения субстанции; с таким языком устанавливались более узкие и более частые контакты, чем с любым другим языком; с этого языка больше всего переводили. Другими словами, между отдельными парами славянских стандартных языков устанавливалось своеобразное и преимущественно одностороннее отношение, при котором один член развивался под влиянием другого, в его «сфере влияния». Лужицкие языки, с этой точки зрения, представляют исключение — там эту роль выполняет немецкий стандартный язык, а для нижнелужицкого — также и верхнелужицкий (в некоторой мере для верхнелужицкого эту функцию выполняет чешский язык, хотя и в ином плане).

Последние три особенности (X—XII) славянских стандартных языков частично сходны, но все же отчетливо различаются: особенность (X) относится к иноязычным элементам диалектной основы, остальные две — к иноязычным элементам, вошедшим в субстанцию стандартного языка вторично; особенности (XI) и (XII) отличаются друг от друга тем, что инославянские субстанциональные элементы проникают в первом случае из-за недостатков самой основы и потому часто вносятся сознательно, как правило из разных источников, а во втором случае иноязычные элементы заимствуются по экстралингвистическим причинам и из одного источника.

XIII. Славянские стандартные языки весьма заметно различаются по их терпимости к калькированию европеизмов; в этом отношении различаются и варианты хорватскосербского языка. Здесь имеются в виду только искусственные кальки, т. е. те, которые являются результатом сознательных требований, например пуризма, планомерного обогащения терминологии и под., а не возникают спонтанно (такие кальки распространены, например, в русском языке). Не принимаются во внимание и кальки, которые в готовом виде заимствуются из одного славянского языка в другой (X—XII).

XIV. С предыдущей особенностью связано и отношение к пуризму, который в отдельных славянских стандартных языках представлен различными типами. Для пуризма существенна априорная посылка о желательном и нежелательном, агрессивная некритичность в стремлении достичь определенного идеала языка и пренебрежение стилистическими и функциональными критериями в использовании отдельных элементов субстанции. Различные виды пуризма различаются трактовкой того, что в языке является желательным и что нежелательным. Воинствующий антипуризм тоже по существу является своеобразным пуризмом, так как он действует теми же методами и направлен даже против тех результатов пуристической деятельности, которые уже закрепились в стандартном языке и функционально и психологически слились с органическими элементами основы [45]; ему обычно не удается утвердиться и он остается лишь тен-

[45] У словенцев наблюдалось два типа антипуризма: первый направлен против заимствований из славянских языков тех элементов и слов, которые возникли как

денцией. С другой стороны, деятельность Вука Караджича и его последователей также носила пуристический характер, сколь бы их представления о желательном и нежелательном ни отличались от «нормального» пуризма, который был распространен главным образом в Хорватии (так называемая Загребская школа). Наконец, существует пуризм, направленный против чрезмерного влияния какого-либо славянского языка (XII). Таким образом, каждый стандартный язык характеризуется каким-либо видом пуризма, и для классификации славянских стандартных языков по их отношению к пуризму и его последствиям, отражающимся на общем облике и функционировании отдельных языков, избирается тот тип пуризма, который устраняет неславянские субстанциональные элементы и заменяет их диалектизмами, славянизмами, планомерно вводимыми новообразованиями и кальками, причем главная цель, которая при этом преследуется, — использовать материал непременно славянский, независимо от его органичности или неорганичности по отношению к структуре данного языка и независимо от его функциональных свойств.

XV. *Облик всякого стандартного языка в известной мере зависит* от характера цивилизации, которую он обслуживает. Неконкретный, обобщенный характер рассматриваемых здесь признаков не позволяет распределить языки по конкретным типам цивилизации, т. е. отнести их к среднеевропейскому (западноевропейскому), восточноевропейскому или ориентально-балканскому («левантскому») типу. Если первый тип обозначить через A, второй через B и третий через C, то, например, русский, украинский и белорусский языки можно было бы определить формулой B(A), болгарский и македонский — BC(A), хорватскосербский — ABC, причем хорватский вариант — A(C), а сербский — BC(A). Все же предпочтительнее делить славянские стандартные языки по признаку гомогенности (resp. негомогенности) соответствующей цивилизации.

Для характеристики славянских стандартных языков могли бы быть релевантны и некоторые другие признаки, однако они не удовлетворяли бы принятому условию, по которому критерии классификации по типу стандартности должны быть применимы без изменения формулировки к любой группе стандартных языков с генетически родственной субстанцией и структурой, т. е. с диасистемами, принадлежащими одной языковой семье (см. 3.1), — так, чтобы достаточно было подставить вместо «славянский» — «романский», «германский» и т. д. Для установления этих конкретных особенностей следовало бы ответить, например, на следующие вопросы: оказывали ли латинские (вернее: латинско-древнегреческие) или церковнославянские (вернее: славяно-византийские) элементы или и те и другие вместе влияние на древний абстрактный лексико-семантический слой субстанции стандартного языка (прежде всего синтаксиса, лексики, словообразования и семантики); воздействовали ли в более позднюю эпоху на этот слой западноевропейские элементы — непосредственно или через немецкий или другой более развитой (оптимально стандартный) славянский язык (и какой: русский, польский или чешский, или даже хорватскосербский, хотя последний нельзя считать подходящим для этой цели); имеет ли язык собственные средства для обслуживания различных сфер городской материальной и духовной культуры или он заимствует их из какого-нибудь более развитого славянского или неславянского источника (и какого: немецкого или восточного) и т. д. Содержание всех этих вопросов включено, хотя и не полностью, в список дифференциальных

результат пуризма (в этих случаях обычно предпочтение отдается даже народно-диалектным германизмам); второй — против искусственных, созданных на базе своего языка замен интернационализмов и европеизмов.

признаков (I—XV), однако ему придан абстрактный и категориальный характер.

3.3.1. Рассмотренные здесь признаки могут быть сведены к следующим бинарным противопоставлениям, могущим служить критериями классификации по типу стандартности:

A. Способ формирования и функционирования стандартных языков

(1) Языки с высокой степенью автономности и гибкой стабильности ∞ языки с низкой степенью автономности и гибкой стабильности.

(2) Языки с сосуществующими дублетами в пределах нормы ∞ языки с поляризованными дублетами в пределах нормы.

(3) Языки с непосредственным переходом от стандартной формы к (интер)диалектам ∞ языки с субстандартом как посредником.

(4) Языки с непрерывным развитием от эпохи формирования современной субстанции и структуры ∞ языки с не непрерывным развитием, с некоторым обновлением исходной субстанции и структуры.

B. Характер диалектной основы стандартного языка и его отношение к нации

(5) Языки с гомогенной исконной диалектной основой ∞ языки с негомогенной основой.

(6) Языки с непосредственно нормированной диалектной основой ∞ языки, основа которых предварительно подверглась фольклорной стилизации.

(7) Языки с так называемым культурным (интер)диалектом в качестве основы ∞ языки без выраженных явлений такого рода.

(8) Языки с полными поливалентными функциями стандартного языка ∞ языки с неполными функциями.

(9) Языки, соответствующие формуле «1 стандартный язык — 1 нация» ∞ языки, для которых эта формула недействительна.

C. Отношение к другим стандартным языкам

(10) Языки с собственной диалектной основой стандартности ∞ языки, в основе которых присутствуют иноязычные элементы той же языковой семьи.

(11) Языки, создавшие стандартную форму на основе преимущественно собственных субстанциональных элементов ∞ языки, которые при формировании стандартной формы в большей мере заимствовали субстанциональные элементы из языков той же языковой семьи.

(12) Языки, в целом свободные от влияния более крупных и развитых стандартных языков той же семьи ∞ языки, испытавшие влияние определенного родственного языка.

(13) Языки, в которых норма ограничивает возможности неспонтанного калькирования ∞ языки, терпимые к такому калькированию.

(14) Языки, свободные от сильных пуристических тенденций ∞ языки, пережившие пуристическую фазу.

(15) Языки, отражающие и обслуживающие гомогенную цивилизацию ∞ языки, отражающие и обслуживающие гетерогенную цивилизацию.

3.3.2. Изложенные критерии, примененные к славянским стандартным языкам и к вариантам хорватскосербского языка, можно представить в

таблице, где языки, соответствующие левой части формулировки, получат знак (+), а удовлетворяющие правой части — знак (—), если же ответ биполярен — знак (±). Поскольку хорватский и сербский варианты могут быть приравнены к стандартным языкам только в функциональном смысле, а по прочим критериям не могут, то на таблице эти варианты заключены в скобки.

Знаки (+/±/ —), употребляемые в табл. 1, имеют, конечно, технический смысл, однако в значительной мере они могут быть приняты и как элементы оценки с двумя, однако, существенными оговорками: понятно, что не все 15 критериев имеют одинаковый вес при оценке стандартности; очевидно также, что отдельный знак (+) или (—) в весьма различной степени отражает реальное положение — в одном случае он дает безусловный ответ, в другом приближается к знаку (±)[46]. Однако все же представляется возможным дать приблизительную оценку отдельным стандартным языкам как национальным языковым инструментам интернациональной цивилизации. Если знаку (+) приписать значимость 2, а знаку (±) значимость 1, то получим следующие показатели: русский и польский — 27, чешский — 23, словацкий (и сербский вариант) — 21, белорусский (и хорватский вариант) — 20, македонский и болгарский — 18, украинский и нижнелужицкий — 17, словенский и верхнелужицкий — 15 и хорватскосербский — 14. Очевидно, что полученная последовательность показательна, хотя и с названными оговорками. С другой стороны, полезно посмотреть, как изменится этот порядок по группам критериев A, B и C (см. 3.3.1). В соответствии с критериями A последовательность языков выглядит так: русский, польский и нижнелужицкий — 8, верхнелужицкий — 7, белорусский, украинский, словацкий, македонский и болгарский — 6, чешский и оба варианта хорватскосербского стандартного языка — 5, словенский — 4 и хорватскосербский в целом — 3. В соответствии с критериями B: русский и чешский — 10, польский и словацкий — 8, белорусский — 7, словенский, македонский, болгарский и оба варианта хорватскосербского языка — 6, украинский и оба лужицких — 4, хорватскосербский — 3. И, наконец, в соответствии с критериями C: польский — 11, сербский вариант — 10, русский и хорватский вариант — 9, чешский и хорватскосербский — 8, белорусский, украинский и словацкий — 7, македонский и болгарский — 6, нижнелужицкий и словенский — 5 и верхнелужицкий — 4.

Приведенные списки отражают качественные отношения отдельных языков лишь в весьма ограниченной мере, однако они достаточно хорошо выявляют, какая из групп критериев является особенно показательной для отдельно взятого языка. С бо́льшим успехом могут быть использованы суммарные показатели по вертикальным линиям, дающие среднюю оценку стандартности языков по отдельным критериям. Здесь следует оперировать двумя сериями цифр: учитывающих показатели хорватскосербского языка без вариантов и с вариантами и не учитывающих данные хорватскосербского языка в целом (приведенные в скобках). Самый высокий показатель славянские языки получают по второму критерию: 22(25), самый низкий — по седьмому критерию: 6(6).

3.3.3. Табл. 1 отражает различия между славянскими стандартными языками в зависимости от типа их стандартности. Если выразить эти различия цифрами, приписав различию (+) : (—) значимость 2, а различию

[46] Естественно, в некоторых конкретных случаях трудно определить положение на основе бинарного принципа. Так, например, современным лужицко-сербским языкам для критериев 1 и 4 можно приписать знак (±), а верхнелужицкому еще в недавнее время этот же знак можно было поставить для критерия 2 и т. п.

Таблица 1

Стандартный язык	Номер критерия														
	A				B					C					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Русский	+	+	+	+	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	±
Белорусский	−	+	+	+	+	+	−	±	+	+	−	−	+	+	±
Украинский	−	+	+	+	−	−	−	+	+	+	−	−	+	+	±
Польский	+	+	+	+	−	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+
Нижнелужицкий	+	+	+	+	+	+	−	−	−	+	−	−	±	−	+
Верхнелужицкий	+	+	±	+	+	+	−	−	−	+	−	−	−	−	+
Чешский	+	+	−	±	+	+	+	+	+	+	+	+	−	−	+
Словацкий	−	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	+	±	−	+
Словенский	+	+	−	−	−	+	−	+	+	+	±	−	−	−	+
Хорватский вариант	(−)	(+)	(+)	(±)	(+)	(−)	(−)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(±)	(±)	(±)
Хорватско-сербский	−	−	+	±	±	−	−	+	−	+	+	+	±	±	−
Сербский вариант	(−)	(±)	(+)	(+)	(+)	(−)	(−)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(−)
Македонский	−	+	+	+	+	−	−	+	+	+	−	−	+	+	−
Болгарский	−	+	+	+	−	+	−	+	+	−	−	+	+	+	−

Таблица 2*

–	рус.	блр	укр.	пол.	н.-л.	в.-л.	чеш.	слц	слв.	(хрв.)	х.-с.	(срб)	мак.	блг.
рус.	×	11	14	6	16	18	10	12	18	(11)	17	(10)	13	9
блр.	11	×	5	13	9	11	17	7	15	(10)	16	(9)	4	8
укр.	14	5	×	12	14	16	20	10	14	(9)	13	(8)	3	7
пол.	6	13	12	×	14	16	8	10	12	(11)	15	(12)	15	11
н.-л.	16	9	14	14	×	2	14	8	12	(15)	17	(18)	13	17
в.-л.	18	11	16	16	2	×	12	10	10	(17)	19	(20)	15	19
чеш.	10	17	20	8	14	12	×	10	8	(11)	17	(16)	19	19
слц.	12	7	10	10	8	10	10	×	10	(7)	13	(10)	9	13
слв.	18	15	14	12	12	10	8	10	×	(15)	19	(20)	17	17
(хрв.)	(11)	(10)	(9)	(11)	(15)	(17)	(11)	(7)	(15)	(×)	(6)	(5)	(8)	(12)
х.-с.	17	16	13	15	17	19	17	13	19	(6)	×	(7)	12	14
(срб.)	(10)	(9)	(8)	(12)	(18)	(20)	(16)	(10)	(20)	(5)	(7)	(×)	(5)	(9)
мак.	13	4	3	15	13	15	19	9	17	(8)	12	(5)	×	8
блг.	9	8	7	11	17	19	19	13	17	(12)	14	(9)	8	×
Σ I	144	116	128	132	136	148	154	112	152	ϕ	172	ϕ	128	142
Σ II	(148	119	132	140	152	166	164	116	168	131	ϕ	142	129	149)

* В табл. 2—4 приняты следующие сокращения названий языков: рус. — русский, блр. — белорусский, укр. — украинский, пол. — польский, н.-л. — нижнелужицкий, в.-л. — верхнелужицкий, чеш. — чешский, слц. — словацкий, слв. — словенский, хрв. — хорватский, х.-с — хорватскосербский, срб. — сербский, мак. — македонский, блг. — болгарский.

(+) : (±) или (±) : (—) значимость 1, то получим картину, представленную в табл. 2.

В таблице приведены суммарные показатели отличия отдельных славянских языков от всех остальных славянских стандартных языков (ΣI), а также от остальных языков, исключая хорватскосербский, который представлен отдельными данными по его хорватскому и сербскому вариантам (ΣII). Таким образом получаем два новых списка, демонстрирующих, в какой мере отдельный славянский стандартный язык (соответственно варианты хорватскосербского языка) отходят от среднего типа стандартного языка, сформированного на основании диасистемы, принадлежащей славянской языковой семье:

В соответствии с ΣI		В соответствии с ΣII	
1. словацк.	112	1. словацк.	116
2. белорусск.	116	2. белорусск.	119
3/4. макед./укр.	128	3. макед.	129
5. польск.	132	4. (хорв.)	131
6. н.-луж.	136	5. укр.	132
7. болг.	142	6. польск.	140
8. русск.	144	7. (серб.)	142
9. в.-луж.	148	8. русск.	148
10. словен.	152	9. болг.	149
11. чеш.	154	10. н.-луж.	152
12. хорв.-серб.	172	11. чеш.	164
		12. в.-луж.	166
		13. словен.	168

Полученные списки заметно различаются в зависимости от того, какое место отводится хорватскому и сербскому вариантам в составе славянских стандартных языков, взятых как типологическое целое (см. 3.4.2). С другой стороны, заслуживает внимания тот факт, что менее всего отличаются от остальных стандартных языков молодые славянские стандартные языки — словацкий, белорусский и македонский, тогда как языки, которые, при всех оговорках, были признаны оптимально стандартными (см. 3.3.2) (русский, польский и чешский), занимают в списке среднее положение или даже тяготеют к его концу. Несомненно, что этот факт дает славянским стандартным языкам в целом низкую оценку.

3.4.1. Числовые показатели, приведенные в табл 2, можно представить и таким образом, чтобы продемонстрировать степень близости каждого славянского языка к каждому другому славянскому языку (см. табл. 3); римские цифры (I—XI) обозначают степень типологической близости языков с точки зрения стандартности.

Ту же процедуру можно применить и к славянским языкам, среди которых хорватскосербский язык не будет фигурировать как целое, а лишь в двух своих вариантах (см. табл. 4); степень близости будет тогда передана цифрами I—XII.

В обеих таблицах имеются и арабские цифры, которыми условно оценивается расстояние между языками, занимающими разные места в последовательности. Если некоторый стандартный язык незначительно отступает от среднего типа стандартности большинства языков, то он помещается в таблице на более близкие места. Если условно оценить каждое место в 2 единицы, считая слева (т. е. V место = 10), то суммарный показатель отношения некоторого языка ко всем остальным языкам будет тем меньше, чем данный язык более подобен остальным языкам в отношении стандартности. Если два языка имеют один и тот же показатель отличия от некоторого третьего языка (например, словенский и верхнелужицкий от русского — 18, и потому они разделяют X и XI место), то число, которым оценивается место языка, будет равно среднему арифметическому (в нашем при-

Таблица 3

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22
рус.	пол. 6	блг. 9	чеш. 10	блр. 11	слц. 12	мак. 13	укр. 14	н.-л. 16	х.-с. 17	в.-л./слв. 18	
блр.	мак. 4	укр. 5	слц. 7	блг. 8	н.-л. 9	рус./в.-л. 11		пол. 13	слв. 15	х.-с. 16	чеш. 17
укр.	мак. 3	блр. 5	блг. 7	слц. 10	пол. 12	х.-с. 13	рус./н.-л./слв. 14			в.-л. 16	чеш. 17
пол.	рус. 6	чеш. 8	слц. 10	блг. 11	слц./укр. 12		блр. 13	н.-л. 14	мак./н.-с. 15		в.-л. 16
н.-л.	в.-л. 2	слц. 8	блр. 9	слв. 12	мак. 13	пол./чеш./укр. 14			рус. 16	х.-с./блг. 17	
в.-л.	н.-л. 2	слц./слв. 10		блр. 11	чеш. 12	мак. 15	пол./укр. 16		рус. 18	х.-с./блг. 19	
чеш.	пол./слв. 8		слц./рус. 10		в.-л. 12	н.-л. 14	блр./х.-с. 17		мак./блг. 19		укр. 20
слц.	блр. 7	н.-л. 8	мак. 9	чеш./пол./в.-л./слв./укр. 10					рус. 12	х.-с./блг. 13	
слв.	чеш. 8	в.-л./слц. 10		н.-л./пол. 12		укр. 14	блр. 15	мак./блг. 17		рус. 18	х.-с. 19
х.-с.	мак. 12	слц./укр. 13		блг. 14	пол. 15	блр. 16	рус./чеш./н.-л. 17			слв./в.-л. 19	
мак.	укр. 3	блр. 4	блг. 8	слц. 9	х.-с. 12	рус./н.-л. 13		пол./в.-л. 15		слв. 17	чеш. 19
блг.	укр. 7	мак./блр. 8		рус. 9	пол. 11	слц. 13	х.-с. 14	слв./н.-л. 17		в.-л./чеш. 19	

мере $\frac{20+22}{2} = 21$). Аналогично решается вопрос и в случаях, когда три или более языков занимают одно и то же место. Таким образом, арабские цифры автоматически показывают число единиц, приписываемых языкам. Снова получаем два списка:

По табл 3		По табл. 4	
1. словацк.	76	1. словацк.	104
2. белорусск.	92	2. белорусск.	111
3. макед.	106	3. макед.	126
4. укр.	113	4/5. укр./(хорв.)	134
5. польск.	118	6. польск.	153
6. н.-луж.	131	7. (серб.)	159
7. болг.	139	8. болг.	171
8. русск.	149	9. н.-луж.	175
9. чеш.	151	10. чеш.	178
10. словен.	152	11. русск.	179
11. в.-луж.	164	12. словен.	193
12. хорв.-серб.	193	13. в.-луж.	209

Сравнивая полученные списки с теми, которые были выведены из табл. 2, можно обнаружить много любопытных частных расхождений.

Таблица 4

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	1 2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 13	14 15	16 17	18 19	20 21	22 23	24
рус.	пол. 6	блг. 9	чеш./(срб.) 10		блр./(хрв.) 11		слц. 12	мак. 13	укр. 14	н.-л. 16	в.-л./слв. 18	
блр.	мак. 4	укр. 5	слц. 7	блг. 8	(срб.)/н.-л. 9		(хрв.) 10	рус./в.-л. 11		пол. 13	слв. 15	чеш. 17
укр.	мак. 3	блр. 5	блг. 7	(срб.) 8	(хрв.) 9	слц. 10	пол. 12	рус./н.-л./слв. 14			в.-л. 16	чеш. 20
пол.	рус. 6	чеш. 8	слц. 10	(хрв.)/блг. 11		слв. (срб.)/укр. 12			блр. 13	н.-л. 14	мак. 15	в.-л. 16
н.-л.	в.-л. 2	слц. 8	блр. 9	слв. 12	мак. 13	пол./чеш./укр. 14			(хрв.) 15	рус. 16	блг. 17	(срб.) 18
в.-л.	н.-л. 2	слц./слв. 10		блр. 11	чеш. 12	мак. 13	пол./укр. 16		(хрв.) 17	рус. 18	блг. 19	(срб.) 20
чеш.	пол./слв. 8		слц./рус. 19		(хрв.) 11	в.-л. 12	н.-л. 14	(срб.) 16	блр. 17	мак./блг. 19		укр. 20
слц.	блр. (хрв.) 7		н.-л. 8	мак. 9	чеш./пол./в.-л./слв./(срб.)/укр. 10						рус. 12	блг. 13
слв.	чеш. 8	слц./в.-л. 10		н.-л./пол. 12		укр. 14	(хрв.)/блр. 15		мак./блг. 17		рус. 18	(срб.) 20
(хрв.)	(срб.) 5	слц. 7	мак. 8	укр. 9	блр. 10	рус./чеш./пол. 11			блг. 12	слв./н.-л. 15		в.-л. 17
(срб.)	(хрв.) мак. 5		укр. 8	блг./блр. 9		рус./слц. 10		пол. 12	чеш. 16	н.-л. 18	слв./в.-л. 20	
мак.	укр. 3	блр. 4	(срб.) 5	(хрв.)/блг. 8		слц. 9	рус./н.-л. 13		в.-л./пол. 15		слв. 17	чеш. 19
блг.	укр. 7	блр./мак. 8		(срб.)/рус. 9		пол. 11	(хрв.) 12	слц. 13	слв./н.-л. 17		в.-л./чеш. 19	

3.4.2. Оценивая бинарные ответы по 15 критериям (табл. 1—4), необходимо иметь в виду сделанные выше оговорки; вместе с тем содержание табл. 1, 3 и 4 весьма информативно. Табл. 1, показывая наличие или отсутствие отдельной особенности (хотя и не раскрывая, в какой степени она представлена и каким образом она реализуется), дает представление о подобии и различии отдельных языков. Табл. 3 и 4 конкретизируют это представление в другом отношении; здесь вводится новое измерение, дающее возможность рассматривать данные не изолированно, а как некоторую систему: сходство двух языков по типу стандартности не одномерно. Это значит, что если язык В обнаруживает ближайшее сходство с языком А, то не во всех случаях язык А должен быть ближайшим к языку В, хотя показатель их близости, определенный в табл. 2, будет одним и тем же. Такого рода взаимное соответствие наблюдается, например, между русским и польским языками, и их взаимное сходство оценивается в табл. 3 двумя единицами и действует в обоих направлениях (т. е. как от русского к польскому,

так и от польского к русскому), однако в отношении, например, русского и болгарского языков уже не будет такого взаимного соответствия: близость болгарского к русскому оценивается в 4 единицы, а русского к болгарскому — в 8 единиц. Следовательно, болгарский стандартный язык ближе к русскому, чем русский к болгарскому.

Таким образом, можно любую группу стандартных языков, связанных какими-то общими свойствами, рассматривать как систему, дающую возможность установить типологию их стандартности и отношения каждого языка к другому. Предложенным методом можно классифицировать и языки, генетически не связанные, если они объединяются какой-либо общностью. Было бы полезно сравнить, например, таким же образом типы стандартности среднеевропейских стандартных языков, независимо от генетических отношений их диасистем.

Для науки о стандартных языках, безусловно, полезно изучение такого рода фактов. Например, хорватскосербский стандартный язык получает низкую оценку по особенностям его стандартности (см. комментарий к табл. 1) и одновременно как тип стандартного языка считается наиболее дивергентным (см. комментарий к табл. 2 и 3), однако относительно его вариантов нельзя сказать ни того, ни другого (см. комментарий к табл. 1,2 и 4). Анализ фактов, которые обусловили столь различное место хорватскосербского языка в разных списках, показывает, что причина этого кроется в факте наличия его вариантов и в фактах, приведших к их возникновению.

Типология стандартности имеет значение и для сравнительного изучения генетических отношений, хотя эти дисциплины совершенно различны: так, например, на табл. 4 хорватский и сербский варианты занимают не соседние места, тогда как во всякой генетической классификации славянских языков эти варианты вообще не могли бы фигурировать как полноценные члены сравнения из-за отсутствия между ними релевантных субстанциональных различий, сравнимых с различиями между другими славянскими языками [47]. Однако типология стандартности все же может оказаться полезной для генетической классификации. Приведу только один пример. Безусловно, никакая всесторонняя и надежная генетическая классификация не должна ограничиваться фонетическими (или фонологическими) и морфологическими критериями (как это часто бывает); необходимо, кроме того, использовать и словарные данные. Если взять в качестве источника сравнения общеславянский лексический фонд Ф. Копечного [48], то можно было бы определить схождения и расхождения для 12 славянских диасистем, а затем преобразовать полученные данные в цифровые показатели, как это было сделано в табл. 2 и 3; однако в этом случае мы бы измерили родство языков, а не их сходство. Я проделал такое сравнение по нескольким буквам. Полученная картина поражает двумя фактами: оба лужицких языка (особенно нижнелужицкий), так же как македонский и белорусский, обнаруживают по отношению к другим славянским языкам гораздо меньшее сходство, чем сходство, обнаруживаемое другими славянскими языками по отношению к данным языкам. И, наоборот, языки, которые были определены как оптимально стандартные (русский, польский, чешский), оказываются более близкими к другим языкам, чем это можно было ожидать. Объяснение здесь может дать типология стандартности: лужицкие языки находятся в специфической ситуации, македонский и белорусский поздно сформировались как стандартные языки, и длительное отсутствие нормы обусловило утрату общеславянских лексических элементов, а устойчивая стандартность чешского, польского и русского языков способствовала консервации тех лексических единиц, которые при органическом развитии наверняка были бы утрачены. На других уровнях языка (морфологическом, синтаксическом, фонологическом) также возможны факты подобного рода.

[47] Ни одна из методик, предложенных в работах, приведенных в примеч. 17, не может быто применена для выявления различий между хорватскосербскими вариантами. В лексической статистике эти различия занимают менее одного процента (только *jetra* ~ *džigerica* «печень» четко различается в списке из 100 слов, хотя оба эти слова известны носителям обоих вариантов).

[48] См: F r. K o p e č n ý, Základní v šeslovanská slovní zásoba, Brno, 1964.

Перевел с хорватскосербского *Н. И. Толстой*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Л. В. БОНДАРКО

СТРУКТУРА СЛОГА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНЕМ

В современной фонетической и фонологической литературе общепринято мнение о симметричности открытых и закрытых слогов типа СГ — ГС, ССГ—ГСС и т. д. Хотя это мнение нигде не сформулировано достаточно определенно, оно является исходным для многих лингвистических построений. Критические замечания Б. Хала [1], которые он делает в адрес Соссюра, обсуждая его теорию слога, основаны на том, что по теории Соссюра фонемы могут быть или эксплозивными, или имплозивными в зависимости от их места в слоге, а это не позволяет говорить о симметричности открытых и закрытых слогов с точки зрения соотношения фонологических характеристик элементов слога. Основываясь на том же представлении о симметричности слогов СГ— ГС и т. д., С. К. Шаумян описывает «операцию зеркального отображения цепочек» [2], в результате которой закрытые слоги трактуются как абсолютно симметричные открытым («элементы цепочки выстраиваются в обратном порядке»).

Однако такой симметричности на самом деле не существует. В настоящей статье приводятся данные о тех существенных различиях в фонетических характеристиках и в способах фонологических противопоставлений, которые наблюдаются в открытых и закрытых слогах и которые заставляют признать зависимость между типом слога и характеристиками элементов слога. Эти данные представляют определенный интерес и с точки зрения проблемы инвариантности фонологических характеристик.

В качестве материала для наблюдения были взяты русские сочетания типа СГ и ГС. Так как существующие принципы членения потока речи на слоги не являются бесспорными, то анализируемые слоги не выделялись из каких-либо слов, а были произнесены изолированно; при этом, естественно, возможность какого-то иного слогового членения была исключена. Весь экспериментальный материал был записан сначала на магнитную ленту в произношении 6 дикторов (175 открытых слогов типа СГ и 138 закрытых слогов типа ГС[3]); затем были получены спектрограммы этих записей на динамическом спектрографе типа «Видимая речь» и осциллограммы на шлейфном осциллографе Н-102. Данные о конкретных физических характеристиках слогов получены на основе анализа спектрограмм и осциллограмм.

---

[1] B. Hála, La syllabe, sa nature, son origine et ses transformations, «Orbis», X, 1, 1961.

[2] С. К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 1962, стр. 172 и сл.

[3] Открытые слоги представляли все возможные сочетания 35 согласных с гласными *а*, *о*, *и*, *е*, *і*; число закрытых слогов меньше, так как сочетания гласных со звонкими шумными согласными и заднеязычными мягкими *к'* и *х'* не были включены в список, поскольку конец слога в нашем случае совпадал с концом слова.

Оба типа слогов рассматриваются как с точки зрения взаимоотношения между компонентами каждого из типов, так и с точки зрения сравнительных характеристик этих компонентов в разных слоговых позициях.

I. СГ. Сочетание СГ — наиболее распространенная и наиболее элементарная модель слоговой конструкции. Об этом свидетельствует целый ряд фактов как чисто лингвистических (например, статистическое преобладание открытых слогов во всех языках), так и физиологических. Р. Стетсон[4] подчеркивал, что при убыстрении произнесения последовательности типа ГС она начинает произноситься как СГ (т. е.... *us-us-us*... превращается в ... *su-su-su*...). Об аналогичных явлениях пишет также и Е. Палгрем[5]. Опыты с нарушенной обратной акустической связью[6] показывают, что такое нарушение может привести к полному разрушению произносимых звуковых последовательностей до самых элементарных единиц, каковыми и являются комплексы СГ.

В связи с этим важно заметить, что, будучи минимальной произносительной единицей, слог СГ необходимо вызывает максимальное уподобление элементов его друг другу. Наблюдения над артикуляцией показывают, что уже в самом начале произнесения слога СГ происходит подготовка к артикулированию гласного и что все движения гласного, не противоречащие артикуляции согласного, начинаются с самого начала слога. К таким движениям относятся, например, опускание нижней челюсти еще во время артикуляции согласного, выпячивание и округление губ (лабиализация согласного перед гласными *о*, *и*), изменение конфигурации языка (более передняя смычка заднеязычных согласных перед гласными переднего ряда и более задняя — перед гласными заднего ряда). Все эти явления уже описывались в фонетической литературе, и здесь лишний раз говорится о них только для того, чтобы подчеркнуть, что именно изменения звуков как взаимосвязанных элементов слога приводят к появлению вариантов (оттенков) фонем. С другой стороны, именно слог является той своеобразной ареной, на которой только и выявляются фонологические характеристики его элементов, и, как будет показано ниже, именно в слоге СГ существуют оптимальные условия для реализации фонологически существенных признаков.

Модификации элементов слога рассматриваются здесь с точки зрения некоторых акустических характеристик. Однако эти характеристики должны быть интерпретированы как результат определенных артикуляторных явлений.

Наиболее ярко взаимоупотребление элементов в слоге СГ проявляется в следующем:

1. Понижение[7] частоты шума согласного, находящегося в одном слоге с огубленным гласным *и* или *о*, — результат лабиализации, распростра-

[4] R. H. Stetson, Motor Phonetics, Amsterdam, 1951.

[5] E. Pulgram, Consonant cluster, consonant sequence and the syllabe, «Phonetica», 13, 1—2, 1965.

[6] Л. А. Чистович, Л. В. Бондарко, Об управлении артикуляционными органами в процессе речи, сб. «Исследования по структурной типологии», М., 1963.

[7] Говоря о понижении частоты шума или вообще об изменении той или иной характеристики, необходимо иметь в виду условность такого понимания существа дела: об изменении *s* в *su*, например, можно говорить только при сравнении его с *s* в любом другом слоге или, приняв за эталон, для сравнения характеристики этого же *s* в слоге, например, с гласным *а*. Условность же понятия основного оттенка (варианта) определяется как статистическими фактами (для одних согласных наиболее частым будет соседство с одним гласным, для других — с другим), так и собственно фонетическими: для переднеязычных согласных самым оптимальным, т. е. не противоречащим его собственным характеристикам, будет соседство с гласными переднего ряда, для заднеязычных же именно такое соседство приведет к максимальному изменению их артикуляции.

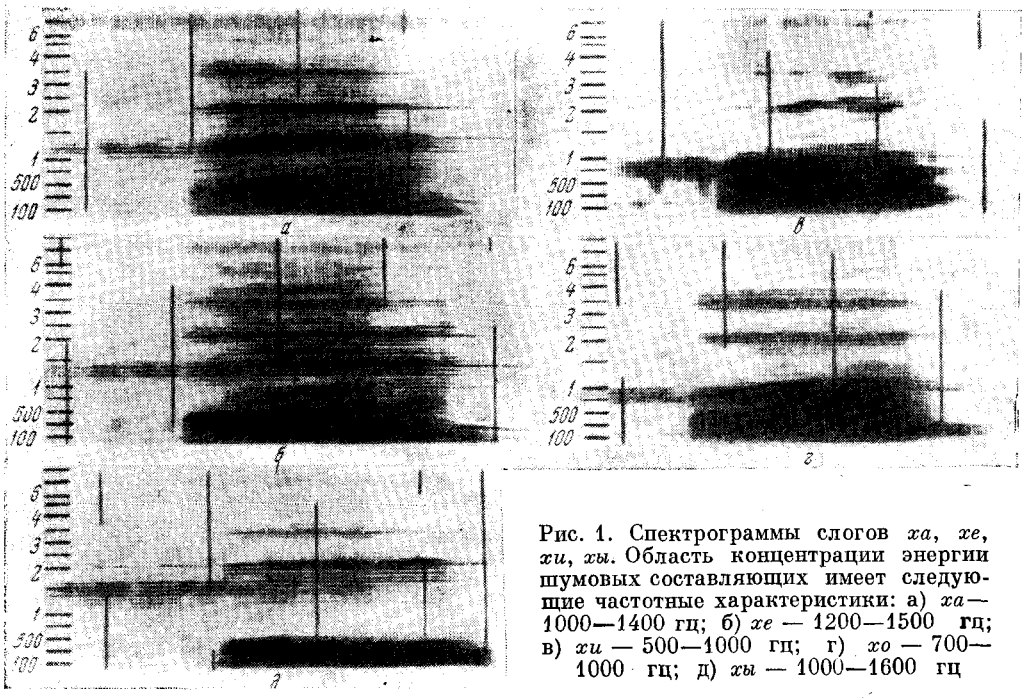


Рис. 1. Спектрограммы слогов *ха*, *хе*, *хи*, *хы*. Область концентрации энергии шумовых составляющих имеет следующие частотные характеристики: а) *ха* — 1000—1400 гц; б) *хе* — 1200—1500 гц; в) *хи* — 500—1000 гц; г) *хо* — 700—1000 гц; д) *хы* — 1000—1600 гц

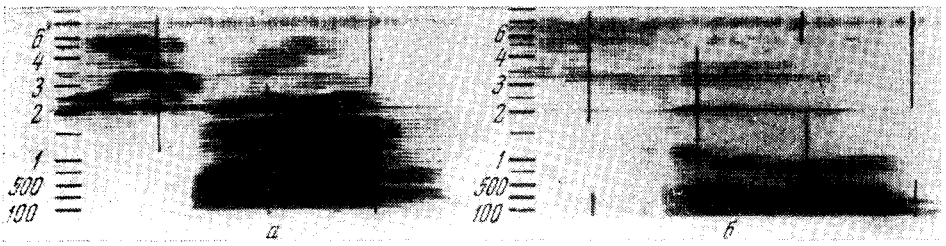


Рис. 2. Спектрограммы слогов а) *ša*, б) *su*

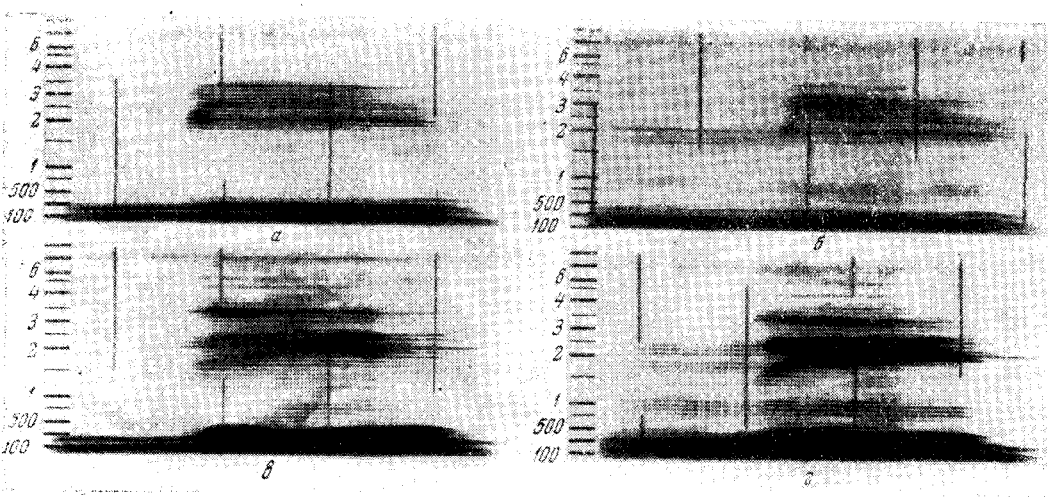


Рис. 3. Спектрограммы слогов а) *b'i*, б) *m'i*, в) *dы*, г) *пы*

няющейся на весь слог в целом: например, если в слоге *su* нижняя граница шума согласного расположена в области 2000 гц, то в слоге *sa* эта граница значительно выше (3500—4000 гц). Область максимальной концентрации энергии в *s* из *su* также, как правило, ниже по частоте, чем в *s* из *sa*.

Изменение частоты шума в соседстве с огубленными гласными является частным случаем приближения частотных характеристик согласного к частоте *F* II следующего гласного. На рис. 1 приводятся спектрограммы слогов с начальным *x*, которое существенным образом изменяется в соседстве с разными гласными и частота шума которого совпадает с частотой *F* II каждого из гласных. Максимальное изменение наблюдается в соседстве с огубленными гласными.

Зависимость спектральной картины согласного от формантной структуры гласного обнаруживается и в том, что очень часто в спектре шумного согласного возникают области концентрации энергии, совпадающие по частоте с высокими формантами гласного (*F* III, *F* IV). Пример такого явления см. на рис. 2, где в слоге *ša* спектр *š* характеризуется областью (2000—2500 гц), совпадающей с *F* III гласного *a*; в слоге *su* обнаруживается область регулярного усиления шумовых составляющих в полосе 3000—3500 гц, совпадающей с *F* IV гласного *u*.

2. Гласные также очень существенно изменяются в зависимости от тех или иных качеств начального согласного. Наиболее значительным является изменение после носовых согласных: в этом положении гласный открытого слога обычно целиком назализуется, о чем свидетельствуют и соответствующие изменения в спектре. На рис. 3 приведены спектрограммы слогов с начальными чистыми и носовыми согласными. В спектре гласных *ы* и *i* появляются отчетливые области концентрации энергии в полосе 500—1200 гц, как и в предшествующих согласных. В слогах с чистыми согласными этого не наблюдается.

Переход от согласного к стационарной части гласного также изменяется очень значительно, что, безусловно, отражается на общей характеристике гласного. Наиболее ярко выражен переход после мягких согласных (см., например, рис. 4, где приведены спектрограммы слогов с твердыми и мягкими согласными). Эти изменения гласных под влиянием мягкости соседних согласных описаны достаточно подробно во многих работах. Я сошлюсь здесь на собственные наблюдения, касающиеся как объективных физических характеристик этих переходных участков [8], так и их значения для реализации признака мягкости начального согласного [9].

Переходный участок гласного изменяется и в зависимости от места образования согласного. Эта зависимость является настолько жесткой, что по характеру гласного перехода можно судить о месте образования согласного не только в естественных слогах, но и в синтезированной речи. По этому вопросу существует большая литература, в которой содержится не только подробное описание этих переходов в разных языках (английском[10], шведском [11], русском [12]), но и делаются попытки использовать их характеристики как критерий при определении места слоговой границы — при-

[8] Л. В. Бондарко, О характере изменения формантного состава русских гласных под влиянием мягкости соседних согласных, сб. «Вопросы фонетики», 1960 («Уч. зап. [ЛГУ]», 237. Серия филол. наук, 40).

[9] Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, О маркированности признака мягкости русских согласных, «Zeitschrift für Phonetik Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 18, 2, 1965.

[10] P. C. Delattre, A. M. Liberman, F. S. Cooper, Acoustic loci and transitional cues for consonants, JASA, XXVII, 4, 1955, стр. 769—773.

[11] B. Malmberg, The phonetic basis for syllable division, «Studia linguistica», IX, 1955 стр. 80—87.

[12] Г. Фант, Акустическая теория речеобразования, М., 1964.

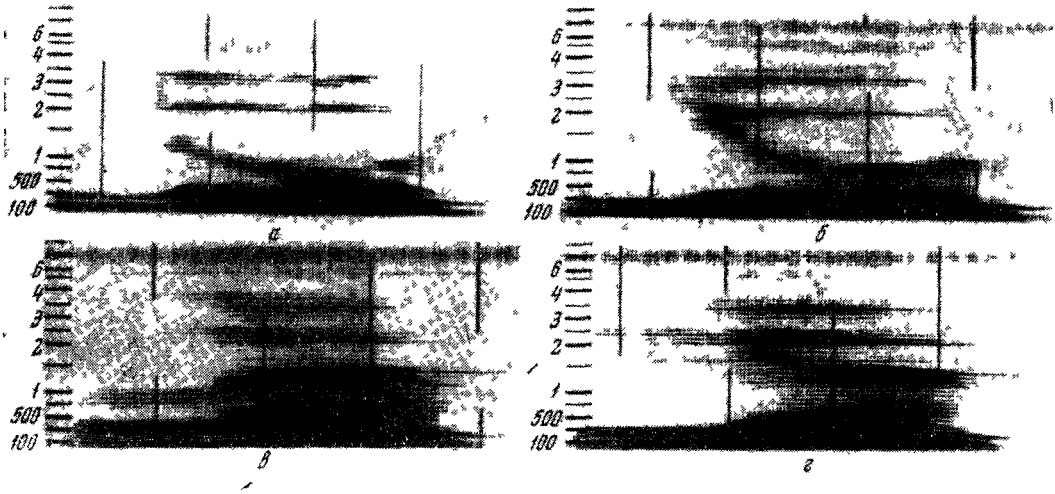


Рис. 4. Спектрограммы слогов с твердыми и мягкими согласными. а) *du* — частота *F*II гласного после согласного — 1000—1500 гц, длительность перехода — около 50 мсек; б) *d'u* — частота *F*II гласного после *d'* — 1500—2000 гц, длительность перехода около 120 мсек, в) *la* — частота *F*II гласного после *l* — 800—1000 гц, длительность перехода около 30 мсек; г) *l'a* — частота *F*II гласного после *l'* — 1500—2000 гц, длительность перехода — около 100 мсек

оритет в этом принадлежит, безусловно, Б. Мальмбергу, который впервые провел опыты с синтезированными слогами, характеризующимися различными гласными переходами. Его работа должна быть рассмотрена специально, особенно в связи с анализом тех языков, для которых типичны имплозивные согласные; здесь же важно заметить, что использование акустических характеристик звуков для определения их слоговой принадлежности имеет уже достаточно большую традицию.

3. Наконец, одним из существенных признаков произносительной общности элементов слога СГ является взаимозависимость их длительностей. Известно, что открытые гласные имеют большую длительность, чем закрытые [13]. Однако при подсчете суммарной длительности слога СГ оказалось, что она остается постоянной независимо от качества гласного. Эта устойчивость длительности целого слога обеспечивается тем, что длительность согласного закономерно изменяется перед открытыми и закрытыми гласными: в первом случае она минимальная, во втором — максимальная. Относительная длительность согласного в слогах с гласным *а*, например, около 30% (за 100% принимается длительность всего слога), а в слогах с гласным *и* — около 40%.

Из всех названных результатов взаимодействия компонентов слога только последний, может быть, не имеет сколько-нибудь существенного значения с точки зрения инвариантности фонологически существенных признаков. Все остальные изменения приводят к значительным отклонениям реальных физических характеристик конкретных оттенков по сравнению с теми характеристиками, которыми определяют основной оттенок. В системе согласных, как было показано, варьируют такие признаки, как высота шума и его нерегулярность, степень выраженности признака мягкости [14].

[13] Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960.

[14] Об этом подробнее см · Л. В. Бондарко, Л Р. Зиндер, О некоторых дифференциальных признаках русских согласных фонем, ВЯ, 1966, 1.

Для гласных же наблюдаются, с одной стороны, нарушения такого существенного признака, как частотное положение *F* II, коррелирующее с рядом образования гласного (гласный заднего ряда *а* после мягкого согласного характеризуется в начальной фазе звучания такой же частотой *F* II, что и гласный переднего ряда *i*); с другой стороны, усиление в области низких частот, возникающее в спектре гласного под влиянием предшествующего носового согласного, также очень существенно изменяет характеристики гласного.

Однако несмотря на эти изменения, бесспорным является тот факт, что все фонологически существенные признаки согласных и гласных в этих слогах выражены достаточно ярко. При этом играют роль не только собственные характеристики каждого из элементов слога, но и их относительные характеристики, выявляющиеся в результате контрастирования следующих друг за другом единиц [15]. Самым сильным контрастом в рассматриваемых условиях является, безусловно, контраст между начальным глухим согласным и следующим гласным. Для русского ударного слога СГ характерно такое распределение признаков, при котором глухой согласный никогда не озвончается перед гласным, так что появление голоса служит сигналом начала гласного. О невозможности озвончения глухого согласного перед гласным говорят не только осциллографические или спектрографические записи. Результаты опытов, в которых исследовалось восприятие согласных, говорят о том, что для русских аудиторов любой согласный с глухой смычкой и звонким взрывом является звонким, а не глухим [16]. Таким образом, слоги с начальными глухими согласными представляют оптимальный вариант слога как с точки зрения выраженности контраста между согласным и гласным (именно в этом случае можно говорить о противопоставлении гласных согласным в терминах, предложенных Якобсоном, Фантом и Халле), так и с точки зрения членения его на две единицы, соответствующие согласному и гласному; место этой границы определяется безошибочно. Наглядным примером сказанного являются слоги, спектрограммы которых представлены на рис. 2. Несмотря на значительное уподобление начального согласного следующему гласному контраст между ними сохраняется во всех случаях, а граница может быть установлена вполне четко.

Контраст звонкого согласного со следующим гласным является гораздо менее ярким, так как в слогах с начальным звонким голос характеризует весь слог. В связи с этим граница между согласным и гласным уже перестает быть такой четкой; вторым следствием является возникновение формантной структуры в спектре звонких щелевых согласных, третьим — значительное ослабление шума и вокализация этих согласных. Строго говоря, только между звонким взрывным и гласным можно однозначно провести границу в слоге. Однако наличие шумовых составляющих в спектре звонких согласных воспринимается достаточно хорошо в соседстве с гласным.

Гораздо большую роль контраст двух соседних элементов играет для сочетаний с начальными сонантами. Как показали специальные опыты [17],

---

[15] «...применение термина к о н т р а с т лучше ограничить теми случаями, когда полярное различие двух единиц выявляется в силу их смежности в чувственном восприятии...» (Р. Я к о б с о н, М. Х а л л е, Фонология ее отношение к фонетике, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 233).

[16] В этих опытах аудиторам предъявлялись слоги с начальными звонкими согласными, у которых была предварительно отрезана звонкая смычка. Разумеется, речь в данном случае идет только о русском языке.

[17] Н. А. Л ю б и м о в а, Акустические характеристики русских сонантов (групповые и индивидуальные признаки). Автореф. канд. диссерт., Л., 1966.

для хорошего опознавания сонанта присутствие соседнего гласного необходимо. Несмотря на то, что сонанты имеют собственные спектральные характеристики, они плохо опознаются, будучи выделенными из контекста, и идентифицируются с какими-нибудь гласными. Только контраст по интенсивности с соседним гласным обеспечивает хорошую опознаваемость сонанта. Важно заметить, что членение слога на начальный сонант и гласный может и не вызывать затруднений, так как сигналом начала гласного служит не только спектральная картина, но и резкое нарастание интенсивности.

Реализация мягкости начального согласного в слоге, как известно, связывается со специфическим *i*-образным звучанием начального гласного перехода [18]. При этом значение его тем больше, чем меньше гласный слога похож на *i*.

Вообще данные многих экспериментальных работ свидетельствуют о том, что механизмы выявления фонологически существенных признаков могут быть разными. Если такие признаки, как глухость, звонкость, способ образования согласного, могут быть непосредственно соотнесены с реальными физическими характеристиками собственно согласных, то мягкость согласного обнаруживается — в наиболее общем виде — только на уровне целого слога, так как сам согласный может и не иметь собственных акустических признаков мягкости. То же наблюдается и при выявлении признака места образования смычного согласного (см. об этом на стр. 37). Значение контрастирования двух соседних элементов также различно в слогах разных типов. В случаях максимального контраста по большому количеству признаков (например, слог *ta*) это непосредственное соседство не несет основной роли при выявлении фонологически существенных черт; наоборот, когда число различающихся признаков мало (например, слог *lu*), значение контраста вырастает, так как он становится необходимым условием реализации противопоставления по относительной интенсивности.

II. ГС. Взаимовлияние элементов в слогах такого типа носит несколько иной характер как с точки зрения механизмов этого влияния, так и с точки зрения результатов его. Если уподобление согласного следующему гласному в слоге СГ — результат активной работы произносительных органов (например, выпячивание и округление губ во время артикуляции согласного в слоге *su*), то в слогах ГС это уподобление является результатом определенной инертности произносительного аппарата, который по чисто физическим причинам не может мгновенно переходить от одного артикуляторного положения к другому. Вследствие этого нет полной симметричности типов изменения соседних звуков, т.е. Г из СГ не так изменяет С, как Г из ГС; и, наоборот, С из ГС не так изменяет Г, как С из СГ. Рассмотрим эту несимметричность на конкретных примерах.

1. Влияние огубленного гласного *u* (*o* в данном случае не может рассматриваться как лабиализованный, так как к концу звучания, т. е. к тому моменту, когда начинается артикуляция согласного, *o* сильно делабиализуется [19]) наблюдается и в слоге ГС, однако согласный полностью лабиализован только в том случае, если в его артикуляции нет полной смычки. Так, все щелевые согласные изменяют соответствующим образом свои спектральные характеристики; смычные же обнаруживают влияние огуб-

[18] Л. Р. Зиндер, Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, Акустическая характеристика различия твердых и мягких согласных в русском языке, сб. «Вопросы фонетики», 1964 («Уч. зап. [ЛГУ]», 325. Серия филол. наук, 69).

[19] Эта делабиализация настолько сильна, что конец *o* звучит как $\wedge$; при инверсивном прослушивании магнитной записи этого гласного отчетливо выделяются и сильно лабиализованное *u*-образное начало и делабиализованный конец; по существу, в русском *o* есть три разных участка: *u* — *o* — $\wedge$.

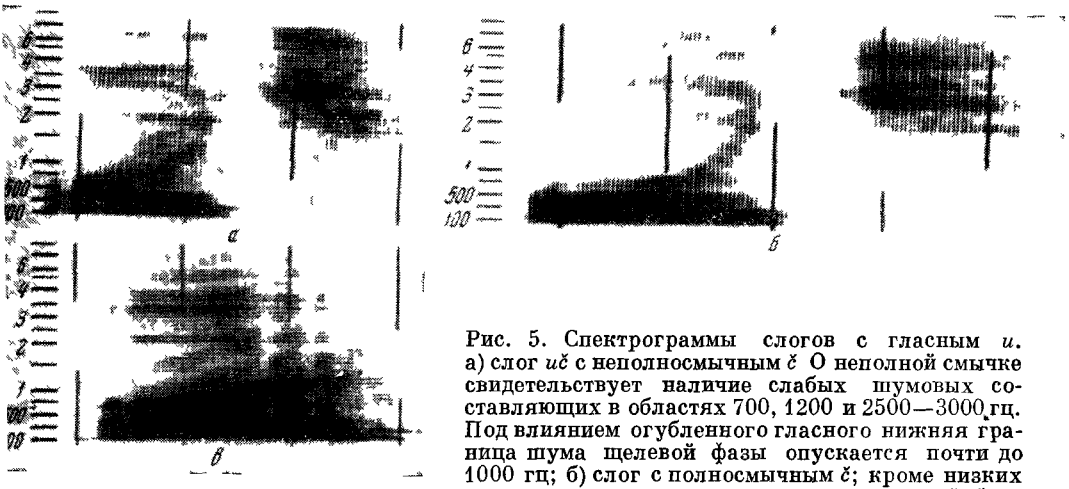


Рис. 5. Спектрограммы слогов с гласным *и*. а) слог *иč* с неполносмычным *č* О неполной смычке свидетельствует наличие слабых шумовых составляющих в областях 700, 1200 и 2500—3000 гц. Под влиянием огубленного гласного нижняя граница шума щелевой фазы опускается почти до 1000 гц; б) слог с полносмычным *č*; кроме низких частот основного тона голоса в озвонченной фазе смычки, в спектре не обнаруживается никаких составляющих вплоть до начала щелевой фазы, нижняя граница шума которой — около 2000 гц; в) слог *ир*

ленного гласного только в том случае, когда их смычка не является полной. Эта же зависимость хорошо наблюдается на примере слогов с конечным *р*: после первого удара *р* эффект лабиализации исчезает, и частотные характеристики этого согласного заметно изменяются в сторону повышения областей концентрации энергии в спектре. На рис. 5 приведены спектрограммы слогов с *č* (с полной смычкой и неполносмычным) и с *р*; на рисунке хорошо видна эта зависимость между частотой шумовых составляющих и характером смычки согласного.

Вообще зависимость частотных характеристик согласного от гласного в слоге ГС слабее. Если в СГ в спектре щелевых согласных обнаруживаются области усиления энергии, совпадающие по частоте с *F* III и *F* IV следующего гласного, то в слоге ГС этого нет.

2. Влияние согласного на предшествующий ему гласный значительно слабее, чем в слоге СГ. Если в сочетаниях носовых согласных с гласными эти последние назализуются полностью, то в слоге ГС назализуется только участок гласного, непосредственно примыкающий к носовому согласному (ср. рис. 10 *б*, *г*).

Переход от стационарной части гласного к следующему согласному не имеет ярко выраженных спектральных характеристик, связанных с качеством следующего согласного[20] — ни с местом образования его, ни с его мягкостью — твердостью. Вообще в слогах ГС механизм выявления признака мягкости иной, чем слоги СГ. Если в последнем случае наиболее общим признаком является *і*-образный переход гласного и если мягкость реализовалась именно на уровне всего слога, то в сочетании ГС мягкость согласного не связывается с качеством гласного перехода. На рис. 6 представлены спектры сочетаний *р'а* и *ар'* и *s'o* и *os'*; на спектрограммах хорошо видна эта разница в качестве переходных участков. Такая нечеткость перехода от гласного к последующему мягкому согласному приводит к тому, что при восприятии этих гласных мягкость согласного узнается только в 50%

[20] Л. В. Бондарко, О характере изменения формантного состава русских гласных под влиянием мягкости соседних согласных.

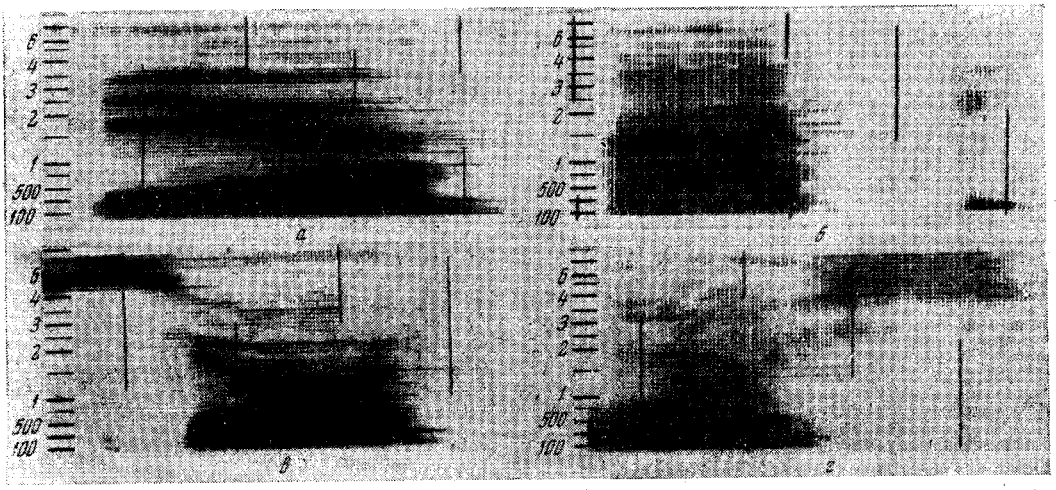


Рис. 6. Спектрограммы слогов а) *p'a*, б) *ap'*, в) *s'o*, г) *os'*

случаев, тогда как по гласному из слога *p'a*, например, мягкость согласного определяется более чем в 90% случаев [21].

Вообще говоря, если оценивать степень связанности Г и С в сочетании ГС именно по характеру перехода, следует прийти к выводу, что эта связанность отнюдь не обусловлена тем, что и Г и С входят в один слог, но является результатом простой аккомодации двух соседних звуков (независимо от того, входят они в один слог или нет). В этом убеждает также сравнение переходных участков в ГС с аналогичными участками в сочетании ГСГ, где согласный, безусловно, относится не к первому, а ко второму слогу. На рис. 7 приведены спектрограммы сочетаний *ак* и *а́-ка*. Как видно из этих рисунков, характер перехода от стационарной части гласного *а* к согласному в обоих случаях одинаков. Это наблюдается во всех сочетаниях типа ГС и ГСГ.

3. При сравнении количественных характеристик разных элементов слога в сочетаниях СГ и ГС также обнаруживается различие, значение которого должно быть специально рассмотрено. Если в слоге СГ длительность согласного перед открытым гласным была меньше, чем перед закрытым, то в сочетании ГС такой зависимости длительности согласного от длительности соседнего гласного нет. И после открытого гласного, и после закрытого длительность согласного составляет около 50% длительности всего сочетания; при этом длительность слога с открытым и закрытым гласным также более или менее постоянна.

Из всего сказанного о сочетании ГС можно было бы сделать вывод о том, что здесь зависимость звуков друг от друга гораздо меньше, чем в СГ, и что именно эти условия нужно считать оптимальными для реализации существенных признаков гласного и согласного. Однако это предположение отпадает, как только мы переходим к рассмотрению того, каким образом в сочетании ГС реализуются эти признаки.

Различие между гласным и глухим согласным, столь четко выражающееся в конструкции СГ, в сочетании ГС значительно ослабляется в связи с озвончением согласного, следующего за гласным. Это озвончение может

[21] Л. А. Вербицкая, Звуковые единицы русской речи и их соотношение с оттенками и фонемами. Автореф. канд. диссерт., Л., 1965.

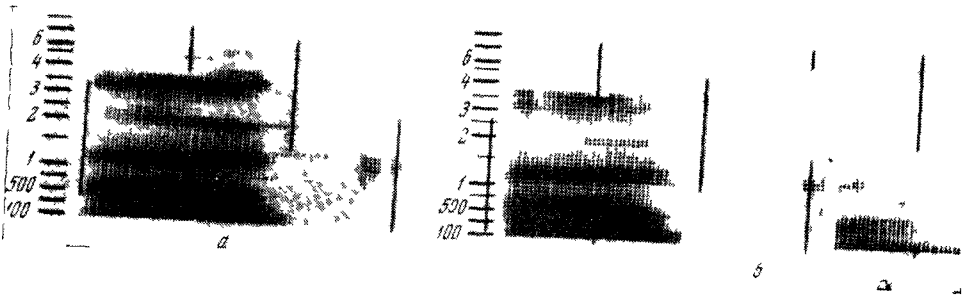


Рис 7. Спектрограммы сочетаний а) *ak*, б) *áka*

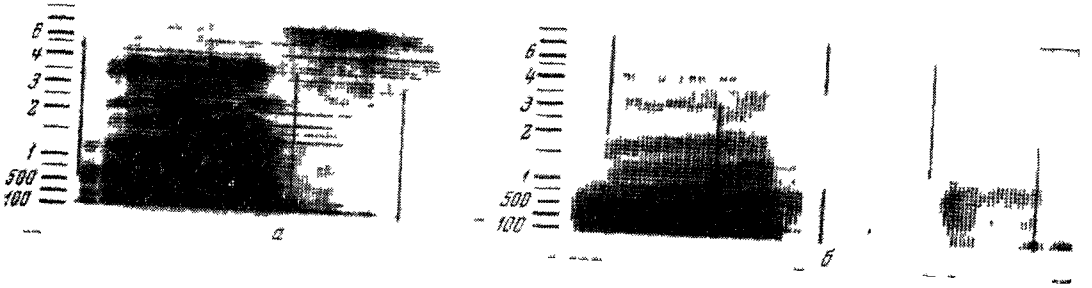


Рис 8 Спектрограммы слогов а) *as*, б) *ok*

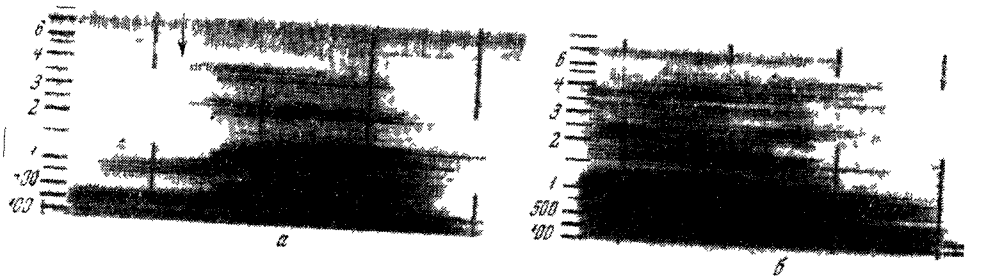


Рис. 9. Спектрограммы слогов а) *la*, б) *al* Начало гласного в слоге *la* (отмечено стрелкой) характеризуется резкой перестройкой формантной структуры и увеличением интенсивности. В слоге *al* между концом гласного и началом *l* такой разницы нет

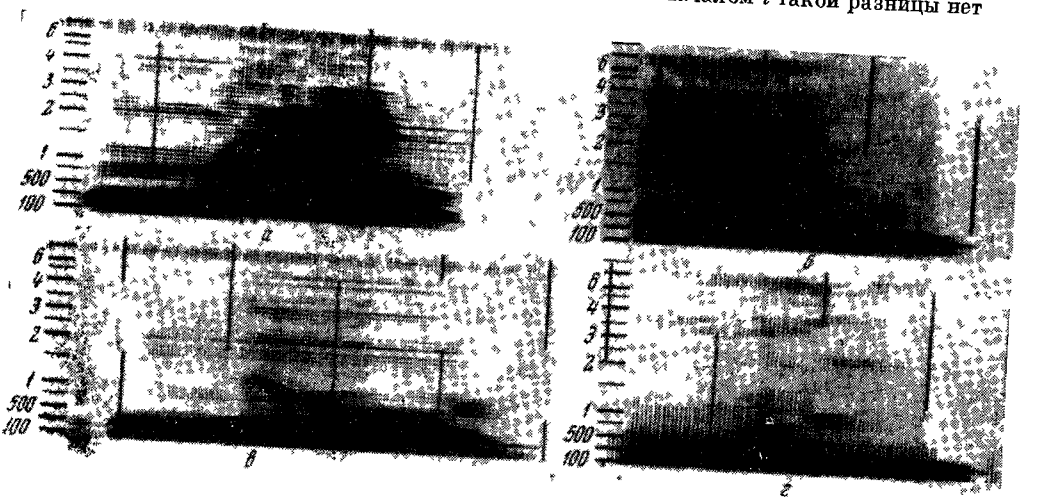


Рис 10 Спектрограммы слогов а) *me*, б) *em*, в) *пи*, г) *un*

охватывать до 60% длительности согласного. Таким образом, контраст между гласным и глухим согласным оказывается сглаженным, и граница между ними не совпадает с окончанием работы голосовых связок.

На рис. 8 приведены спектрограммы слогов с озвонченным началом согласного. На всех нижеследующих рисунках, где приведены спектрограммы слогов с глухими согласными, эта озвонченная фаза также достаточно хорошо выделяется.

Существенно нарушается и такой признак согласного, как способ образования. В сочетании ГС, содержащем смычный согласный, абсолютная пауза, которая соответствует фазе выдержки смычки, наблюдается далеко не всегда. Наиболее частым случаем является неполная смычка, на протяжении которой в спектре согласного регистрируются интенсивные шумовые составляющие, и только на небольшом участке согласного, перед самым взрывом (или началом щелевой фазы для аффрикат) можно выделить участок, соответствующий полной глухой смычке (т. е. абсолютную паузу). Если добавить к этому еще и озвончение начала глухого согласного после гласного, то нетрудно согласиться, что реализация смычных согласных в конце слога не может считаться оптимальной.

Спектральные характеристики сонантов в сочетании ГС значительно отличаются от соответствующих характеристик их в сочетании СГ. Кроме того, в таких сочетаниях очень сильно нарушается контрастирование компонентов слога, которое является одним из основных условий реализации сонантов как согласных в соседстве с гласными.

В упомянутой работе Н. А. Любимовой приводятся данные о том, что опознаваемость сонантов в сочетаниях ГС гораздо меньше, чем тех же сонантов в сочетаниях СГ. Если в слогах этого последнего типа можно и по спектральным характеристикам, и по ответам испытуемых установить наиболее информативный участок, содержащий сведения и о начальном согласном и о следующем гласном, то в сочетаниях ГС чаще всего оба эти признака отсутствуют. При выделении сонанта из сочетания ГС наблюдается очень любопытный факт: при полном удалении гласного конечный сонант звучит все-таки с некоторым гласным призвуком в начале; этот эффект сохраняется даже в том случае, когда удаляется и значительная часть сонанта, примыкающая к гласному. Спектральные характеристики говорят о том, что действительно сонант после гласного очень часто имеет вид затянувшегося перехода. См. рис. 9, где это видно очень отчетливо. Тот же факт, что выделенный из сочетания ГС сонант воспринимается как сочетание некоего гласного с сонантом, может быть объяснен тем, что интенсивность его к концу значительно ослабляется, так что каждый предшествующий отрезок является более интенсивным, чем последующий, и именно это приводит к впечатлению, что имеется сочетание гласного с сонантом.

Другим важным отличием сонантов в сочетании ГС от тех же сонантов в сочетании СГ является значительное изменение формантной структуры вследствие ослабления некоторых формант, так что идентифицировать начальный и конечный сонант по спектральной картине трудно. На рис. 10 приведены спектрограммы сочетаний с начальными и конечными сочетаниями, иллюстрирующими это явление.

О третьем виде изменения сонантов в конечной позиции будет сказано несколько ниже.

Как видно из сказанного, в сочетании ГС, несмотря на меньшую взаимозависимость его элементов с точки зрения общности программы произнесения, обнаруживаются такие сильные изменения фонетических характеристик входящих в него элементов, что становится очевидным его несходство со слогом ГС как элементарной произносительной единицей,

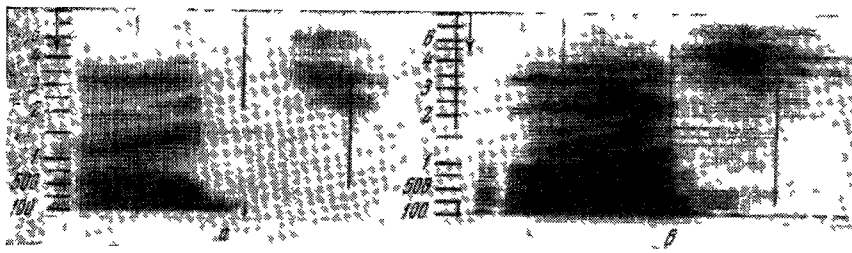


Рис. 11. Спектрограммы слогов а) *aš*, б) *os*

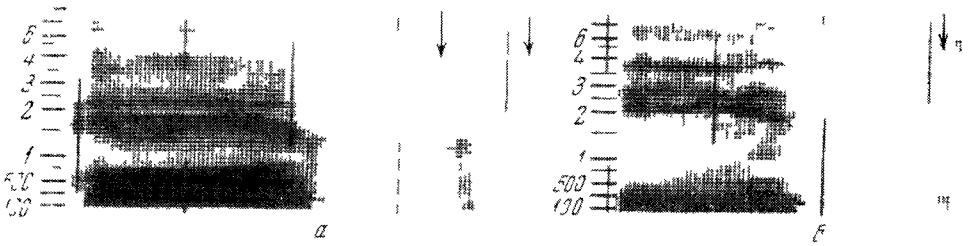


Рис. 12. Спектрограммы слогов а) *ek*, б) *it* Взрыв *k* и *t* и следующие за взрывом регулярные усиления частот отмечены стрелками

в которой оптимальным образом реализуются фонологически существенные признаки гласных и согласных.

Существует и еще одна причина, по которой идея о полной симметричности слогов СГ и ГС должна быть отвергнута.

Если снова обратиться к слогам СГ и рассмотреть их с точки зрения того, какие именно и сколько элементов входят в его состав, то легко обнаружить, что ничего, кроме начального согласного и следующего за ним гласного, мы не наблюдаем. Вопрос о том, к какому из элементов отнести переход от согласного к гласному, решается обычно в пользу гласного, так как он имеет и спектральные признаки гласного — отчетливую формантную структуру, и, будучи выделен из контекста, воспринимается как гласный.

В слогах ГС дело обстоит иначе. Гласный в этих случаях почти всегда начинается с более или менее интенсивного гортанного взрыва, наличие которого свидетельствует о том, что перед началом произнесения гласного происходит определенное размыкание. На рис. 11 приведены спектрограммы слогов с начальным гортанным взрывом. Несмотря на близость его спектральных характеристик к спектральным характеристикам следующего за ним гласного, его обособленность не вызывает сомнений. Этот гортанный взрыв является первым из элементов, не предусмотренным фонемным составом слога, и не может быть интерпретирован ни как гласный, ни как согласный.

Второй элемент, не соотносимый ни с одной из фонем, входящих в слог ГС, возникает в конце сочетания, после взрывных согласных и после *r*. На рис. 12 приведены спектрограммы таких сочетаний. Интересно заметить, что конечное *r* (см. рис. 5) становится многоударным, а длительность его в этом случае равна приблизительно длительности безударного слога. Что же касается конечных взрывных, то их характерис-

тики очень существенно отличаются от характеристик начальных взрывных как по длительности, так и по качеству. Если взрыв начального (в слоге СГ) согласного характеризуется мгновенным распространением энергии по всему спектру и опознается удовлетворительно только в соседстве с гласным, то конечные согласные характеризуются тем, что в спектре взрыва отчетливо выделяются отдельные области концентрации энергии; при этом длительность взрыва возрастает в несколько раз (с 15—25 мсек в СГ до 70—85 мсек в ГС). Опознаваемость этих согласных существенно отличается от опознаваемости взрывных в слогах СГ: конечные согласные из слога ГС, будучи отделены от предшествующего гласного, опознаются аудиторами в среднем в 90% случаев.

Фонематическое толкование этому явлению дал еще А. И. Томсон, который говорил о том, что русские твердые согласные окрашены на ъ, а мягкие на ь [22]. Действительно, наличие глухого гласного в этих случаях подтверждается как с точки зрения спектральных характеристик, так и с точки зрения восприятия этих гласных.

Этот глухой гласный[23] является вторым элементом, не соотносимым с фонемной моделью сочетания ГС. Таким образом, рассматривая это сочетание как последовательность элементов некоей произносительной единицы, нужно признать, что по сравнению с сочетанием СГ данное сочетание является более сложным и содержит не два, а четыре элемента. Если трактовать согласный как смычку, а гласный — как размыкание, то в сочетании СГ имеются только смычка и размыкание, а в сочетании ГС — смычка — размыкание — смычка — размыкание.

Все это приводит к убеждению, что модель ГС не может считаться симметричной модели СГ ни в отношении конкретных фонетических характеристик фонологически существенных признаков, ни в отношении контрастирования между элементами в слоге, ни в отношении строгой связи между реальными звуковыми единицами и фонематической моделью. Это утверждение, сделанное на основании анализа русского языкового материала, может быть распространено, видимо, только на те языки, в которых характер примыкания звуков совпадает с тем, что наблюдается для русского языка. Наличие имплозивных согласных, безусловно, должно привести к другим отношениям между сочетаниями СГ и ГС, нежели описанные здесь.

Следует подчеркнуть, что слоговая организация речи, видимо, не совпадает с устанавливаемыми правилами слогоделения, если эти правила не учитывают существующей реально неадекватности сочетаний СГ и ГС. Что касается правил русского слогоделения, то они, к сожалению, построены без учета этих особенностей и требуют дальнейшего уточнения. Установление реальных слоговых границ (в частности, выявление закрытых слогов в потоке речи) должно быть основано на конкретном анализе фонетических характеристик и способов контрастирования звуков в той или иной звуковой последовательности.

Только такой анализ может дать исчерпывающий материал не только для решения проблем слогоделения, но и для установления инвариантных признаков фонем.

---

[22] А. И. Томсон, Исчезли ли конечные звуки ь и ъ в русском языке?, «Уч. зап. Высшей школы г. Одессы». Отдел гуманитарно-общественных наук, II, 1922.

[23] В отдельных случаях он даже не является глухим, так как на спектрограммах можно наблюдать усиление в области низких частот, свидетельствующее о работе голосовых связок на протяжении этого гласного.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

В. И. ГРИГОРЬЕВ

МОДУЛЯЦИОННАЯ ПРИРОДА РЕЧИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ФОНЕМ

1. В связи с разработкой систем компрессии речи и, в частности, вокодерных систем в последние два-три десятилетия значительно повысился интерес к структуре речевого сигнала и были развернуты исследования речи с применением современных технических средств. Такое развитие является правомерным, так как разработка современных вокодеров по существу означает практическое вторжение во внутреннюю структуру речи, не говоря уже о фонемном вокодере, построение которого вообще немыслимо без глубокого понимания закономерностей формирования речевого сообщения. Исследования речи как в Советском Союзе, так и за рубежом внесли много ясности в наше понимание структуры речевого сигнала. Тем не менее в теории речи наметилось серьезное отставание от практических потребностей техники компрессии речи и особенно по общим вопросам, касающимся понимания речевого процесса в целом прежде всего как процесса информационного.

С точки зрения общей теории связи, речь в ее непосредственном виде представляет собой процесс передачи информации в системе связи, образуемой говорящим, слушающим и окружающей их воздушной средой. Как и всякая передача информации, речь связана с кодированием и модуляцией.

В качестве кода для передачи речевой информации используется язык [1]. Языковый код построен по комбинационному принципу. Это означает, что в качестве знаков языкового кода используются различные комбинации из ограниченного набора элементарных сигналов. Элементарными сигналами языкового кода служат определенные типы звуков речи, называемые фонемами. Так же как элементарные посылки телеграфного кода, фонемы сами по себе не соотносятся с объектами кодирования, следовательно, не имеют значения. Фонемы — элементарные сигналы языкового кода, используемые для получения нужного количества комбинационных различий при составлении знаков кода. Множество знаков языкового кода состоит из слов, а в множество объектов кодирования входят обозначаемые словами предметы, понятия и представления.

Как известно, для того чтобы элементарные сигналы кода могли функционировать в процессе передачи, они должны быть наделены достаточно грубыми физическими различиями, обеспечивающими их разделение приемником в условиях наличия шумов в линии связи [2]. Физические различия между фонемами языка складываются в систему так называемых дифференциальных признаков. Понятие дифференциального признака возникло и развилось в рамках лингвистической теории, однако оно приложимо не только к речевой связи и наилучшим образом может быть появ-

[1] См.: В. И. Григорьев, О коде и языке, ВЯ, 1959, 6.
[2] См.: А. А. Харкевич, Очерки общей теории связи, М., 1955, стр. 18 и сл.

нено на примере простейшего бинарного кода. В последнем случае передаваемое по линии связи сообщение составляется из двух элементарных сигналов s_1 и s_2, противопоставленных по некоторому параметру α, например по длительности элементарной посылки, как в коде Морзе, или по частоте, как в случае частотной телеграфии. Назовем этот параметр дифференциальным параметром кода. При передаче бинарного сообщения параметру кода задается либо значение α_1, которое соответствует сигналу s_1, либо значение α_2, соответствующее сигналу s_2. Очевидно, что этими дискретными значениями параметра бинарного кода задается некоторое количественное определение элементарных сигналов, так как $s_1 = x_1(\alpha_1, t)$, а $s_2 = x(\alpha_2, t)$. Однако такое количественное определение не учитывало бы системы связи в целом и, особенно, не учитывало бы отношений на входе приемника, которые определяются наличием шумов в системе связи. Шумы искажают характеристики сигнала и приводят к случайным отклонениям дифференциального параметра кода от истинного или переданного значения. В результате воздействия шумов дискретность дифференциального параметра на входе приемника снимается и создаются условия так называемого полунепрерывного канала. Это означает, что если на передающем конце параметр α с вероятностью, равной единице, принимал значение α_1 при передаче сигнала s_1 и с вероятностью единица — значение α_2 при передаче сигнала s_2, то на входе приемника параметр α будет характеризоваться непрерывным распределением плотности вероятностей своих значений относительно сигналов s_1 и s_2, как показано на рис. 1. В этих условиях разделение сигналов осуществимо лишь на основе известного из теории обнаружения статистического решения, в соответствии с которым шкала параметра кода разбивается на две области $\hat{s}_1$ и $\hat{s}_2$, одна из которых лежит выше, а другая ниже порогового значения α_0. Тогда, если α меньше α_0, то следует считать, что принят сигнал s_1. Если же α больше α_0, то следует отдать предпочтение гипотезе в пользу сигнала s_2. Эта оценка типа «меньше — больше» по существу означает переход от точного количественного определения элементарных сигналов к статистической качественной оценке различия между ними, что равноценно наделению сигналов некоторым признаком $d_{s_1,s_2} = d_{s_1,s_2}(\alpha) = \operatorname{sgn}(\alpha - \alpha_0)$, являющимся функцией параметра кода α. По природе статистического решения этот признак также является бинарным и может иметь два значения, одно из которых по знаку разности $(\alpha - \alpha_0)$ может быть названо положительным, другое — отрицательным. Распознавание элементарных сигналов сводится к определению знака признака.

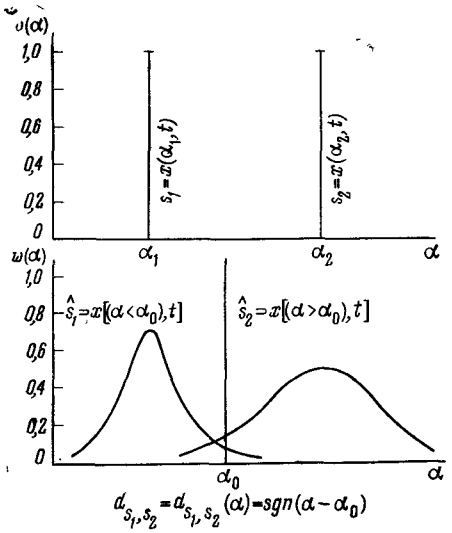


Рис. 1. Переход от количественного определения элементарных сигналов бинарного кода к качественной оценке различия между ними как следствие шумов в линии связи и применения статистического решения приемником

Дифференциальные признаки фонем в общем смысле не отличаются от признака, выработанного в результате статистического решения на параметре бинарного кода, и разделяют с ним основные характеристики. Если говорить о специфике дифференциальных признаков фонем, то она опре-

деляется не какими-то принципиальными свойствами, а главным образом сложностью языкового кода и особенностями процессов модуляции в случае речи. Сложность языкового кода прежде всего обусловливается большим числом элементарных сигналов — фонем, которых, например, в русском языке насчитывается около сорока. Поэтому физические различия между фонемами языка строятся на основе не одного, а ограниченного множества признаков, которые складываются в иерархическую систему и задают определенную систему классификации фонем языка. Применение старшего признака разбивает все множество фонем на два непересекающихся класса. Следующие признаки разбивают полученные классы на подклассы и так далее до полной идентификации индивидуальной фонемы. Фонема, таким образом, определяется совокупностью свойственных ей дифференциальных признаков и в речи соотносится с некоторым сегментом, имеющим длительность и наделенным этими признаками.

Представление о дифференциальном признаке как результате статистического решения на некотором дифференциальном параметре, используемом для передачи фонемной информации, позволило нам сформулировать задачу определения дифференциальных признаков с позиций теории статистического обнаружения как задачу выделения и оценки неизвестного параметра сигнала на фоне шумов [3]. Такая формулировка, являющаяся правомерной с точки зрения постановки задачи в общем виде, требует, однако, уточнений в случае ее конкретного приложения к анализу речи. Необходимость уточнений вытекает уже из того факта, что теория обнаружения имеет дело с распознаванием сигналов на фоне случайных шумов и не рассчитана на присутствие систематических искажений, которые могут смещать шкалу дифференциального параметра и которые, как будет показано в дальнейшем, должны иметь место в процессах модуляции, связанных с формированием элементарных сигналов языкового кода.

2. Формирование физических различий между элементарными сигналами кода, а следовательно, и формирование самих элементарных сигналов осуществляется в результате модуляции, т. е. в результате изменения параметров несущего процесса. Для передачи информации вообще необходимо располагать некоторым физическим процессом, способным распространяться по каналу связи, например, электрическим током в проводной линии связи, высокочастотными электромагнитными колебаниями в радиосвязи, звуковыми колебаниями в случае речи. Такой процесс называют несущим процессом или процессом-переносчиком информации.

Течение несущего процесса во времени, как правило, определяется системой параметров, связанных определенным аналитическим выражением. Например, в тональной телеграфии процессом-переносчиком служит синусоидальное колебание $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, параметрами которого являются амплитуда A, частота ω и начальная фаза φ. Сущность модуляции состоит в том, что параметр или параметры процесса-переносчика изменяются во времени под воздействием источника сообщений, который с помощью этих изменений накладывает на процесс-переносчик полезную информацию.

Поскольку при описании процессов модуляции обычно упускают из внимания одно обстоятельство, важное для понимания речевого процесса, рассмотрим кратко упрощенную схему модуляции, представленную на рис. 2. На этой схеме генератор несущего процесса ГНП вырабатывает процесс-переносчик $x(t) = x(\alpha, \beta, \gamma, \ldots; t)$, где α, β, γ,... — параметры

[3] В. И. Григорьев, Статистическое распознавание и дифференциальные признаки фонем, ВЯ, 1964, 3.

процесса. Источник сообщений ИС задает некоторый закон изменения $m(t)$ одного из параметров несущего процесса, называемый модулирующей функцией. Последняя посредством модулятора M воздействует, например, на параметр α и изменяет его во времени в соответствии с передаваемым сообщением, в результате чего на выходе модулятора создается сигнал $s(t)$, который поступает в линию связи. На приемном конце в демодуляторе производится обратный процесс снятия полезной информа-

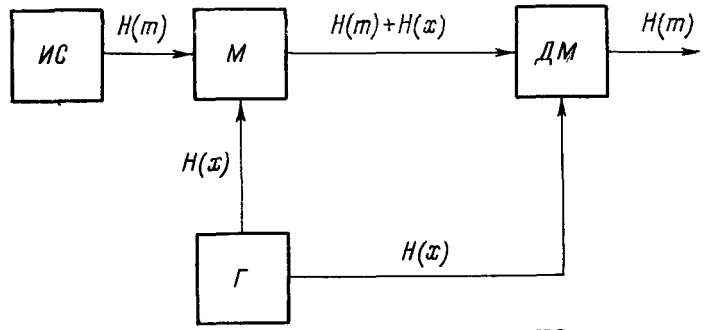


Рис. 2. Упрощенная схема модуляции. ИС — источник сообщений, Г — генератор несущего процесса, М — модулятор, ДМ — демодулятор, H(m) — полезная информация, H (x) — информация о несущем процессе

ции с несущего процесса, называемый демодуляцией. Важно, однако, иметь в виду, что хотя система связи рассчитана на передачу полезной информации $H(m)$, заключенной в самом сообщении $m(t)$, в действительности в модуляторе происходит сложение двух информаций — полезной информации $H(m)$ и информации о процессе-переносчике $H(x)$. На этом обстоятельстве обычно не останавливаются, так как в большинстве случаев информация о процессе-переносчике сообщается приемнику заранее и составляет запас априорных сведений о сигналах. Это, однако, можно сделать лишь тогда, когда характеристики несущего процесса не изменяются во время передачи. Если же процесс-переносчик сам подвержен изменениям, то некоторую информацию о нем приходится передавать по специальному каналу связи, например, в виде пилот-сигнала в системах однополосной модуляции или в виде частоты синхронизации в синхронных системах связи. Поэтому на приведенной схеме приемник соединен с генератором несущего процесса специальным каналом связи, в общем случае имеющим лишь символическое значение как некоторый способ доставки информации о процессе-переносчике. Вычитание этой информации из смеси ее с полезной информацией, очевидно, и составляет существо демодуляции с точки зрения осуществляемого в системе связи информационного процесса.

В обычных системах передачи бинарной информации модулирующая функция имеет форму прямоугольной волны (рис. 3а) и накладывается непосредственно на один из параметров процесса переносчика $x(t) = x(\alpha, \beta, \gamma, \ldots; t)$, например на параметр α. Поэтому модулируемый параметр α одновременно является дифференциальным параметром кода, а формирование элементарных сигналов кода состоит в задании модулируемому параметру дискретных значений α_1 или α_2, так что $s_1 = x(\alpha_1, \beta, \gamma, \ldots; t)$ и $s_2 = x(\alpha_2, \beta, \gamma, \ldots; t)$. Конкретный физический характер элементарных сигналов зависит от параметра, который подвергается изменениям в процессе модуляции или, как говорят, от вида модуляции и практиче-

ски не зависит от самой модулирующей функции, которая лишь задает меру изменения дифференциального параметра. Так, например, в случае тональной телеграфии элементарные сигналы могут различаться либо по амплитуде, либо по частоте, либо по фазе несущего синусоидального колебания, как показано на рис. 3. Модулирующая функция остается при этом инвариантной и может описываться, например, движением контакта телеграфного ключа во времени, либо иным процессом, инвариантным относительно видов модуляции.

При совпадении дифференциального параметра кода с модулируемым параметром переносчика задача приема элементарных сигналов, естественно, решается в процессе демодуляции, т. е. в результате выделения модулируемого параметра. При этом, однако, как бы точно не задавались значения модулируемого параметра на передающем конце линии связи (а эта точность ограничивается уже внутренними шумами самого передатчика), наличие шумов в линии связи приводит к тому, что прием элементарных сигналов осуществляется не на основе измерения модулируемого параметра, что было бы бессмысленным, а по принципу работы пороговой схемы. Иначе говоря, приемник вынужден оперировать не с самим модулируемым параметром, а, как уже говорилось выше, с некоторым дифференциальным признаком, выработанным в результате статистического решения на модулируемом параметре процесса-переносчика, по которому элементарные сигналы бинарного кода противопоставлены. Формирование элементарных сигналов языкового кода в общем и целом происходит на более сложной основе, однако основные принципы модуляции остаются действительными и для речи.

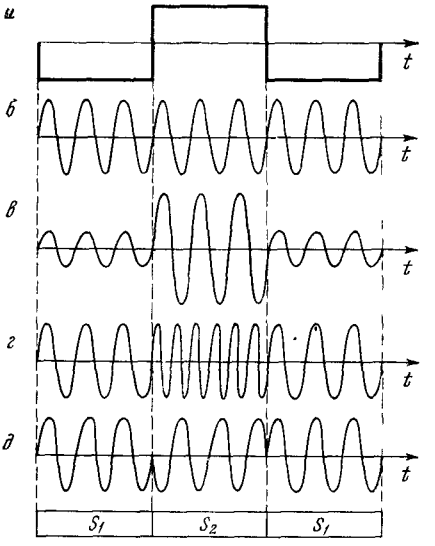


Рис. 3. Формирование элементарных сигналов телеграфного кода. а) Модулирующая функция, задающая меру изменения параметра несущего процесса; б) синусоидальное несущее колебание; в) элементарные сигналы различаются по амплитуде (амплитудная модуляция); г) элементарные сигналы различаются по частоте (частотная модуляция); д) элементарные сигналы различаются по фазе (фазовая модуляция)

3. Речь является сложномодулированным процессом [4]. Этот факт давно уже нашел признание в литературе по речевой связи. Однако, как это ни странно, природа модуляционных процессов в случае речи как процессов, связанных с передачей информации, до сих пор оставалась за пределами внимания исследователей. При постановке этого вопроса в основном рассматриваются процессы модуляции спектра голосовых связок или шумового спектра резонансными полостями речевого тракта. Такая узкая трактовка модуляционной природы речи является неудовлетворительной. Модуляция спектра голосовых связок или шумового спектра, безусловно, имеет место. Однако этот вид модуляции в процессе речеобразования играет подчиненную роль и относится скорее к внутреннему стро-

[4] А. А. Харкевич, О возможностях компрессии речи, «Электросвязь», 1958, 11; H. Dudley, The carrier nature of speech, «Bell system technical journal», XIX 4, 1940.

ению генератора несущих колебаний, чем к процессу наложения полезной информации на параметры переносчика, составляющему суть модуляции, если понимать модуляцию как некоторый информационный процесс. Для правильной постановки вопроса о модуляционной природе речи необходимо решить, что́ в речи является процессом-переносчиком и какие его параметры используются для передачи полезной информации. Решение этого вопроса не является самоочевидным, так как немодулированные речевые колебания в системе связи «говорящий — слушающий» практически никогда не передаются. Такое положение имеет место и в других системах связи, в которых несущий процесс в паузах между сообщениями не излучается и, следовательно, непосредственным образом себя не обнаруживает. В подобных случаях, однако, заключение о несущем процессе может быть сделано на основании передаваемых сигналов, поскольку в их основе лежит один и тот же физический процесс, описываемый теми же математическими выражениями, и задача собственно состоит только в снятии присущей сигналам модуляции с параметров процесса, т. е. в приведении параметров к исходным и нейтральным относительно элементарных сигналов значениям.

К сожалению, к настоящему времени теория речевой связи не располагает единым математическим описанием речевого процесса. Например, три основные для русского языка группы звуков речи — гласные, носовые согласные и шумные согласные — в работах по речевой связи описываются хотя и однотипными, но тем не менее различными выражениями. Это создает впечатление об использовании в речи по крайней мере трех несущих процессов, переключаемых при переходах с одной группы фонем на другую. Представляется, однако, важным иметь в виду различие между конкретной реализацией схемы связи и принципиальным описанием осуществляемого в ней информационного процесса. Например, в случае частотной телеграфии схема передатчика может быть выполнена на двух генераторах, настроенных на разные частоты и переключаемых при переходах с одного элементарного сигнала на другой. Однако и при таком варианте схемы принципиальное описание процесса передачи как процесса частотной модуляции не утрачивает силу, так как элементарные сигналы и в этом случае противопоставлены по частотному параметру, хотя общий для них несущий процесс практически остается не реализованным. С этой точки зрения, видимо, следует рассмотреть и имеющие место в речи переключения с гармонического заполнения спектральной функции на шумовое, а также переключения с ротового тракта на носоглоточный и обратно.

Сама однотипность математических выражений для вышеназванных групп фонем, а именно тот факт, что все они описываются полюсами и нулями преобразованных по Лапласу функций в области комплексных частот, позволяет рассчитывать и на возможность получения обобщающего выражения, описывающего речевой процесс единым образом. Мы здесь не будем, однако, предрешать вопроса об едином математическом описании речевого процесса и при рассмотрении модуляционной природы речи ограничимся, в основном, случаем образования гласных фонем, имея в виду, что такое ограничение не должно сказаться на результатах анализа, поскольку задача этого анализа состоит в выявлении лишь наиболее общих особенностей модуляционных процессов в случае речи.

4. При передаче гласных речевой процесс описывается преобразованием Лапласа, которое в известной книге Г. Фанта [5] представлено следу-

[5] Г. Фант, Акустическая теории речеобразования, М., 1964.

ющим выражением:

$$P(s) = \frac{\rho s}{4\pi l} \cdot K_T(s) \cdot \frac{U_{g0}}{\prod_{r=1}^{4}\left(1-\frac{s}{s_r}\right)} \cdot \frac{K_{rg}(s)}{\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{s}{\hat{s}_k}\right)\cdot\left(1-\frac{s}{\hat{s}_k}\right)}.$$

Соответствующая этому выражению временная функция при ее распространении на стационарный периодический процесс определяется обратным преобразованием Лапласа вида

$$P(t) = \sum_{m=0}^{\nu}\left\{\sum_{1}^{4} A_r e^{s_r(t-mT_0)} + (-1)^k \sum_{k=1}^{n} A_k e^{\sigma_k(t-mT_0)} \cdot \cos\left[\omega_k(t-mT_0)+\varphi_k\right]\right\}.$$

Анализ приведенных выражений позволяет выявить систему параметров, определяющих речевой процесс при произнесении гласных, а следовательно, и характеристики генератора несущих колебаний. Очевидно, что без учета фазовых соотношений, к таким параметрам относятся частоты формант, ширина их полос, период или частота основного тона, общий наклон спектра голосового источника с учетом характеристики излучения и поправки на влияние верхних резонансов, а также общая мощность или громкость звуковых колебаний и длительность интервала включения. В потоке речи гласные фонемы могут различаться по большинству из названных параметров, следовательно, большинство из них может подвергаться фонемной модуляции.

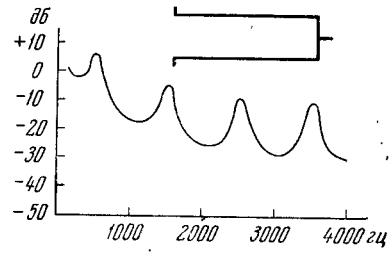


Рис. 4. Общая форма амплитудного спектра немодулированных звуковых колебаний, используемых в качестве процесса-переносчика при образовании гласных. Размещение формант соответствует речевому тракту длиною 17,5 см. Вверху акустическая модель генератора несущего процесса—однородная акустическая труба

Если произвести операцию снятия фонемных модуляций и привести параметры процесса к нейтральным относительно гласных фонем значениям, то мы неизбежно приходим к выводу, что несущим процессом при передаче гласных являются отнюдь не импульсы голосовых связок, а сложные звуковые колебания речевого тракта в целом при его нейтральной конфигурации. Акустической моделью генератора несущих колебаний может служить известная из работ Г. Фанта однородная акустическая труба, которая со стороны закрытого конца возбуждается периодической последовательностью импульсов основного тона (рис. 4). Такая труба характеризуется бесконечным числом резонансов, из которых с точки зрения процесса речеобразования существенное значение имеют только первые четыре-пять резонансов. Отображаясь на спектр импульсов основного тона, резонансы трубы создают нейтральную относительно гласных фонем формантную структуру с равноотстоящими формантами, частоты которых определяются выражением $F_k = (2k-1)\,F_1 = (2k-1)\,\frac{c}{4l}$, $k = 1, 2, 3, \ldots$, где c — скорость распространения звука, l — длина трубы и F — частота первого основного резонанса. Таким образом, процессом-переносчиком, лежащим в основе образования гласных, являются сложные звуковые колебания, звучание которых близко к звучанию нейтрального глас-

ного / *э* /. Амплитудный спектр этих несущих колебаний определяется длиной трубы, которая задает частоту первой форманты и расстояние между формантами, величиной затухания за счет трения и поглощения звуковых колебаний стенками трубы, которая определяет ширину полосы формант, частотой импульсов основного тона, определяющей плотность гармонического заполнения спектральной функции, формой и шириной этих импульсов, которые задают общий наклон амплитудного спектра, и, наконец, общей мощностью звуковых колебаний, определяющей громкость звучания.

5. При образовании гласных фонемной модуляции могут подвергаться почти все параметры процесса-переносчика. Для большинства языков, однако, особо важное значение при образовании гласных имеют формантные частоты. По своему характеру фонемные модуляции в ряде случаев не отличаются от известных видов модуляции, применяемых для передачи элементарных сигналов бинарного кода. Например, в системе гласных немецкого языка действует дифференциальный признак долготы — краткости. Формирование этого признака осуществляется в процессе модуляции одного из параметров несущего процесса — длительности интервала включения, который, таким образом, одновременно является и дифференциальным параметром языкового кода. Достаточно хорошим аналогом этого типа фонемной модуляции может служить использование параметра длительности при формировании элементарных сигналов кода Морзе. Подобным же образом в тональных языках при формировании гласных непосредственно используются модуляции другого параметра процесса-переносчика — частоты основного тона. Однако такое простое соотношение между параметрами процесса-переносчика и дифференциальным параметром фонемного кода в общем-то для языка является нетипичным. В большинстве случаев в речи приходится встречаться с более сложной зависимостью между дифференциальным параметром кода и модулируемыми параметрами процесса-переносчика, которая обуславливается сложностью артикуляционно-акустического преобразования и может быть пояснена на примере формирования дифференциального признака преобладания [6].

Как известно, важную роль при передаче фонемной информации играют различного рода деформации речевого тракта, из которых основными для системы гласных являются деформации типа местных сужений. Например, в русском языке, при произношении гласной / у / образуется артикуляционное сужение между спинкой языка и небом в задней части речевого тракта, при переходе к / ы / артикуляционное сужение перемещается в среднюю часть речевого тракта, а при произнесении / и / артикуляционное сужение образуется в передней части речевого тракта, как показано на рис. 5. Это перемещение артикуляционного сужения из заднего в переднее положение может быть смоделировано на так называемой трехпараметровой акустической модели, в которой щель между языком и небом моделируется с помощью суженной цилиндрической секции, вводимой в однородную акустическую трубу и перемещаемой по ее продольной оси.

Трехпараметровая модель является механико-акустическим преобразователем, поскольку механическое смещение суженной секции вызывает отклонение формантных частот от их исходных нейтральных положений, следовательно, дает определенный акустический выход. Особенностью этого механико-акустического преобразования является тот факт, что

[6] В. И. Григорьев, Дифференциальные признаки русских гласных /у, ы, и/, ВЯ, 1962, 1.

оно не связано с какой-либо отдельной формантой, а воздействует на всю их совокупность. Это и понятно, поскольку в исходной модели генератора несущих колебаний — в однородной акустической трубе — положение каждой форманты определяется не какой-то частью трубы, а длиной трубы в целом, и следовательно, изолированное воздействие на отдельную форманту исключается с самого начала. Такое положение действительно и для реального речевого тракта. Как показал Г. Фант, положение форманты не может быть полностью отнесено за счет какой-то части речевого тракта, а в той или иной мере определяется всеми его частями и является следствием данной его конфигурации. Перемещение сужения по продольной оси речевого тракта дает цикл преобразования формантной структуры, характерная особенность которого состоит в том, что при этом попеременно в верхней, средней и нижней части формантной структуры образуются группировки формант, которые создают преобладание по усилению в этих областях спектра, поскольку при сближении форманты усиливают друг друга, а при их совмещении коэффициенты отображаемых формантами резонансных характеристик речевого тракта перемножаются. Поэтому и весь описываемый моделью цикл преобразований формантной структуры может быть определен как цикл перемещения преобладания. Акустический параметр положения преобладания в пределах формантной структуры является дифференциальным параметром фонемного кода, действующим в системе русских гласных, и лежит в основе дифференциального признака преобладания, которое является нижним для гласных /у, о, а /, средним для / ы, е / и верхним для /и/. Примеры идеализированных спектров, иллюстрирующих указанные три значения признака преобладания, соответственно, для гласных /у/, /ы/ и /и/ приведены на рис. 5.

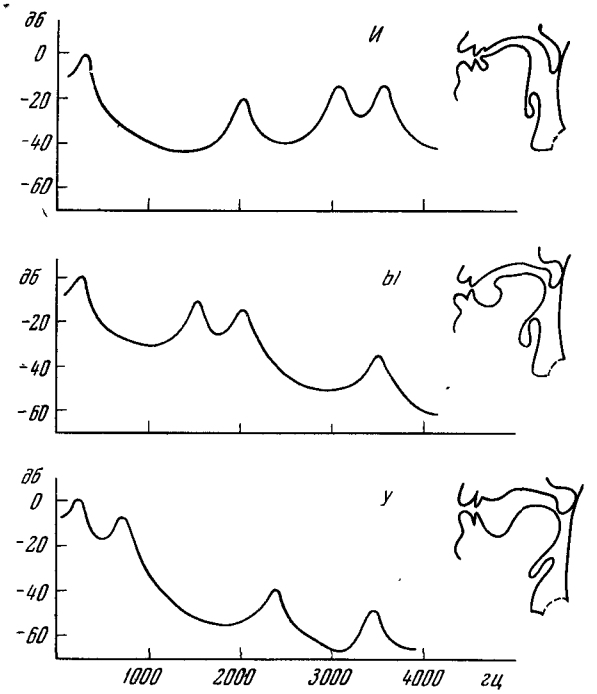


Рис. 5. Артикуляционные уклады и идеализированные спектральные огибающие, иллюстрирующие три значения признака преобладания в ряду русских гласных /у, ы, и/

Как следует из сопоставления акустических спектров речи с артикуляционными укладами, так же как из рассмотрения акустической модели речевого тракта, дифференциальный признак преобладания является аналогом артикуляционного признака ряда, определяемого положением артикуляционного сужения на продольной оси речевого тракта. Пример образования этого признака хорошо иллюстрирует особенности процессов модуляции в случае речи. Вернемся снова к механизму образования дифференциального признака преобладания. По команде из речевого центра мозга артикуляционным сужением в задней, средней или в передней части речевого тракта задается значение дифференциального при-

знака преобладания, которое подлежит передаче. Образующееся артикуляционное сужение воздействует на параметры процесса-переносчика, главным образом на формантные частоты, которые отклоняются от своих нейтральных положений. Эта модуляция совокупности формантных частот приводит к образованию группировки двух формант и, соответственно, преобладание усиления в нижней, средней или в верхней области формантной структуры в зависимости от значения передаваемого признака. Таким образом, если в обычных системах передачи бинарного кода, например, в частотной телеграфии, передача информации об элементарных сигналах осуществляется путем модуляции только одного параметра процесса-переносчика, и следовательно, модулируемый параметр одновременно является и дифференциальным параметром кода, то в речи для передачи элементарных сигналов может применяться одновременная модуляция не одного, а некоторой совокупности параметров процесса-переносчика, в рассматриваемом случае — совокупности формантных частот. Поэтому и дифференциальный параметр языкового кода в общем случае не совпадает с одним из модулируемых параметров переносчика (хотя и такой случай возможен), а является функцией некоторой их совокупности. Из этого факта вытекает следующее следствие — функциональное преобразование речевого сигнала, обеспечивающее выделение модулируемых параметров процесса-переносчика, в общем случае является недостаточным для выделения дифференциальных параметров языкового кода.

6. Фонемная модуляция параметров несущего процесса сочетается в речи с модуляциями, связанными с перестройкой самого генератора несущих колебаний. Речь, по преимуществу, является системой связи с переменным несущим процессом. Эта особенность речевой связи, имеющая важное значение для понимания модуляционной природы речи, также как для объяснения закономерностей формирования элементарных сигналов языкового кода, обуславливается, во-первых, тем, что строение речевого тракта у разных людей различно и во многом определяется полом, возрастом и также индивидуальными особенностями говорящего. Известно, например, что длина речевого тракта для женщин в среднем на 15% короче речевого тракта мужчины. Большие различия наблюдаются также в строении носоглоточного тракта, голосовых связок, в конфигурации полостей рта, окологортанных полостей и т. п. Во-вторых, речевой тракт подвержен изменениям общего характера и в потоке речи одного говорящего (диктора). Например, форсирование речи, как правило, связано с укорочением речевого тракта. В потоке речи одного диктора изменяется также эластичность стенок речевого тракта, сила натяжения голосовых связок и так далее. Эти изменения общего характера непосредственно отражаются на параметрах процесса-переносчика речевой информации, которые изменяются при переходе от диктора к диктору и в речи одного диктора. При наличии переменного несущего процесса приемник, кроме априорной информации, должен располагать также текущей информацией о несущем процессе для того, чтобы эффективно декодировать сообщение. Естественно, что какого-либо специального канала для передачи информации о процессе-переносчике или, что то же самое, о голосе диктора в речи не существует. При переходе от диктора к диктору и в речи одного диктора существенным образом изменяются ширина формантной структуры, общий наклон спектра, ширина и форма формантных максимумов, частота основного тона и громкость звуковых колебаний. Совокупность этих параметров образует своеобразный канал для передачи информации о процессе-переносчике или о голосе диктора. Передача фонемной информации в процессе речи осуществляется на фоне этих модуляций процесса-переносчика, скорость которых, как правило, ниже скорости переда-

чи фонем. Взаимодействие потоков фонемной информации и информации о голосе диктора, естественно, усложняет процесс формирования элементарных сигналов языкового кода. При переменном несущем процессе шкала дифференциального параметра кода не может быть задана абсолютно, а поэтому и дифференциальный признак становится понятием относительным. Рассмотрим, например, особенности формирования дифференциального признака преобладания в условиях переменного несущего процесса. При переходе от мужского голоса к женскому в связи с укорочением речевого тракта все формантные частоты пропорционально повышаются в среднем на 18%. Линейно независимые модуляции формантных частот, связанные с передачей признака преобладания, теперь уже осуществляются на смещенной вверх формантной структуре, иначе говоря, на смещенной шкале дифференциального параметра преобладания. Поэтому для одного и того же значения дифференциального признака группировка из двух формант, дающая преобладание по усилению, для женского голоса будет, как правило, располагаться выше по частоте, чем для мужского голоса. Более того, не исключена возможность и того, что, например, верхнее преобладание для мужского голоса, измеренное по абсолютной шкале частот, совпадает со средним преобладанием для женского голоса. Эти соотношения легко наблюдать на рис. 6, на котором даны видеограммы сочетания / иаи /, снятые широким фильтром, и на рис. 7, где изображены видеограммы сочетания / ышы /, снятые узким фильтром, в обоих случаях для мужского и женского голоса. Показательными в этом смысле являются также эксперименты по восприятию гласных в гелиевой среде[7]. В этих экспериментах при пропорциональном повышении формантных частот в 1,2—1,5 раза вследствие повышенной скорости распространения звука в гелии сохранялась стопроцентная разборчивость изолированных английских гласных, так как относительная шкала дифференциальных признаков однозначно задается преобразованной таким образом формантной структурой.

На факты относительного характера дифференциальных признаков уже неоднократно обращалось внимание в лингвистической литературе [8]. Известно, например, что при изменении темпа речи шкала дифференциального параметра длительности, по которому противопоставлены краткие и долгие гласные в немецком языке, смещается, при этом не исключена возможность и того, что при увеличении темпа речи длительность долгого /a:/ по своей абсолютной величине совпадает с длительностью краткого /a/ при более медленном произношении, хотя относительное различие по длительности между этими гласными в любом случае сохраняется. Точно так же в тональных языках высокий тон гласных, произнесенных мужским голосом, по абсолютной величине может совпадать или даже располагаться ниже низкого тона при произнесении гласных женским голосом. Эти факты, конечно, не ликвидируют физического характера различия между фонемами языка, а свидетельствуют лишь об относительной шкале дифференциального параметра фонемного кода, на котором дифференциальный признак определяется. Аналогичные соотношения действительны и для любой другой системы связи с переменным несущим процессом. Известно, например, что квалификация радиотелеграфиста определяется количеством принимаемых групп в коде Морзе, в котором длительность тире номинально в три раза превышает длительность точки. Вместе с тем, специалист высокой квалификации способен принять в три и более раза

[7] R. Beil, Frequency analysis of vowels produced in a helium-rich atmosphere, JASA, 3, 1962.

[8] B. Malmberg, Structural linguistics and human communication, Berlin — Göttingen — Heidelberg, 1963.

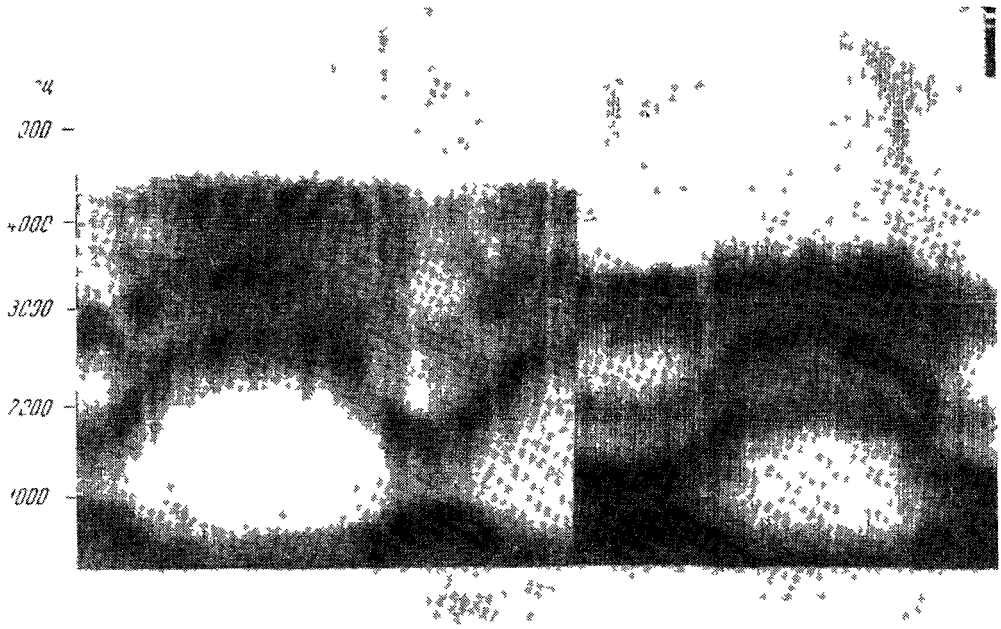


Рис 6 Видеограммы звукосочетания /аи/, снятые широким фильтром, для женского (слева) и для мужского (справа) голоса Сопоставление видеограмм иллюстрирует различие в ширине формантных структур мужского и женского голоса, задающей относительную шкалу дифференциального признака преобладания

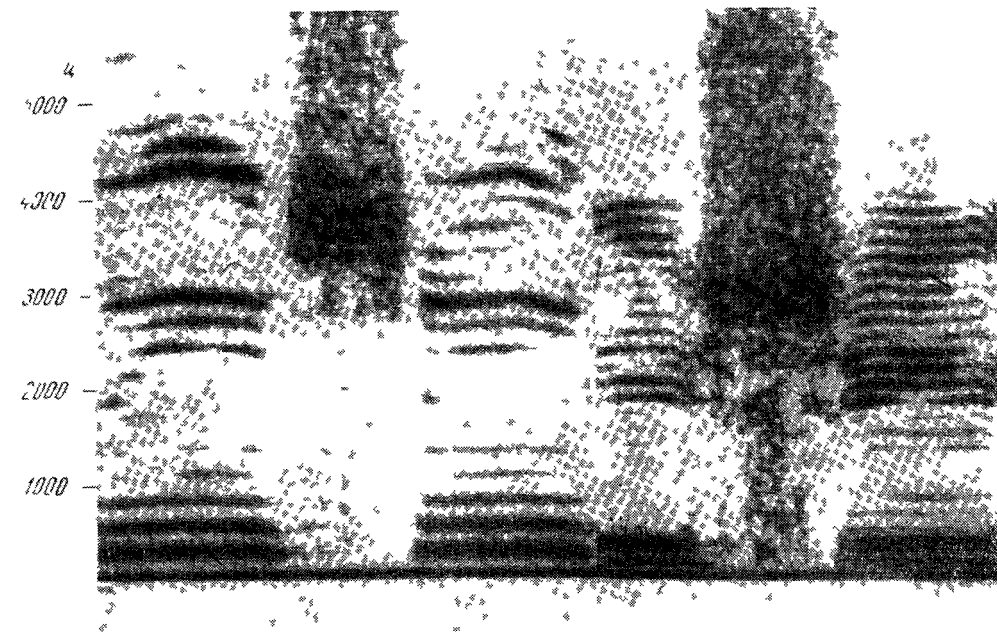


Рис 7 Видеограммы звукосочетания /ыпы/, снятые узким фильтром, для женского (слева) и мужского (справа) голоса, иллюстрирующие относительный характер дифференциальных признаков как гласных, так и согласных фонем

больше групп, чем специалист низкой квалификации. Ясно, однако, что при увеличении скорости передачи телеграфных посылок в три раза длительность тире совпадает с длительностью точки при малой скорости передачи. Это, однако, не мешает разделению элементарных сигналов кода Морзе не только радиотелеграфистами, но и телеграфными аппаратами, имеющими соответствующую автоматическую подстройку, так как к приемнику непрерывно поступает информация об одном из параметров процесса-переносчика, а именно, о тактовой частоте, которая однозначно задает относительную шкалу дифференциального параметра длительности.

Аналогичным образом, при передаче гласных в процессе речи ширина формантной структуры, изменяющаяся от диктора к диктору, задает относительную шкалу дифференциального параметра преобладания точно так же, как темп речи задает относительную шкалу дифференциального параметра длительности гласных, а средняя частота основного тона — относительную шкалу дифференциального параметра тона.

7. Рассмотренные на примере гласных фонем особенности модуляционных процессов действительны и для согласных фонем и определяют вообще закономерности формирования элементарных сигналов языкового кода. Отмеченная выше сложность соотношения между дифференциальным параметром фонемного кода и параметрами процесса-переносчика в системе согласных является обычным явлением. Например, при переходе от гласного к носовому согласному удлиняется речевой тракт, и, соответственно, пропорционально понижаются формантные частоты. Имеющая сложную конфигурацию носовая полость вносит дополнительное затухание, которое непосредственно сказывается на ширине полосы формант. Наконец, речевой сигнал осложняется системой антиформант, определяемых антирезонансами шунтирующих полостей речевого тракта. Иными словами, происходит одновременная модуляция многих параметров процесса-переносчика, и дифференциальный параметр может быть только функцией некоторой совокупности этих модуляций. Вместе с тем, фонемная модуляция формантных, антиформантных частот и других параметров процесса-переносчика и при образовании согласных осуществляется на фоне более общих модуляций, связанных с передачей информации о голосе диктора. Эта особенность наглядно иллюстрируется видеограммами рис. 7. Как следует из видеограмм, при переходе от мужского голоса к женскому не только пропорционально повышаются все формантные частоты, но также смещается вверх и характерное для согласного /ш/ положение шумового импульса, хотя его относительное положение между третьей и четвертой формантами сохраняется.

Исходя из изложенного, мы можем построить общую схему модуляционных процессов в случае речи, представленную на рис. 8. В соответствии с этой схемой генератор стандартного несущего процесса ГСП вырабатывает несущие звуковые колебания, в некотором смысле нейтральные относительно различных дикторов. Источник информации о дикторе ИИД посредством модулятора M_0 воздействует на параметры стандартного переносчика и перестраивает их в соответствии с голосом диктора. Дальнейшие процессы модуляции осуществляются уже на фоне перестроенного таким образом процесса-переносчика. Фонемная информация вырабатывается источником фонемной информации ИФИ, перерабатывается кодирующим устройством КУ в значения дифференциальных признаков и направляется по раздельным каналам, число которых равно числу дифференциальных параметров языкового кода, на артикуляционно-акустические преобразователи ААП. В этих преобразователях информация о дифференциальном параметре перерабатывается в несколько различных управляющих сигналов, каждый из которых посредством модулятора

$M_к$ воздействует на один из группы параметров процесса-переносчика, подчиненных данному дифференциальному параметру. В дальнейшем в результате совокупного воздействия всех других каналов кодирующего устройства создается конечный выход системы — элементарный сигнал языкового кода.

Как это следует из схемы, система речевой связи в своей основе является многоканальной системой, как в смысле разделения информации по дифференциальным параметрам языкового кода, так и в смысле передачи

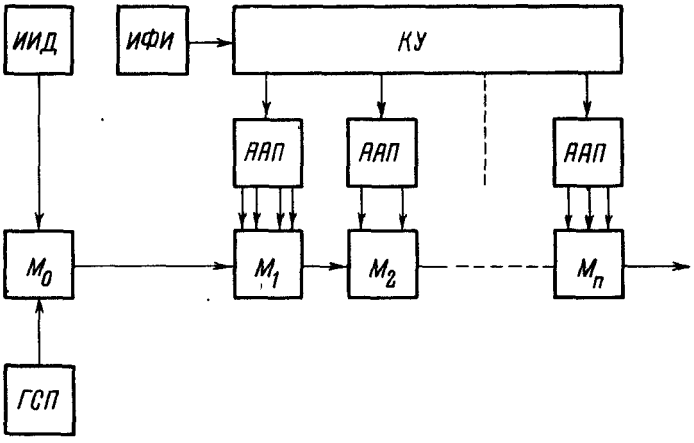


Рис. 8. Общая схема модуляционных процессов в случае речи. ГСП — генератор стандартного несущего процесса, ИИД — источник информации о голосе диктора, ИФИ — источник фонемной информации, КУ — кодирующее устройство, ААП —артикуляционно-акустические преобразователи, М — модуляторы

двух основных потоков информации, а именно, фонемной информации и информации о голосе диктора. При этом разделение каналов в речи может осуществляться не только по параметрам процесса-переносчика, но и по характеру воздействия на один и тот же параметр или на одну и ту же группу параметров несущих звуковых колебаний. Например, при изменении длины речевого тракта происходит смещение формантных частот, т. е. тех же параметров несущего процесса, которые подвергаются модуляции и в целях передачи фонемной информации. Однако если в первом случае имеет место пропорциональное смещение всех формантных частот, то в случае фонемных модуляций отклонение формантных частот от их нейтральных положений имеет линейно-независимый характер, что и позволяет отделить их от модуляций, связанных с изменением длины речевого тракта.

Переход от фонемного кода к речевому сигналу сопровождается в системе речевой связи многократным внесением избыточности. Большим источником избыточности относительно фонемной информации является информация о голосе диктора. Само прохождение фонемной информации связано с внесением избыточности как при переходе к дифференциальным параметрам, так и при переходе от дифференциальных параметров к модулируемым параметрам процесса переносчика. Большая доля избыточности при этом определяется наличием сильных корреляционных связей в речевом сигнале в силу особенностей генерирующей речевые колебания акустической системы — речевого тракта говорящего. Поэтому дифференциальные признаки фонем, как правило, сопровождаются сопут-

ствующими избыточными признаками, значение которых неоднократно обсуждалось в лингвистической литературе. Наконец, конечный акустический выход системы, элементарный сигнал языкового кода, информационный объем которого в соответствии с теоремой Котельникова — Шеннона определяется произведением верхней граничной частоты на длительность звучания ($2FT$ отсчетами временной функции), является избыточным как относительно модулируемых параметров, число которых $n \ll 2FT$, так и относительно пропускной способности слухового анализатора человека, имеющего ограниченную разрешающую способность по частоте и по уровню.

Известные в настоящее время вокодеры [9] могут быть определены по типу перерабатываемой избыточности речевого сигнала. Полосный вокодер устраняет, главным образом, избыточность речевого сигнала относительно пропускной способности приемника — слухового анализатора человека. В гармоническом вокодере [10] дополнительная компрессия достигается за счет неполного отделения фонемной информации от информации о голосе диктора, так как параметры гармонического вокодера отличаются неодинаковой чувствительностью к фонемным и нефонемным модуляциям. Формантный вокодер является преимущественно системой выделения модулируемых параметров несущего процесса и устраняет избыточность речевого сигнала относительно этих параметров.

8. Фонемный вокодер по своему назначению является системой выделения дифференциальных параметров фонемного кода. В силу многоканальности речевой передачи выделение дифференциальных параметров должно производиться на основе комплекса функциональных преобразований речевого сигнала. Особо важное значение при этом имеет разделение потоков фонемной информации и информации о голосе диктора, после которого лишь станет возможным применение методов статистического обнаружения к распознаванию фонем. В известных системах автоматического распознавания задача разделения фонемных и нефонемных модуляций частично решается путем нормирования речи по уровню и иногда по частоте основного тона. Однако эти частные попытки исключения нефонемных модуляций далеко не охватывают всего комплекса возможных перестроек несущего процесса при переходе от диктора к диктору и в речи одного диктора. Интересно отметить, что относительная устойчивость артикуляционных признаков фонем по сравнению с их акустическими признаками объясняется прежде всего тем, что в их определении в неявном виде содержится требование к нормированию речевого тракта. Поэтому и представляется целесообразным задачу нормирования речи понимать более широко как задачу разделения потоков фонемной информации и информации о голосе диктора. Определенную пользу при решении этой задачи могут принести параметры гармонического вокодера, целесообразность привлечения которых к задачам автоматического распознавания напрашивается сама собой, если учитывать неодинаковую чувствительность этих параметров к фонемным и нефонемным модуляциям. Наконец, из всего сказанного с очевидностью следует, что для выделения дифференциальных параметров фонем важное значение имеют детальные исследования характера возможных перестроек речевого тракта при переходе от диктора к диктору и в речи одного диктора, на фоне которых фонемные модуляции осуществляются.

---

[9] М. А. Сапожков, Речевой сигнал в кибернетике и связи, М., 1963.
[10] А. А. Пирогов, Синтетическая телефония, М., 1963.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

А. Ф. ЛОСЕВ

ЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ СТРУКТУРАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ

Кризис младограмматических методов сравнительного языкознания, как принято думать, начался уже очень давно и требует создания нового языкознания, свободного от узкой ограниченности и механицизма прежних методов. Все говорят о необходимости цельного подхода к языкам, о сравнении их не в каких-нибудь случайных, но прежде всего существенных и конститутивных моментах. Отсюда и возникали в языкознании такие термины, как «структура», «модель», «система», «изоморфизм», «типология», «структурная типология» и пр. Вполне естественным является желание отдать себе точный отчет в значении этих терминов; а так как термины эти большей частью связаны с математикой, то вполне законным является также и желание узнать, чем же именно помогает здесь математика и почему оказалась необходимой здесь именно математическая терминология.

Характеризуя эти новые потребности науки, Вяч. В. Иванов пишет: «Разрозненное изучение отдельных частей уступает место исследованию целого, что находит выражение в структурном анализе языковой системы, в широких типологических сопоставлениях систем разных языков и, наконец, в понимании самой науки о языке как единого целого, как целостной структуры, связанной с рядом смежных наук» [1]. Все это совершенно правильно. Но только здесь возникает два сомнения. Во-первых, можно ли допустить, что прежняя сравнительная грамматика индоевропейских языков, устанавливая, скажем, наличие носового звука в вин. падеже ед. числа в разных языках, не преследовала задач цельного охвата данного явления, а оставалась только при разрозненных фактах? И, во-вторых, Вяч. В. Иванов, к сожалению, здесь не разъяснил, что он понимает под терминами «структура», «система» и «типология». В таком общем и некритическом смысле, в каком Вяч. В. Иванов употребляет здесь эти термины, их всегда употреблял всякий лингвист, в том числе и младограмматики. Насколько можно судить по дальнейшему изложению, Вяч. В. Иванов выдвигает, в сравнении с индоевропейской грамматикой, на первый план момент исторический. С его точки зрения, отсутствием этой точной хронологии как раз и отличается традиционная сравнительная грамматика индоевропейских языков. По-видимому, и самый термин «типология» тоже связывается у Вяч. В. Иванова с установлением более точных хронологических отношений, чем это делала младограмматическая школа. Но понятие структуры от этой слишком общей установки отнюдь не делается ясным.

К этому следует добавить, что подробное изучение литературы по структурной типологии заставляет приходить к печальному выводу всякого,

[1] Вяч. В. Иванов, Типология и сравнительно-историческое языкознание, ВЯ, 1958, 5, стр. 34.

кто хотел бы отдать себе полный отчет в логической природе употребляемых здесь методов. Многие исследователи, работающие в области структуральной лингвистики, не стремятся к логической последовательности своих методов и часто употребляют их весьма смешанно. В этом нет ничего удивительного, поскольку структуральная типология языков является наукой весьма молодой и наличные в ней логические противоречия скорее являются в ней признаком ее роста, чем ее бессилия.

У нас имеются неплохие обзоры работ по структуральной типологии, поскольку работ этих уже достаточно накопилось в настоящее время [2]. Однако обзоры эти касаются по преимуществу содержания самой типологии, не входя в область логической характеристики методов этой последней. Тем не менее структуральная лингвистика всегда и уже с самого начала претендовала на логическую ясность своих методов, противопоставляя себя в этом отношении традиционной лингвистике. Поэтому к структуральной типологии следует подойти прежде всего с точки здения логики употребляемых ею методов, что, впрочем, требует значительных усилий. Предлагаемое в настоящей статье рассуждение может претендовать только на предварительный анализ.

Сначала мы укажем некоторых авторов, у которых (по крайней мере в отдельных работах) весьма неясно расчленяются эмпирический и индуктивный метод, основанный на накоплении большого количества фактов, с одной стороны, и с другой стороны — метод априорный и дедуктивный, который накладывает как бы сверху теоретически-формулированные категории на хаотическую массу наблюдаемых языковых фактов, стараясь тем самым превратить беспорядочное множество явлений в закономерное целое. Самая эта противоположность эмпиризма и априоризма, а также индукции и дедукции, уже давно приобрела в современной науке, безусловно, новое значение, которое исключает теперь их прежний антагонизм и когда-то остро переживавшуюся их несовместимость. Но это обстоятельство как раз и требует создания новой теории науки. Приведем несколько примеров недостаточно четкого использования обоих методов, когда первое место начинает занимать то эмпиризм, то априоризм, то весьма слабо мотивированное их смешение. Необходимо также обратить внимание на то, какие теперь вырабатываются формы структуральной типологии, основанные на последовательном и логически-продуманном совмещении индукции и дедукции и на попытках ликвидировать их вековой антагонизм.

Примером методологической путаницы может явиться известный доклад Р. Якобсона в 1957 г. на VIII Международном лингвистическом конгрессе в Осло, посвященный вопросу о соотношении типологии и сравнительного языкознания [3]. Не анализируя этот доклад, мы укажем только на его противоположную оценку у двух советских лингвистов. Вяч. В. Иванов с большой похвалой отзывается об этом докладе Р. Якобсона. Но, как правильно излагает Р. Якобсона Б. А. Серебренников, типология языков у него построена только на понятии изоморфизма и не занимается ни-

[2] Необходимо отметить статью В. Звегинцева «Современные направления в типологическом изучении языков» («Новое в лингвистике», III, М., 1963), а также работу В. Скаличка «О современном состоянии типологии» (там же). Для понимания самого предмета современной структуральной типологии имеют большое значение также терминологические определения в работе Дж. Гринберга «Квантитативный подход к морфологической типологии языков» (там же). Все эти и подобные характеристики структуральной типологии, отличаясь деловым характером, не ставят своей целью дать анализ самой логики структурального метода и в этом пункте требуют существенного дополнения.

[3] «Reports for the VIII International congress of linguists», Suppl., Oslo, 1957. Имеется русский перевод: «Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание» («Новое в лингвистике», III, М., 1963).

какими вопросами времени и места появления соответствующих языковых фактов. «Изоморфизм», как передает Б. А. Серебренников слова Р. Якобсона, «может объединять различные состояния языка или две фазы двух различных языков, независимо от того, существуют ли они одновременно или разделены временем, являются ли сравниваемые языки смежными по территории, родственными или не родственными» [4]. По Р. Якобсону, типология далеее должна быть установлением иерархии элементов, из которых состоит данная языковая система. Но как ясно из этого доклада, иерархия понимается здесь весьма статично; и как правильно отмечает Б. А. Серебренников, в докладе Р. Якобсона совершенно не показано, как устанавливаются подобного рода языковые иерархии и какова конкретная методология, применяемая Р. Якобсоном [5].

Излагая ту работу Р. Якобсона (1942), в которой он конструирует свою языковую иерархию, Б. А. Серебренников констатирует, что эта иерархия построена у данного ученого не на основании исторического изучения языков, а на психологии и физиологии ребенка или на анормальных явлениях человеческой речи и уже потом такая абстрактная схема априорно постулирована как необходимая для исторического языкознания. Тут Р. Якобсон конкретно обнаружил всю антиисторическую природу своей концепции изоморфизма, на которой строится у него языковая типология. «Все это объясняется тем, что метод доказательства у Р. Якобсона антиисторичен по своей сущности» [6]. И эта критика Р. Якобсона у Б. А. Серебренникова мне представляется вполне убедительной. Да и сам Вяч. В. Иванов, не согласный с Б. А. Серебренниковым в оценке доклада Р. Якобсона, все же пишет о докладе этого последнего: «Речь идет об установлении законов *статического* (разрядка моя.— *А. Л.*) соотношения между элементами языковой системы» [7]. Таким образом, связать типологию языков с их историей не удается ни Р. Якобсону, ни Вяч. В. Иванову, не говоря уже о полной невыясненности у них понятия структуры, модели, системы и типа.

В сравнении с этим гораздо проще и естественнее поступает Б. А. Серебренников, который вслед за А. Мейе [8] наблюдает те одинаковые переходы, которые фактически имеют место в языках и которые он называет «типовыми линиями развития». Тут у него приводится достаточное количество яснейших и простейших примеров [9], которые нам нет нужды здесь воспроизводить. Но эта ясность достигается у него только тем, что он понимает термин «тип» в самом обыкновенном общепонятном смысле. А то суждение, в котором он пытается на основании положений А. Мейе дать точное определение типа, *логически* весьма уязвимо: «...типологические исследования имеют своей основной целью выявление в различных языках общих типов изменений в области фонетики и морфологии, синтаксиса и развития значений» [10]. Это — *логическая ошибка idem per idem*: типологическое исследование есть исследование типов. Поэтому лучше уж оставаться в пределах общепонятного значения термина «тип»; а если давать его философско-логический анализ, то целесообразнее делать это в специальном исследовании.

---

[4] Б. А. Серебренников, К критике некоторых методов типологических исследований, ВЯ, 1958, 5, стр. 24.
[5] См. там же, стр. 25.
[6] Там же, стр. 27.
[7] Вяч. В. Иванов, указ. соч., стр. 35.
[8] А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, М., 1954, стр. 74 и сл.
[9] Б. А. Серебренников, указ. соч., стр. 29—33.
[10] Там же, стр. 29.

М. М. Гухман справедливо указывает на исконное противопоставление и даже антагонизм сравнительно-исторического и синхронно-типологического методов, в котором не малую роль сыграл уже сам Н. С. Трубецкой и который являлся основным принципом языкознания для А. Мейе [11]. Однако этот разрыв, конечно, самими лингвистами переживался как нечто противоестественное; и за последние 30 лет появилось немало исследований, в которых были сделаны попытки одинаково применять оба метода. М. М. Гухман справедливо вскрывает их недостаточность [12].

Однако сама М. М. Гухман ставит такие условия для объединения обоих методов, которые едва ли возможно выполнить. Реконструкция, например, эргативного предложения для древнейшей эпохи индоевропейского праязыка, согласно М. М. Гухман, была бы возможна только при соблюдении трех условий, а именно, что 1) «данное построение типично, узуально для большинства языков», что 2) «оно типологически является более древней моделью» и что 3) «подобные тенденции развития подтверждаются материалом нескольких семей языков и являются общими закономерностями развития языковой структуры» [13]. По поводу этих рассуждений М. М. Гухман правильно пишет Б. А. Серебренников: «Данное явление может быть типичным вследствие наибольшего числа случайно сложившихся конвергенций, в то же время по своей природе оно не типично, поскольку его проявление не регулируется постоянно действующим законом. Типологически он может быть более древним по отношению к последующему состоянию, в то же время здесь нет никакой исторической последовательности, поскольку конвергенции цикличны по своей сущности, не говоря уже о том, что они не могут иметь характера абсолютной общности» [14].

Наконец М. М. Гухман выражает столько сомнений относительно синтеза указанных двух антагонистических методов [15], что в настоящее время, как надо полагать, она может признать установление языковых типов только в виде более или менее достоверной (а в большинстве случаев и весьма мало достоверной) суммы определенных языковых признаков. Если Р. Якобсон в целях установления типов языков накладывал на исторические языки априорные схемы, выработанные им независимо от истории, то М. М. Гухман, наоборот, рассчитывает построить типологию языков как только эмпирическое и более или менее вероятное п е р е ч и с л е н и е их п р и з н а к о в. Однако совершенно ясно, что если рассуждения Р. Якобсона и М. М. Гухман брать в целом, то ни первый не согласится на чистую дедукцию, ни вторая не согласится на чистую индукцию. Эту смешанную методологию в значительной мере можно наблюдать и у других исследователей, стоящих на самых разнообразных лингвистических позициях. Очевидно, точное установление понятия типа требует особого и специального исследования.

Если обратиться к самому понятию типа, то далеко не всякое и специальное исследование способно вскрыть понятие структуральной типологии, если мы будем придерживаться общеизвестных правил логики. Б. А. Успенский пишет: «Структурную типологию можно определить как систематизацию, инвентаризацию явлений разных языков по структурным

---

[11] А. М е й е, Сравнительный метод в историческом языкознании, М., 1954; сюда я прибавил бы еще особенно работу: W. S. A l l e n, Relationship in comparative linguistics, «Transactions of the Philological society», Oxford, 1953.

[12] М. М. Г у х м а н, Индоевропейское сравнительно-историческое языкознание и типологические исследования, ВЯ, 1957, 5.

[13] Там же, стр. 53.

[14] Б. А. С е р е б р е н н и к о в, указ. соч., стр. 32.

[15] М. М. Г у х м а н, указ. соч., стр. 52—57.

признакам (т. е. признакам, существенным с точки зрения структуры данного языка)» [16].

Логическая ошибка idem per idem выступает здесь дважды: структурная типология есть учение о структурных признаках и структурный признак есть признак, существенный для структуры языка В дальнейшем, у того же автора читаем: «Структурная типология, по определению, должна исходить из системного сравнения: анализ текста (la parole) должен сочетаться с моделированием системы языка (la langue), то есть некоторой внутренней системы, лежащей в основе каждого речевого акта» [17]. Здесь сразу три логических ошибки. Первые две ошибки есть ignotum per ignotum: структурная типология основана на системном сравнении, и — системное сравнение есть моделирование системы (тут, впрочем, кроме ignotum per ignotum, также и idem per idem). Третья ошибка — чистейшая idem per idem: система языка есть внутренняя и основная система языка.

Самый термин «тип» у Б. А. Успенского тоже не отличается ясностью. Он сам ставит вопрос (но это не его заслуга, так как вопрос этот не раз ставился еще до него в зарубежной лингвистике) о том, является ли результатом типологического исследования фиксация типов языка или фиксация только его признаков. Казалось бы, что исходная тавтология Б. А. Успенского (типология есть учение о типах) вполне исключает какое бы то ни было учение о признаках, поскольку фиксация отдельных признаков является для него всегда чем-то разрозненным и лишенным всякой целостности. Однако в дальнейшем вопрос этот решается совсем иначе. Оказывается, чтобы получить тип, сначала нужно изучить признаки. А так как все признаки сразу нельзя изучить, то типология по необходимости оказывается всегда только частичной. И, действительно, классификации языков, например, у Шлегеля — Гумбольдта, Штейнталя, Мистели, Финка, основаны на установлении типов. Но всем известно, что конкретные языки никак не укладываются в такого рода типологические классификации. «Если характеризовать языки по одному какому-нибудь признаку (т. е. в одном измерении), в результате характеризуются не языки, но одномерные конструкции». Здесь Б. А. Успенский согласен с Э. Сепиром, предлагавшим классифицировать языки не по одномерным типам, а сразу по нескольким координатам признаков, и с Дж. Гринбергом, по которому «типологические классификации обычно определяют не языки, а конструкции, характерные для языка» [18]. А в конце концов вопрос решается только статистически. Конечно, едва ли кто-нибудь будет возражать против статистики. Однако никакая статистика не может сказать нам, какая сумма признаков достаточна для того, чтобы она стала типом. И поэтому Б. А. Успенский, начавший с априорной и вполне умозрительной категории типа, сводит ее в конце концов на статистически установленную сумму признаков.

Кроме того, Б. А. Успенский является горячим сторонником установления «метаязыка». Под этим последним он понимает «язык-эталон», от которого «отталкиваются при описании различных языков». «Присутствие метаязыка неизбежно при сравнительном анализе, он всегда использовался, но нечетко, расплывчато. Четкое его выделение способствует успеху анализа» [19]. Возникает вопрос: какой же может быть окончательно и точно установленный метаязык, если лингвисты могут фиксировать самое боль-

[16] Б. А. Успенский, Принципы структурной типологии, М., 1962, стр. 6.
[17] Там же, стр. 11.
[18] Там же, стр. 14. Имеется в виду интересная работа: J. H. Greenberg, A quantative approach to the morphological typology of language, IJAL, XXVI, 3, 1960 (русский перевод: «Квантитативный подход к морфологической типологии языков», сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 83—95).
[19] Б. А. Успенский, Принципы структурной типологии, стр. 18.

шее только суммы признаков языка? Очевидно, строгое требование метаязыка противоречит относительным и неустойчивым суммам признаков, о которых даже и неизвестно, как из них получается тип. И опять-таки особенно большого расхождения с младограмматической практикой исследования усмотреть здесь невозможно.

Если принять, что нам точно известно значение терминов «структура», «модель» и «система» и что нам понятен термин «структурная типология», остается все же непонятным, почему можно пытаться реконструировать тот или иной праязык без употребления этих терминов и вообще делать те или иные прогнозы на путях исторического изучения языков. Если в данном языке обнаружены лабиализованные передние гласные, то без всякого использования указанных терминов уже можно предполагать наличие в этом языке и лабиализованных задних; а если даже и пользоваться указанной теоретической терминологией, то она отнюдь не гарантирует для нас необходимости лабиализованных задних, а только их возможность. Анализ языка аранта и абазинского обнаруживает существование в них только одной гласной фонемы. Без всяких специальных теорий структуры, модели, системы или типа само собой ясно, что возможны и другие языки, тоже восходящие к такому состоянию, которое обладает только одной гласной фонемой. На этом основании были попытки в этом смысле трактовать и индоевропейский праязык. Б. А. Успенский пишет: «Зная общие законы языка, мы можем заключить, что возможно и что невозможно в языке, и на основании этого делать отбор фактов, сопоставляя их с другими» [20]. Однако младограмматики ничем другим и не занимались, и занимались они без всех этих сложных логических и математических проблем современного структурализма. Но мы говорим это не против структурализма, а в его защиту, поскольку существующие формы структурализма часто весьма далеки от реальной работы лингвиста и требуют замены их более совершенными формами.

Итак, установление структуры и модели и связанное с ним предсказание языковых явлений и есть, по Б. А. Успенскому, первая задача структурной типологии. В дальнейшем вводится у него еще новый термин, впервые пущенный в ход, если мы не ошибаемся, Е. Куриловичем. Термин этот тоже математический — «изоморфизм». Однако точного определения его тоже не дается. Насколько же можно судить по приводимым у Б. А. Успенского примерам, это оказывается самым обыкновенным традиционным младограмматическим установлением сходных и различных явлений в языках. Младограмматики, опять-таки нужно сказать, ничем другим и не занимались. Если, например, устанавливается, что нет языков без смычных согласных или что из противопоставления смычных аффрикатам вытекает наличность фрикативных, то подобного рода наблюдения вполне возможны и в плоскости младограмматических теорий и не требуют терминов «структура», «модель», «система» и «тип». А если эти термины (и, конечно, обозначаемые ими понятия) вносят нечто новое в традиционный метод языковых сопоставлений (а они, безусловно, вносят нечто новое), то это новое требует специального анализа. На основании установления изоморфных языковых фактов Б. А. Успенский делает далее вывод, что структурная типология языков должна привести и к соответствующей их классификации [21]. Возникает вопрос, а разве самая обычная классификация чего бы то ни было не есть установление классов, обнимающих собою предметы по какому-нибудь одному признаку? Казалось бы, классификация и есть установление разных классов, а каждый класс есть обобщение предметов по

[20] Там же, стр. 9.
[21] Там же, стр. 7.

какому-нибудь одному признаку и каждый класс обобщает предметы по своему собственному признаку. Вместо этого простейшего представления о классификации, не только указываемого в элементарных учебниках формальной логики, но и вообще проводимого в жизни, мы находим здесь следующее заумное определение: «...цель типологической классификации — создание наиболее экономного способа кодирования информации о структуре языков мира» [22].

Однако чем ближе подходит Б. А. Успенский к анализу языков в их конкретном содержании, тем все менее и менее пользуется он своей терминологией. Устанавливая, например, необходимые для лингвистики термины и допущения, он говорит об элементе, эквивалентности, функции и слове. Все это сводится к перечислению того, что и вообще обычно говорят на эту тему. Элемент — это попросту морфема как минимальная значимая единица, эквивалентность — это одинаковость морфем, относящихся к какому-нибудь одному классу (так, все слова в род. падеже ед. числа эквивалентны между собою, поскольку их объединяет единая флексия или несколько аналогичных между собой флексий); функция — это, попросту говоря, значение морфемы, а слово — последовательность корневого элемента и относящихся к нему обязательных служебных элементов в предложении [23].

В дальнейшем, после критики существующей морфологической классификации языков Б. А. Успенский предлагает свою собственную классификацию, основанную на способе употребления языковых служебных элементов. Эта классификация дается чисто логическим путем и, по-видимому, едва ли может вызывать какие-нибудь возражения. Термин «структура» фигурирует здесь на каждом шагу, однако, насколько можно судить, структурная типология языков является здесь не чем иным, как комбинаторикой служебных элементов. С этой точки зрения, конечно, не существует чисто аморфных языков, т. е. таких, которые были бы совершенно лишены всяких служебных элементов. Б. А. Успенский правильно говорит, что чисто аморфный язык означал бы вообще отсутствие всякой коммуникации. Но стоит только прибавить к такому теоретически-предполагаемому аморфному языку хотя бы какой-нибудь служебный элемент, как уже получается тот или иной из известных нам естественных языков. Наличие служебных элементов, охватывающих сразу несколько корней или слов или отдельные корни, но не отдельные слова, характерно для инкорпорирующих языков. Языки, для которых характерно использование служебных элементов для отдельных слов, могут быть синтетическими, где служебные элементы имеют сразу несколько значений, и аналитическими, где каждый отдельный служебный элемент имеет только одно и единственное значение. Синтетические языки могут быть либо инкорпорирующими, где отсутствуют служебные элементы отдельных слов, либо флективными, где таковые элементы являются определяющими. Что же касается аналитических языков, то в них либо господствуют служебные элементы отдельных слов, почему их можно назвать также и агглютинативными, либо господствуют служебные элементы эквивалентных сочетаний слов (так что сюда относятся до некоторой степени и агглютинативные и инкорпорирующие) [24]. Этой классификации языков нельзя отказать в ясности. Однако методологически структурная типология сводится здесь, повторяем, к априорно-логической комбинаторике исходных элементов.

Сама по себе комбинаторика есть тоже один из научных методов; и пренебрегать им невозможно ни в прочих науках, ни в науке о языке. Но

[22] Б. А. Успенский, Принцип структурной типологии, стр. 7.
[23] Там же, стр. 21—24.
[24] Там же, стр. 27—35.

комбинаторика в соединении с априоризмом, какие бы оговорки здесь ни делать, уже заранее обрекает себя на абстрактную метафизику категорий, т. е. на механическое суммирование вполне дискретных элементов. Это особенно ощущается, если сравнить рассуждения Б. А. Успенского с той работой по классификации языков на основании морфологических показателей, которая была проделана на двух специальных конференциях и зафиксирована в двух больших сборниках: «Морфологическая структура слова в языках различных типов» (М.—Л., 1963) и «Морфологическая типология и проблема классификации языков» (М.—Л., 1965). Подробное изучение даже этих двух сборников обнаруживает разного рода весьма тонкие переходы от агглютинации к флективности, настолько тонкие и многочисленные, что некоторые авторы этих сборников даже отрицают возможность дать определенные понятия типа. Те же, кто пользуются этим понятием, вынуждены либо вводить в него момент вариативности, как например, Б. А. Серебренников [25], либо подчеркивать в нем понятия соотносительности элементов, как например, В. Н. Ярцева [26], либо вносить сюда еще другие, осложняющие моменты, как например, С. Д. Кацнельсон [27]. Но даже и без этих сборников каждому представителю современной теоретической лингвистики должен быть уже заранее ясен тот сплошной и непрерывный поток становления морфологических элементов, который яснейшим образом усматривается даже неязыковедом, если он владеет несколькими языками. Но Б. А. Успенскому это неизвестно; и он думает, что его априорная типология языков действительно соответствует чему-то реальному. Если даже и стоять на позициях априоризма, то уже одна эта позиция должна была бы удержать исследователя от такой слишком ясной комбинаторики ради учета неимоверной текучести одних и тех же элементов в разных языках. В настоящее время имеются весьма ценные исследования, которые как раз соединяют комбинаторику со статистикой, отражающей именно реальные соотношения в разных языках [28]. Наличие такого рода исследований делает априорную комбинаторику просто ненужной.

Здесь становится вполне ясным также и то, что именно Б. А. Успенский конкретно понимает под метаязыком. Последний оказывается здесь не чем иным, как более общей комбинацией элементов, т. е. такой комбинацией, которая определяется меньшим числом признаков, чем тот или иной естественный язык, переход к которому от метаязыка отличается только введением большего числа трансформационных принципов. Ясно, что самым общим метаязыком в данном случае является аморфный язык; далее следуют, в порядке возрастающей сложности, комбинации служебных элементов, инкорпорирующие языки, а за ними агглютинативные, флективно-агглютинативные и просто флективные. При этом допускается довольно большая диффузия всех этих трансформаций метаязыка и подчеркивается только преобладание того или иного трансформационного принципа на той или иной ступени конкретизации метаязыка.

Заметим только, что развиваемая здесь Б. А. Успенским теория метаязыка вполне противоречит тому, что он выше говорил о метаязыке в связи с изучением языковых признаков. Как мы указывали выше, статистика совершенно лишена всякой возможности обнаружить для нас тот момент, когда сумма признаков становится типом, и потому типология языков неизбежно сводилась там к эмпирическому и индуктивному изучению большего или меньшего числа конкретных языковых признаков. Здесь же тип языка устанавливается Б. А. Успенским вне всякого эмпириче-

[25] «Морфологическая типология и проблема классификации языков», стр. 25.
[26] Там же, стр. 109—116.
[27] Там же, стр. 107—109.
[28] Сб. «Статистико-комбинаторное моделирование языков», М.— Л., 1965.

ского исследования естественных языков, вне всякой индукции и вне всякого вопроса о превращении суммы признаков в тип. Этот языковой тип выводится здесь не эмпирически, но априорно, не индуктивно, но умозрительно и не физиономически, но комбинаторно. Тип языка в данном случае есть только дедуктивная и априорная категория, о реальном осуществлении которой и о соответствии ей какой-нибудь суммы признаков совершенно не ставится никакого вопроса.

Наконец, очень важно отдать себе отчет в том, как пользуется Б. А. Успенский математикой и что именно конкретно означает у него структурная типология в математическом смысле слова. Внимательное изучение работ Б. А. Успенского приводит нас к неожиданному выводу, который кратко мы могли бы формулировать так: перед нами здесь не математическая, но с т е н о г р а ф и ч е с к а я лингвистика. Вместо того, чтобы употреблять термины обычным способом, Б. А. Успенский всегда старается их, кроме того, еще и обозначить какими-нибудь буквами на манер того, как поступают математики. С виду получается полная картина математического исследования. Но ведь математики не только дают обозначения своим категориям, но эти обозначения складываются у них в какие-нибудь специально значимые формулы или определенным методом решаемые уравнения. Однако у Б. А. Успенского дело дальше простых обозначений не идет; и тогда спрашивается: зачем же нужны эти обозначения, если обозначенные термины уже объяснены и понятны до всякого их обозначения. Так, на стр. 23 мы находим «формулу»: $AN \leftarrow\!\!\rightarrow N$. Оказывается, это вот что: «Существительное может быть определено сколь угодно большим количеством прилагательных и, наоборот, сочетание существительного с прилагательными может быть свернуто до существительного». Другими словами, хотя вид этой «формулы» как будто бы и вполне математический, на самом деле смысл ее совсем не математический; и так как в дальнейшем никаких математических выводов из этой формулы не делается, то ясно, что смысл ее вовсе не математический, а только стенографический. Таковы же и прочие весьма многочисленные «формулы», которыми оснащена работа Б. А. Успенского [29]. Можно ли после этого считать структурную типологию, как ее понимает Б. А. Успенский, хотя бы в каком-нибудь отношении, математической?

Заканчивая разбор работ Б. А. Успенского, необходимо заметить следующее. При всей неясности, запутанности и слабой мотивированности исходной логически-математической терминологии в указанной книге Б. А. Успенского содержится целый ряд правильных, здравых и весьма полезных утверждений и даже концепций. При сопоставлении типологического и традиционного сравнительно-исторического языкознания он вполне отдает себе отчет в том, что это последнее всегда пользовалось методами типологии, когда, например, на основании сопоставления закономерностей в разных языках делались выводы относительно праязыка. Б. А. Успенский прямо пишет: «В этом смысле праязык представляет собой свод информации о типологии данной группы языков» [30]. Правда, тут же возникает вопрос, в чем же тогда новость современной типологии. По поводу этого Б. А. Успенский замечает, что прежние реконструкции не преследовали хронологических целей. Однако это далеко не так. В. К. Поржезинский, которого я слушал в студенческие годы, очень часто делал указания относительно разновременности для праязыка тех или других реконструкций, производившихся в те времена. Он писал: «Индоевропейский

[29] См.: Б. А. У с п е н с к и й, указ. соч., стр. 24, 28—29, 31—32, 35, 40, 41, 46—47, 50—56.

[30] Там же, стр. 10.

праязык не есть фикция, не есть, с другой стороны, только рабочая гипотеза, он — реальная величина, но величина, не уложенная еще вполне в надлежащие хронологические и диалектические рамки» [31]. И все же Б. А. Успенский своим сопоставлением типологического и сравнительно-исторического языкознания [32] значительно смягчил, если не прямо уничтожил, антагонизм этих двух методов и совершенно правильно представил типологию (и уж, конечно, без всяких специальных логически-математических проблем и методов) как естественное завершение или по крайней мере продолжение классической компаративистики. Так же правильно, на наш взгляд, хотя и не с такой ясностью, говорит Б. А. Успенский и о сравнении типологии с дескриптивной лингвистикой [33]. Что касается методов языковой типологии, то Б. А. Успенский тоже здраво рассуждает о примате изучения «текста» над «системой», и о недостаточности голой индукции, которую он вместе с В. Матезиусом склонен заменять специфической для каждого языка «характерологией», и о необходимости предварительной типологии языков на отдельных уровнях, и о месте и значении квантитативных методов, о регрессивном характере некоторых методов дескриптивной лингвистики [34].

Мы не возражаем в общем и против классификации языков, предлагаемой Б. А. Успенским. Необходимо отметить, однако, что структурная типология здесь конкретно выступает только как априорно-логическая и совершенно внеисторическая комбинаторика корневых и служебных элементов.

Само происхождение этой комбинаторики вызвано отнюдь не случайными, но очень важными причинами. Именно, она движется на путях борьбы с неясностями традиционной лингвистики, которые Б. А. Успенский прекрасно понимает. Обсуждая неправомерный перенос индуктивных исследований одного языка на другой, он пишет: «При таком распространении термины, относительно ясные в отношении отдельных языков, теряют свою определенность. Тем самым обесцениваются сами типологические построения. Основным недостатком большинства морфологических классификаций является нечеткость терминологии» [35]. «Основной недостаток традиционной морфологической классификации — нечеткость терминологии и отсутствие разграничения критериев классификации (стремление классифицировать одновременно по нескольким критериям и совмещать в одном термине несколько значений). Результатом является возможность разного определения одних и тех же языков» [36].

В поисках точного разъяснения того, что́ нужно понимать под структурной типологией, мы до сих пор отмечали только три тенденции: 1) тип языка есть с у м м а его п р и з н а к о в на определенном уровне или на многих уровнях с точным перечислением этих признаков, квалифицируемых как дифференциальные, или без точного их перечисления; 2) в противоположность этому эмпирическому, индуктивному или просто описательному способу тип языка устанавливается как а п р и о р н а я к а т е г о р и я или, точнее, как а п р и о р н а я с х е м а, создаваемая вполне умозрительно и дедуктивно или по крайней мере в таком виде накладываемая сверху на эмпирические материалы естественных языков; 3) тип языка есть то, что получается в результате вполне а п р и о р н о й

[31] См.: В. П о р ж е з и н с к и й, Сравнительная грамматика славянских языков, 1, М., 1914, стр. 5.
[32] Б. А. У с п е н с к и й, указ. соч., стр. 8—10.
[33] Там же, стр. 10.
[34] Там же, стр. 11—17.
[35] Там же, стр. 15—16.
[36] Там же, стр. 26.

комбинаторики категорий, возникающих из неразложимых далее языковых элементов с оговорками и ссылками на возможность ее деформации в реальном исследовании естественных языков или без такого рода оговорок и ссылок. Подобного рода понимание типологии языков естественно вызывает в нас определенно отрицательную реакцию и чувство некоторого разочарования; а такая реакция и такое чувство способны даже поколебать всякую уверенность в пользе и необходимости такой типологии. То, что тип есть нечто общее, известно и без всякой теории. То, что это общее можно получить в одних случаях дедуктивно из чего-нибудь более общего, а в других случаях индуктивно из чего-нибудь менее общего, равно как и возможность комбинирования разных признаков для получения разных общностей, слишком уж элементарно для того, чтобы стать какой-нибудь специально лингвистической теорией.

Впрочем не нужно чересчур строго относиться ко всем этим исканиям в области молодой науки — структуральной типологии, как бы они ни были в логическом смысле мало совершенны. Эти поиски, повторяем, свидетельствуют о росте науки и нисколько не об ее упадке. Кроме того, совмещение индукции и дедукции в одном логически безупречном методе является делом весьма трудным; и наличие здесь колебания то в одну, то в другую сторону, равно как и совмещение примитивных некритических подходов с весьма замысловатой и часто даже весьма глубокой методологией не только вполне естественно, но даже и вполне неизбежно, вполне прогрессивно.

Следует указать на то, что у наших структуралистов зародилась новая идея понимания лингвистической общности. Стали искать в науке такие «конструкты», которые бы ярко выражали собою цельность, состоящую из элементов, но ни в каком смысле не сводимую на эти элементы и являющуюся принципом организации этих элементов. Это — 4) конструктивная теория или теория конструктов в смысле С. К. Шаумяна. Таким понятием является в математике понятие множества, характеризуемого, вопреки своему условному и неправильному обозначению, не как множество, но именно как единство элементов. А элементы эти мыслятся здесь в той или другой мере упорядоченными, что и обеспечивает для множества быть именно единообразной цельностью. Если чего не хватает в теории С. К. Шаумяна [37], то это именно момента упорядоченности. В связи с этим вполне закономерно появление 5) теоретико-множественного понимания структуры и модели, а следовательно, и типа.

С первого взгляда такая теория, казалось бы, вполне удовлетворяет своему назначению. Вслед все за тем же Ф. де Соссюром, а отчасти, может быть, за Р. Якобсоном, еще Н. С. Трубецкой определял фонему как член смыслоразличительной оппозиции [38]. Остается не совсем ясным, какое место занимает здесь оппозиция [39]. Но ясно то, что фонема есть такой звук, который четко отличается от всякого другого звука и находится в

---

[37] См.: С. К. Шаумян, Структурная лингвистика, М., 1965; его же, Преобразование информации в процессе познания и двуступенчатая теория структурной лингвистики, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962.

[38] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 38.

[39] Критику фонемы как пучка дифференциальных признаков и правильное употребление термина «противопоставление» можно найти в работе П. С. Кузнецова «О дифференциальных признаках фонем» (ВЯ, 1958, 1). О. С. Ахманова, рецензирующая соответствующую книгу Р. Якобсона и М. Халле «Fundamentals of language», 's-Gravenhage, 1956 (ВЯ, 1957, 3), к сожалению, не дает критического анализа учения о фонеме как о связке дифференциальных признаков. Но и П. С. Кузнецов не учел у Р. Якобсона и М. Халле некоторых важных сторон их работы и, между прочим, их критику и других многочисленных теорий фонемы (вторая глава первой части книги).

системном отношении со всеми другими звуками. Системность характерна и для фонемы, взятой сама по себе. Тут мы находим зародыши даже того, что у нас называется диалектикой, т. е. учение об единстве противоположностей, и для чего у С. К. Шаумяна тоже имеются вполне определенные, хотя пока им еще и не разработанные установки [40].

Между прочим фонологи недаром хватаются за принцип дихотомии, который особенно нуждается в анализе в связи с работами Р. Якобсона и М. Халле. Само проведение этого принципа чрезвычайно условно, запутанно и местами даже неверно в указанных выше американских работах [41]. Тем не менее самый принцип дихотомии все же является попыткой, правда, совершенно беспомощной, мыслить фонологию диалектически. Точнее говоря, этот принцип дихотомии есть беспомощное выражение закона отрицания отрицания: *А* не есть не *А*. Этим, вероятно, и объясняется то, какие внутренние причины заставляют фонологов хвататься за дихотомию. Им все же хочется найти какой-нибудь глубинный фундаментально-логический метод для своей науки. И, не доходя до диалектики, они в своей дихотомии все же как-то бессознательно грезят о ней. Однако оставим дихотомию в стороне и сделаем из нее только тот вывод, что диалектический принцип единства противоположностей все еще ждет своего применения в лингвистике, и в частности, в структурной типологии.

Вся эта диалектика и связанная с ней антиномика прекрасно представлена в математической теории множеств. Здесь остро осознано, например, единство целого и частей целого, как единство противоположностей, равно как и противоположность элемента целого и части целого или как необходимость представления части бесконечного множества в качестве эквивалентной всему бесконечному множеству и т. д. Правда, и в философии самой математики эта диалектическая система категорий еще весьма далека от логической завершенности. Еще дальше от этого оказались лингвисты, ставшие на почву теоретико-множественной методологии. Но наши структуралисты поняли этот теоретико-множественный анализ языка чрезвычайно абстрактно и до сих пор в этой области не дали ощутительных исследовательских результатов.

Например, О. С. Кулагина, пользуется математическими понятиями окрестности и семейства, которые можно и нужно давать в лингвистике без всяких математических обозначений, приходит к понятию типа, что мы попросту назвали бы частью речи, и к нескольким синтаксическим соотношениям, близким к тому, что мы называем управлением, согласованием и примыканием [42]. Мы не будем давать логический анализ того, что О. С. Кулагина называет теоретико-множественным определением грамматических категорий. Однако следует заметить, что этот анализ привел нас к той расшифровке используемой здесь теории множеств, которую можно назвать просто к о м б и н а т о р и к о й э л е м е н т о в; а используе-

---

[40] Ср. учение о «принципе дополнительности» (см.: С. К. Ш а у м я н, Проблемы теоретической фонологии, М., 1962, стр. 182—186) или «антиномия транспозиции» (сб «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962, стр. 7).

[41] Убедительную картину бинаризма уже давно давал А. Мартине и в 50-х годах дал ее в книге, переведенной на русский язык («Принцип экономии в фонетических изменениях», М. 1960, стр. 101—103). Блестящий анализ теории бинарных оппозиций с добавлением еще новых оппозиций, не предусмотренных у Р. Якобсона и М. Халле, дает С. К. Шаумян в «Проблемах теоретической фонологии» (стр. 116—159). Кроме указанной выше работы П. С. Кузнецова, критику этой же теории дал А. А. Реформатский в статье «Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонематическая модель языка» (сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961, стр. 106—123).

[42] О. С. К у л а г и н а, Об одном способе определения грамматических понятий на базе теории множеств, «Проблемы кибернетики», 1, М., 1958.

мые здесь категории традиционной лингвистики привлекаются только в порядке логической ошибки petitio principii: сначала закрываются глаза на традиционную грамматику, потом дается некое, якобы математическое построение; в конце же концов эти построения чудесным образом совпадают или, вернее, должны были бы совпадать с традиционной грамматикой.

Абстрактность и слабую эффективность всего этого теоретико-множественного построения Н. Д. Андреев иллюстрирует не только указанием на то, что, по мнению самой же О. С. Кулагиной, ее рассуждения не относятся к русскому языку, но и своим собственным указанием на то, что под теоретико-множественную теорию О. С. Кулагиной не попадают также и языки английский, французский, немецкий, хиндустани, санскрит, латинский, греческий, индонезийский и бирманский [43]. Можно ли после этого с уверенностью сказать, что подобная теоретико-множественная теория может послужить базисом для исследуемой нами структурной типологии языков?

Теоретико-множественное построение фонологии планирует И. И. Ревзин. У него фигурируют такие понятия, как «множество», «разбиение», «класс», «мощность», даже «алгоритм» и т. д. Однако И. И. Ревзин, давая теоретико-множественную, как он думает, картину шумных в русской фонологии, попросту разбивает шумные согласные на разные группы по тем или иным признакам. Так, выделяется группа *п — т — к*, затем *б — д — г*, затем эти же согласные, но в мягком звучании, и т. д. [44]. Возникает вопрос: причем тут теория множеств? Это просто есть группировка согласных по тем или другим признакам места образования, звонкости и глухости, взрывности и фрикативности, твердости и мягкости с разной комбинацией признаков. Например, кроме группы *п — т — к* выделяются группы *п — б*, *т — д* или *к — г* и пр. Ясно, что здесь перед нами не теория множеств, а просто комбинаторика фонетических признаков. Нужно ли было для этого пускать в ход терминологию теории множеств?

Вслед за О. С. Кулагиной В. А. Успенский [45] тоже пытается определить часть речи при помощи теоретико-множественных категорий окрестности и семейства. Такая дедукция с самого начала должна была бы говорить о своей слабости и о своем несоответствии бесконечному разнообразию естественных языков в этом отношении. Поэтому В. А. Успенскому тоже приходится вводить понятие правильности языка, которое свидетельствует только о том, что определяемая таким образом часть речи, является теоретической фикцией, которой неизвестно как пользоваться при построении грамматики естественных языков. Это учение о правильности является для лингвистов, использующих теорию множеств, только их testimonium paupertatis. Да и сам В. А. Успенский в этой статье не раз говорит только о «приближенном» характере его построения.

Нельзя считать удачной также имевшую у нас место попытку дать теоретико-множественное толкование падежа [46]. Сначала падежи определяются здесь как непересекающиеся классы эквивалентных между собой состояний предмета. Поскольку здесь же утверждается, что «предмет» выражается существительным, а его «состояние» — предложением, то, казалось

---

[43] Н. Д. Андреев, Методы статистико-комбинаторного анализа языка в действии и перспективе, сб. «Статистико-комбинаторное моделирование языков», М.— Л., 1965, стр. 13.

[44] И. И. Ревзин, Модели языка, М., 1962, стр. 29.

[45] В. А. Успенский, К определению части речи в теоретико-множественной системе языка, «Бюллетень объединения по проблемам машинного перевода», 5, М., 1957.

[46] Б. А. Успенский, К определению падежа по А. Н. Колмогорову, «Бюллетень объединения по проблемам машинного перевода», 5, М., 1957.

бы, указанные здесь классы эквивалентных между собой состояний относятся либо к предложению, либо к сказуемому, либо вообще к члену предложения. Причем тут падеж? По поводу такого определения падежа и сам Б. А. Успенский пишет: «К сожалению, это определение не является вполне корректным». Ему приходится в дальнейшем вскрывать неясности в данном случае самого понятия эквивалентности и давать еще другое определение падежа. Он пишет: «Полностью сознавая неокончательность сформулированного только что определения падежа, автор все же считает целесообразным привести его здесь хотя бы в качестве материала для дальнейшей дискуссии». Нам, действительно, приходится согласиться как с тем, что в данной статье нет ясного и точного теоретико-множественного определения падежа, так и с тем, что соответствующие поиски должны производиться и дальше. Нам только казалось бы, что судя по изложению самого же Б. А. Успенского, даваемое им определение падежа по А. Н. Колмогорову едва ли буквально принадлежит этому последнему, а скорее отражает собой разные этапы дискуссии в известных кругах по этому сложнейшему вопросу.

Неудачи и слабая эффективность теоретико-множественного понимания типа неизбежно стали приводить к поискам еще нового понимания типа, которое обеспечило бы собою более обоснованную типологию языков. На этих путях возникла новая теория структуры, принадлежащая С. К. Шаумяну и основанная на осознании мертвой неподвижности традиционных структурных теорий.

В одной из своих последних работ С. К. Шаумян предлагает делить структуры на статические и динамические. Статическая структура, с его точки зрения, есть только результат пассивного описания синхронных явлений. Подобного рода структуры имеют место и в традиционной лингвистике, так что для них, собственно говоря, даже и нет необходимости создавать новую теорию языка. Другое дело — динамические структуры, которые даже в пределах синхронии лежат в основе того, что С. К. Шаумян (вслед за Н. Хомским) называет п о р о ж д а ю щ е й г р а м м а т и к о й. Здесь у нас, конечно, нет возможности излагать эту теорию подробно. Однако необходимо отметить, что понятие типа приобретает здесь чрезвычайно важную тенденцию, а именно ту самую динамику, которой так не хватало всем предыдущим теориям, не хватало также и конструктам С. К. Шаумяна. Кроме того, теорию Н. Хомского С. К. Шаумян глубоко преобразует при помощи своей двухступенчатой теории, что дает ему возможность избегать как всех трудностей индуктивного подхода к типологии, так и априорных методов чистой дедукции. В других работах мы еще собираемся подвергнуть новую теорию С. К. Шаумяна подробному анализу. Сейчас же пока ограничимся отсылкой читателя к самой работе С. К. Шаумяна [47]. Три замечания, однако, будут здесь необходимы.

Во избежание всяких неясностей у читателя, во-первых, обратим внимание на то, что типология языков, как и у других теоретиков, мыслится у С. К. Шаумяна в виде применения языка-эталона для нахождения общности между конкретными языками. Но этот язык-эталон, по-видимому, сам может возникнуть только в результате эмпирического изучения языков, потому что «типология языков — это дисциплина, имеющая своей задачей систематизацию структурных типов конкретных языков мира» [48].

[47] С. К. Ш а у м я н, Структурная лингвистика, стр. 14—17 (понятие динамической структуры), стр. 92—101 (понятие порождающей грамматики), стр. 26—31 (отношение к типологии языков), стр. 356—361 (аппликативная модель как возможный эталон для структурной типологии языков); о теории трансформации в связи с учением о порождающих грамматиках см.: Н. Х о м с к и й, Синтаксические структуры, «Новое в лингвистике», II, М., 1962.

[48] С. К. Ш а у м я н, Структурная лингвистика, стр. 30.

Тип как порождающая модель может возникнуть, судя по этому, не столько в результате самого исследования языков, сколько в результате определенного рода систематизации конкретных языковых структур, т. е. в результате определенного метода изложения. Сама лаборатория исследования всегда очень сложна, представляя собою почти неанализируемую смесь индукции, дедукции, случайных просветов, догадок, и всякого рода неожиданных приемов, на которые наталкивает хаотическая масса изучаемого материала. Другое дело — это изложение уже найденной истины. Его можно дать и дедуктивно или индуктивно и описательно или объяснительно и в виде самых разнообразных схем, диаграмм и таблиц. Между прочим, все найденные нами в языках конкретные элементы и их связи могут быть в нашем изложении расположены так, что вначале окажется самый общий язык-эталон, а затем последуют и все отдельные «порождаемые» им грамматики. Таким образом, порождение нужно понимать здесь необязательно исторически (восходя к каким-нибудь реальным праязыкам, пранародам и прародинам) и необязательно только логически (производя классификацию конкретно-найденных нами языковых структур), но обязательно только модельно, так, чтобы видно было как язык-эталон и соответствующие операции над ним приводят нас к уже известным нам грамматикам естественных языков. Интерпретация термина «порождение» в каком-либо грубо натуралистическом смысле, как нам кажется, может до основания разрушить чистоту и ясность всей теории порождающих моделей. Ни Н. Хомский, ни С. К. Шаумян ни в каком натурализме неповинны, и мы здесь только предостерегаем непосвященных. Однако далеко не все понимают, что порождающая модель является результатом только известного распределения уже найденных элементов языка и что возможны также и другие методы изложения языковых материалов, другие методы их распределения и комбинирования, особенно за пределами типологии языков.

Кроме того, заметим, во-вторых, что уже Н. Хомский говорит о необходимости использования того, что он называет рекурсивным механизмом, для охвата бесконечного числа предложений [49]. Рекурсивный механизм у него — это система «замкнутых петель». С. К. Шаумян выражается в этом случае гораздо проще. Определяя порождающую модель, он говорит: «Порождающая грамматика — это набор правил, дающих рекурсивное перечисление комбинаций символов, принадлежащих языку. Термин „порождение“ следует понимать в смысле синонима термина „рекурсивное перечисление“» [50]. В математике рекурсивной функцией называется такая, которая может быть получена путем какой-нибудь определенной операции с рядом других функций, операции, которая остается тождественной с той, которая была произведена над первым членом ряда, причем все производимые здесь операции не выходят за пределы какой-нибудь одной определенной функции. Производя эту операцию над тем или другим членом функционального ряда, мы каждый раз как бы возвращаемся к операции с первым членом этого ряда. Так, например, если натуральный ряд чисел появляется из единицы путем прибавления к нему другой единицы, то совершенно такое же прибавление единицы имеет место при любом числе натурального ряда при переходе его к следующему числу. Если это так, то порождение, о котором говорит С. К. Шаумян, есть определенная операция, преследующая только одну цель — сохранение постепенной последовательности нарастания появления одной и той же функции в ее собственных пределах. Мне хотелось бы здесь возразить Н. Хом-

[49] Н. Хомский, указ. соч., стр. 428.
[50] С. К. Шаумян, Структурная лингвистика, стр. 93.

скому и С. К. Шаумяну: не является ли такой метод слишком громоздким? Однако вопрос этот относится, конечно, не к самому определению рекурсивной функции и тем самым к процессу порождения, но к возможности выбора тех или иных аргументов, над которыми производится данная единообразная операция для получения конкретной значимости основной функции. Во всяком случае термин «порождение» получает здесь весьма отчетливое значение, которое указывает и на единообразие появления отдельных результатов этого порождения, и на их закономерность, и на их определенную последовательность, и на их ограниченность порождающим началом. Я бы сказал, что в настоящее время едва ли можно дать более отчетливый анализ понятия порождения. Оно вполне соответствует также и общежизненной интуиции: порождающее все порождает именно из себя; порожденное хранит на себе печать порождающего; порожденное порождает дальнейшее порожденное тем же способом, каким само оно появилось из своего собственного порождающего; общее порождающее остается во всех порожденных, во-первых, самим собою, а, во-вторых, каждый раз по-разному, так что династия всех порожденных ограничена определенностью общего порождающего. Само собой разумеется, что это — только чистая теория и хочет быть тоже чистой теорией. Что же касается естественных языков, то звенья, предполагаемые рекурсивно-понимаемым порождением, часто могут отсутствовать или оставаться для нас неизвестными. Но и в этом случае рекурсивно-понимаемое порождение остается четким критерием для оценки того, насколько одно языковое явление зависит от другого и насколько эта зависимость нам известна или неизвестна.

Наконец, в-третьих, двухступенчатая теория С. К. Шаумяна, последовательно применяемая им также в теории порождения, очень выгодно отличает ее от теории Н. Хомского. У этого последнего порождающая модель прямо и непосредственно порождает собою грамматику естественного языка, превращая тем самым язык в чисто рациональное построение. Что же касается С. К. Шаумяна, то он хочет учесть также и все иррациональные моменты в языке, используя для этого именно свою двухступенчатую теорию, т. е. теорию языковой глобальности и теорию идеального отражения этой глобальности в структурных и модельных образах [51].

Итак, назовем подобного рода типологическое учение 6) м о д е л ь н о - п о р о ж д а ю щ е й типологией. Поскольку в этой теории большую роль играет принцип трансформации, обеспечивающий собою происхождение порожденного из порождающего, то подобного рода типологию языков можно назвать также т р а н с ф о р м а ц и о н н о й т е о р и е й [52]. Поскольку же последней и наиболее разработанной теорией трасформации является аппликативное ее завершение у С. К. Шаумяна, то это понимание типологии можно теперь называть также и а п п л и к а т и в н ы м. Нечего и говорить о том, что указанные нами понимания типологии выступают (кроме теории С. К. Шаумяна) в большинстве случаев весьма мало расчлененно, часто путаются одно с другим и со стороны исследователя требуют весьма тщательного логического анализа. Несомненно также и то, что фактически таких теорий гораздо больше, хотя разбираться в них в настоящий момент не представляется нам необходимым.

[51] С. К. Ш а у м я н, Структурная лингвистика, стр. 371.

[52] Вслед за З. Харрисом и Н. Хомским метод трансформации разрабатывает С. К. Ш а у м я н («Структурная лингвистика», стр. 164—183, 233—348). Наиболее ясное представление о трансформационном методе можно получить по консультации Т. М. Н и к о л а е в о й (ВЯ, 1960, 1, стр. 111—115) и по статье О. М. Б а р с о в о й «Основные проблемы трансформационного синтаксиса (на материале современного английского языка)», ВЯ, 1965, 4, стр. 65—73. Весьма ценные материалы содержатся в сборнике «Трансформационный метод в структурной лингвистике», М., 1964.

Нужно отметить ту огромную работу над языками, которая ведется у нас с позиций фактического и эмпирического описания различных языковых конструкций, фигурирующих обыкновенно в слишком общем и нерасчлененном виде. Тут тоже устанавливаются разного рода типы языков. Но типы не в специально структурном смысле слова, а в смысле наличия в языках тех или иных преобладающих конструкций, изучаемых, кроме того, не в их метафизической разрозненности, но в их диалектической процессуальности. Вернее же сказать, изучаются здесь тоже языковые структуры, но самый термин «структура» понимается здесь не в каком-нибудь заумном или хотя бы математическом смысле слова, а просто как вообще «строй», «построение», как вообще метод объединения тех или иных элементов в целое.

Прежде всего необходимо отметить работы Э. А. Макаева [53], который, резко отличаясь в своих построениях от структуралистов отсутствием всякого напряженного логицизма, тем не менее дал несколько весьма четких концепций языка, спокойно и методически анализирующих многие из современных насущных проблем науки о языке в плане как раз структурного изучения. Обилием эмпирических наблюдений с учетом проблем структурализма, но без всяких математически-изощренных увлечений, отличается весьма интересный сборник статей «Морфологическая структура слова в языках различных типов» (М.—Л., 1963). Это же нужно сказать и о сборнике, который нами уже упоминался выше, «Морфологическая типология и проблема классификации языков», равно как о сборниках «Структурно-типологическое описание современных германских языков» (М., 1966) и «Статистико-комбинаторное моделирование языков» (М.—Л., 1965). В этом последнем сборнике особенно важное и принципиальное значение имеет статья Н. Д. Андреева, посвященная проблемам математической статистики в общеметодологическом плане [54]. Интересна недавно вышедшая книга Р. Г. Пиотровского «Моделирование фонологических систем и методы их сравнения» (М.—Л., 1966).

Все подобного рода работы понимают типологию языка 7) процессуально-сравнительно-конструктивно.

Математическую лингвистику можно только горячо приветствовать, потому что только она может дать максимально точную картину фактического языкового состояния на тех или иных уровнях и в тех или иных областях. Что же касается самих языковых структур, о которых говорит теория, то они ни в каком смысле не есть результат какого-нибудь исчисления, не имеют никакого отношения к математике и, сами по себе взятые, не могут и не должны входить в такую науку, которую необходимо было бы называть математической лингвистикой. При таком четком разграничении теории структур и статистики структур весьма полезно будет говорить об особом 8) статистико-комбинаторном понимании типологии, которое целесообразно выделить из предыдущего седьмого понимания.

Заметим, что подобного рода понимание структуральной типологии, строго говоря, носит пока еще стихийный характер, так что оно в настоящий момент еще далеко от какой-нибудь глубоко продуманной лингвистической системы. Будучи главным образом статистикой, такая типология нуждается в разработанной теории структур, поскольку статистическому обследованию подвергаются здесь именно разные элементы структур, взя-

[53] Например: Э. А. Макаев, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, 1961, 5; его же, Сравнительная, сопоставительная и типологическая грамматика, ВЯ, 1964, 1.

[54] Ср.: Н. Д. Андреев, Моделирование языка на базе его статистической и теоретико-множественной структуры, «Тезисы совещания по математической лингвистике», Л., 1959.

тые в отдельности или комбинаторно. Теория структур и моделей, которую сейчас разрабатывает С. К. Шаумян, где-то должна встретиться со всей этой статистикой фактической человеческой речи. Но эти пункты встречи пока еще намечаются слабо. В то же самое время стихийный напор статистики в современном структурализме настолько велик, что он начинает захватывать уже самые общие и самые широкие элементы языка, которые иной раз даже и получают какое-то неожиданное средневековое обозначение как «универсалии».

В заключение нашего очерка, бросая общий взгляд на отмеченные у нас многочисленные работы по структуральной типологии (их количество легко могло бы быть намного увеличено), необходимо сказать следующее. В настоящий момент в отношении логической последовательности своих методов наука эта выступает перед нами как нечто в значительной мере хаотическое. Для того чтобы добиться элементарной ясности, нам пришлось расчленить восемь разных пониманий структурально-типологического метода. И методы эти не только нуждаются в дальнейшем расчленении, но часто выступают во взаимно-скрещенном виде, неуловимом для самих структуралистов. С другой стороны, однако, вся эта логическая нерасчлененность соединяется с чрезвычайно большим напором в разыскании и статистике языковых общностей, когда в горизонт исследователей попадают целые десятки, если не сотни разных языков. Рисуется захватывающая дух перспектива найти такие универсалии, которые охватывали бы собою все языки мира и которые путем рационально проводимых трансформаций давали бы собою точные формулы для каждого конкретного языка. Если принять во внимание, что таких языковых семейств, как индоевропейское, имеется на земном шаре больше 100, а языков, на которых говорит человечество, несколько тысяч, то отсюда становятся ясными те безумные претензии, которые сейчас выставляет структуральная типология. Доклады на IV Всесоюзном математическом съезде 1961 г. в Ленинграде [55] показали, что от этого союза математики с лингвистикой гораздо больше выигрывает математика, чем лингвистика, поскольку старая математика базировалась на таких областях, как физическая, т. е. на областях, в которых задачи характеризуются только небольшим количеством «степеней свободы», язык же является такой областью, в которой функционирует множество разных «степеней свободы», требующих для своего математического осознания небывалых раньше научных усилий. Однако и для лингвистики здесь тоже открываются необъятные горизонты, если иметь в виду формализацию и точное выведение структурных типов нескольких тысяч языков из небольшого числа исходных универсалий. Горизонты эти, несомненно, гораздо шире и сложнее, чем, например, охват всех движений небесных светил механикой Ньютона в XVII в.

Структуральная типология — наука очень молодая. И потому ей свойственны все преимущества и все недостатки ранней молодости.

---

[55] О проблемах математической лингвистики на этом съезде писала М. И. Бурлакова в сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

Е. М. ПОСПЕЛОВ

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИКИ

Изучение севернорусской топонимики субстратного происхождения можно по праву назвать одной из самых интересных и самых сложных задач современной топонимики. При разработке проблемы прибегают к различным методам анализа, но независимо от того, какой метод применяется в качестве основного (фоностатический, структурно-фонетический, этимологический или др.), во всех случаях важное значение может иметь применение также и картографического метода. Однако используется этот метод сравнительно редко, а в тех случаях, когда к нему обращаются, извлекают далеко не все скрытые в нем возможности.

Основным понятием картографического метода следует считать понятие о топонимическом ареале как части земной поверхности, в пределах которой встречается то или иное топонимическое явление. С помощью ареалов могут исследоваться топонимические совокупности, объединяемые, в зависимости от целей исследования и имеющегося в распоряжении исследователя материала, по различным структурно-грамматическим, фонетическим или лексико-семантическим признакам. По территориальному охвату ареалы могут быть глобальными или узколокальными, по размещению исследуемого материала — сплошными или разорванными, с различной плотностью заполнения в различных частях.

В процессе изучения субстратной топонимики неизвестного происхождения ареалы обычно выделяют по какому-либо одному формальному признаку, чаще всего — по общности топоформанта. Если учитывать специфику материала, такой подход следует признать вполне правомерным. Однако нужно отчетливо представлять, что хотя подобная группировка и необходима для первичного отбора и классификации материала, она имеет всего лишь предварительный, рабочий характер. В дальнейшем, по мере изучения топонимии, такие ареалы могут распадаться на ряд частных (перекрывающихся, соприкасающихся или изолированных) ареалов, характеризующихся дополнительными признаками, определяющими различия между ними. В других случаях, наоборот, ареалы, первоначально выделяемые как самостоятельные, при углубленном изучении обнаруживают единство происхождения, лишь замаскированное последующими наслоениями.

Таким образом, в практике топонимического исследования, в зависимости от степени изученности материала, найдут применение ареалы и большого территориального охвата (вплоть до глобального) и микроареалы. Безусловно, что чем компактнее ареал, тем более вероятна общность образующих его топонимов. Однако компактность обычно связана с ограничением используемого материала и не способствует полному выявлению его основных характеристик и связей. Например, при современной изученности субстратной топонимии Севера, когда еще нельзя считать решенным вопрос о дофинноугорском субстрате, а совсем недавно

даже выдвигалась гипотеза о балтийском происхождении части субстратной топонимии, рассмотрение таких обширных ареалов, как, например, ареал топонимии на *-ньга*, включающий Европейский Север и Восточную Сибирь, можно только приветствовать. Ключ к пониманию происхождения топонимии Севера лежит, конечно, за пределами Севера. Вопрос лишь в научном уровне проведения исследования. Неизбежное на следующих этапах расчленение ареалов опасно утратой перспективы и понимания взаимоотношений между топонимией различных групп. Необходимо учитывать, что микроареалы в ряде случаев отражают не столько различия, существовавшие в субстрате, сколько особенности современных говоров. Примером может служить ареал названий на *-х*, выделявшийся на нижней Клязьме[1]. Сравнение положения этого ареала с диалектологической картой произношения *х* на месте *г*[2] показывает, что названия на *-х* (*Пенюх*, *Сезух*, *Ландех* и др.) образовались под воздействием русских говоров из исходных форм на *-г*: *Пенюг*, *Сезуг*, *Ландег*. Таким образом, ареал субстратной топономики на *-х* исчез, слившись с ареалом широко распространенной топонимии на *-уг*, *-юг*, *-ег*.

Научное значение ареального изучения топономии весьма велико. Положенный на карту ареал, определяя зону распространения изучаемой топонимии, привязывает ее к конкретной историко-этнической картине, реконструируемой по нетопонимическим данным. Благодаря этому определяются языки (или группы языков), которые могут быть использованы для интерпретации топонимов. Не менее важна одновременно выполняемая привязка к конкретной местности, характеризующейся определенными физико-географическими реалиями, знание которых необходимо для мотивированного этимологического анализа топонимов. Однако как бы ни было велико значение изучения отдельных ареалов, для анализа субстратной топонимии большой интерес представляют ареалы перекрывающиеся. Поскольку каждый из субстратных ареалов определяется сравнительно ограниченным числом топонимов, выявление связей между изучаемыми группами топонимов позволяет привлекать их для совместного анализа, что значительно расширяет возможности исследования и повышает его продуктивность. Необходимо при этом подчеркнуть, что ареальное картографирование субстратной топономии по формантам ни в коей мере не может рассматриваться как самоцель, а служит всего лишь средством для выявления конкретного лингвистического содержания.

Рассмотрение ряда перекрывающихся топонимических ареалов оказывается плодотворным при изучении субстратной топонимии территории Европейской части СССР, лежащей к северу от Оки и в дальнейшем называемой просто Севером[3].

---

[1] В. А. Никонов, Неизвестные языки Поочья, ВЯ, 1960, 5.

[2] «Атлас русских народных говоров центральных областей к Востоку от Москвы», М., 1957, карта № 39.

[3] В географической литературе понятие «Север Европейской части СССР» не может считаться достаточно определенным, и различными авторами под этим названием описывается территория в разных границах. В серии монографий о природных районах нашей страны «к Северу отнесена часть Европейской территории СССР, протянувшаяся широкой полосой от границы подзоны смешанных лесов до береговой линии Баренцева моря и от государственной границы на западе до Уральских гор на востоке» (Г. Д. Рихтер, А. Г. Чикишев, Север Европейской части СССР, М., 1966, стр. 3). В топонимическом плане Север как область распространения специфической субстратной топонимии имеет несколько иные границы, суженные на востоке и расширенные к югу (см., например: А. [И.] Соболевский, Названия рек и озер русского Севера, «ИОРЯС АН СССР», XXXII, 1927). И это вполне закономерно — топонимическое районирование территории, как правило, не может и не должно совпадать с физико-географическим районированием.

На рассматриваемой территории обычно выделяются топонимические ареалы, характеризующиеся наличием таких формантов, как *-ас*, *-ос*, *-ус*, *-уга*, *-юга*, *-юг*, *-ега*, *-ига*; -гласный ± *н(ъ)га*, *кса*, *кша*; *-ма*, *-ша* и ряда других. Существует мнение, подтверждаемое рядом примеров, что среди топонимов, объединяемых одним и тем же формантом, встречаются элементы, восходящие к различным источникам и имевшие различные исходные формы[4]. Однако сам факт нивелирования первоначальных форм, подчас весьма далеких друг от друга, вовлечение их в топонимический ряд, свидетельствует о наличии определенной топонимической общности, близкой по исходным данным и последующему языковому окружению.

Поскольку в рассматриваемом случае в качестве основы для картографирования ареалов принимаются форманты, необходимо остановиться на методике их выделения из состава топонимов. Ориентировка исключительно на конечные элементы названий, выявляемые при расположении материала по образцу обратных словарей, не может дать положительных результатов. Необходимо одновременное органическое сочетание анализа топоформантов с анализом топооснов. Применяя закон ряда[5], можно видеть, что каждое название лежит на пересечении рядов, образуемых топонимией с одинаковой основой и топонимией с одинаковым формантом. Кроме того, при вычленении форманта следует исходить из обычной для финно-угорских и ряда других языков модели образования топонимов, включающей в качестве первого компонента прилагательное или существительное, а в качестве второго — географический термин, определяющий род объекта[6].

Исходя из известного положения Э. М. Мурзаева о закономерности перехода нарицательных местных географических терминов без каких-либо изменений в имена собственные[7], надежным критерием правильности вычленения форманта-термина следует считать наличие случаев его самостоятельного употребления в функции топонима. Наконец, термин, использованный в качестве топонима, может служить основой для образования плеоназмов, т. е. выступать не только в качестве топоформанта, но и в качестве топоосновы. Игнорирование этих исходных положений может привести к выделению не значимого термина, а бессмысленного звукосочетания.

Переход от картографирования ареалов формантов к картографированию ареалов географических терминов позволяет уже сейчас в ряде случаев пересмотреть отношение к совместному использованию двухсложной и трехсложной топонимии. Если при формантном методе важно различие между двухсложными названиями типа *Охта*, *Еньга*, *Окса* и т. п., где *-хта*, *-ньга*, *-кса* принадлежат основе, и трехсложными названиями типа *Колохта*, *Пукшеньга*, *Конокса*, где эти элементы выступают в роли «суффиксов», то при методе географических терминов эти различия теряют значение и даже возникает необходимость объединения ареалов соответствующих двухсложных и трехсложных форм. Более того, в эти же ареалы войдут и названия, в которых термины выступают в ка-

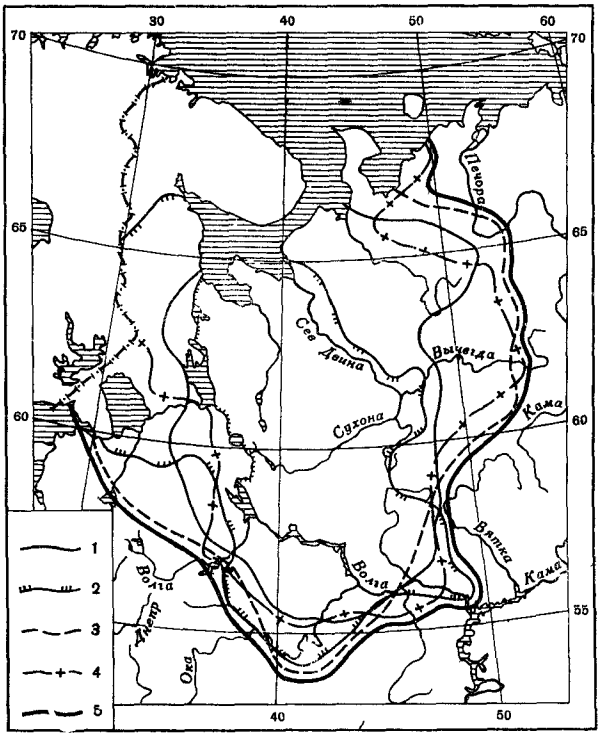
[4] А. И. Попов, Географические названия (Введение в топонимику), М.— Л., 1965, стр. 104 и сл.

[5] В. А. Никонов, Закон ряда в географических названиях, «Onomastica», IV, 1, 1958.

[6] Б. А. Серебренников, О методах изучения топонимических названий, ВЯ, 1959, 6.

[7] Э. М. Мурзаев, Местные географические термины, в кн.: «Транскрипция географических названий», М., 1960, стр. 71; его же, Значение местных терминов в образовании географических названий, в кн. «Питання топоніміки та ономастики», Київ, 1962, стр. 42.

честве основы: *Охтонга*, *Охтома*, *Охтуя*, *Еньгас* и т. п. При этом, выявляется, что для познания географии терминов бесполезно картографирование в одном ареале названий на *охта*, *лахта*, *пахта* или *окса* («река»), *лакса* («залив»), *мокса* («озеро»); напротив, приобретает интерес сравнение ареалов различных терминов (*охта*, *окса*, *еньга*, *юга* и т. д.).



Карта 1. Ареал субстратной топонимии Севера: 1 — термины *уга*, *юга*, *юг*; 2—термины *окса*, *окша*, *укса*, *укша*, *икса*, *икша*; 3—термины* *окса*, *акса*, *укса*; 4—термины *еньга*, *аньга*, *оньга*; 5—граница ареала субстратной топонимии Севера

Следует, однако, заметить, что при современной изученности субстратной топонимики Севера полностью реализовать принцип выделения ареалов географических терминов (вместо ареалов формантов) пока еще невозможно.

Наряду с картографированием терминов, несомненный интерес представляет выявление ареалов различных фонетических явлений. При выделении таких ареалов для полноты картины также целесообразно использовать не только традиционные форманты или географические термины, но и другие названия (односложные и производные от них), отражающие картографируемое явление. Например, для выделения фонетического ареала *-кс*, противопоставляемого *-кш*, должны быть привлечены не только топонимы типа *Конокса*, но и такие, как *Нукса* и *Нюксеньга*. Очевидно, что такой подход к отбору материала, определяющего ареал, позволяет более полно выявить географию явления.

Нанесение на карту ареалов наиболее употребительных в субстратной топонимии Севера географических терминов со значением «река» показывает весьма значительную близость их контуров (карта 1). Остальные, менее представительные топонимические группы, размещаются в

пределах показанных на карте 1 ареалов. Очевидно, что совокупность нанесенных ареалов определяет область распространения субстратной топонимии Севера, причем в качестве ее граничной изоглоссы должна быть принята линия, совпадающая с внешними выступающими участками изоглосс, определяющих отдельные топонимические ареалы. Схематически положение граничной изоглоссы может быть определено следующим образом. Восточный участок границы проходит по линии Чешская губа, Усть-Ижма, верхняя Вычегда, междуречье Ветлуга — Вятка; южный — устье Камы, средняя Ока, Мста, Ладожское озеро. Западный участок наименее четок: здесь субстратная топонимия перекрывается близкородственной ей современной прибалтийско-финской топонимией. Условно в качестве западной границы может быть принята линия государственной границы СССР. На севере границей ареала служит побережье Белого и Баренцева морей. Примерно в этих же пределах определял распространение субстратной топонимии и Б. А. Серебренников [8].

Следует иметь в виду, что отдельные топонимы севернорусского типа встречаются и за пределами очерченного ареала. Однако они единичны, происхождение их в ряде случаев или спорно, или связывается с позднейшими финно-угорскими языками, а удаление их от ближайших однотипных топонимов во много раз превышает расстояния, существующие внутри ареала. Совершенно очевидно, что распространение границы ареала на сотни километров ради включения единичных названий было бы неправильно. В этом случае целесообразнее применение значкового способа, позволяющего показывать факты, остающиеся вне ареала.

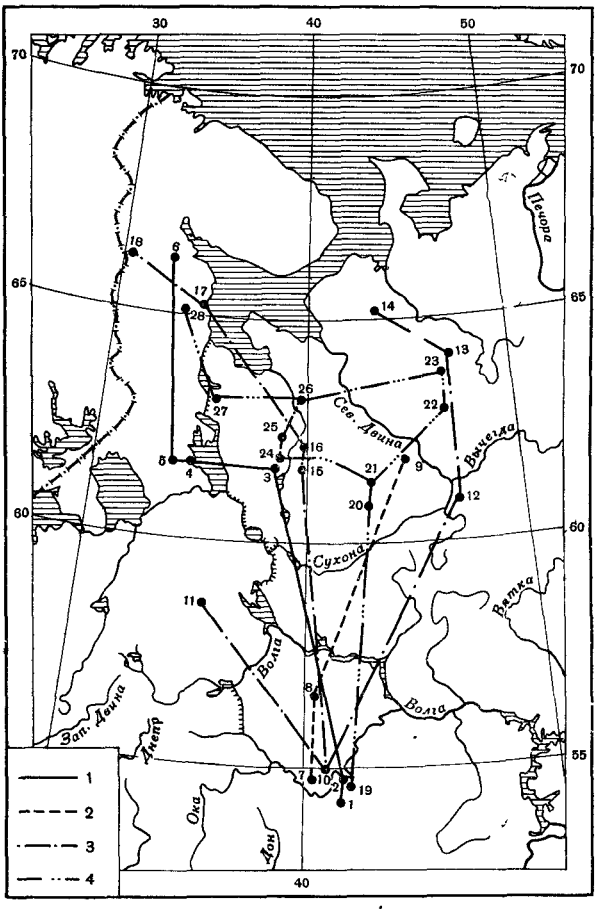
Выделяемая область обладает отчетливым внутренним единством как между различными образующими ее топонимическими группами, так и между различными участками области. Прежде всего для топонимии ареала характерно ударение на первом слоге и отсутствие групп согласных в начале слова. Резко выражена общность топооснов: с основами топонимии на *-юг*, *-юга*, *-уга* совпадает около 15% основ топонимов на *-окса*, *-окша* и около 30% основ топонимов на *-ега*; 15% топонимов на *-ус* (<**укса* «река, приток») имеют общие основы с топонимией *еньга* и т. д. Характерно, что одни и те же субстратные топоосновы встречаются в различных, иногда довольно удаленных друг от друга частях ареала. На карте 2 показано распространение некоторых сравнительно малоупотребительных топооснов, значение которых неизвестно (*пет*, *кид*, *ол*, *чур*), причем даже такое фрагментарное картографирование дает весьма наглядное представление о тесных связях, существующих между различными зонами ареала.

Правомерность включения этой территории в единый ареал, кроме топонимического материала, хорошо подтверждают археологические данные. Анализ этих данных, выполненный П. Н. Третьяковым, позволил установить, что в III тыс. до н. э. волго-окские неолитические племена, носители культуры керамики с ямочным орнаментом, распространились на север, вплоть до берегов Белого моря и Южной Финляндии. Позже, на рубеже III—II тыс. до н. э. в бассейны Оки, верхней Волги, Северной Двины и Печоры проникла новая волна пришельцев — носителей культа изображения „водоплавающей птицы[9]. География находок этих культур, связываемых П. Н. Третьяковым с древними финно-угорскими

[8] Б. А. Серебренников, Волго-окская топонимика на территории Европейской части Советского Союза, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», VIII, 1955.

[9] П. Н. Третьяков, Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге, М.—Л., 1966, стр. 38—43, 49—59.

племенами, показана на карте 3. Сравнение этой карты с картой 1 свидетельствует о почти полном совпадении топонимического и археологического ареалов. Расхождения в северо-восточной части ареала связаны с недостаточной археологической изученностью этой территории.

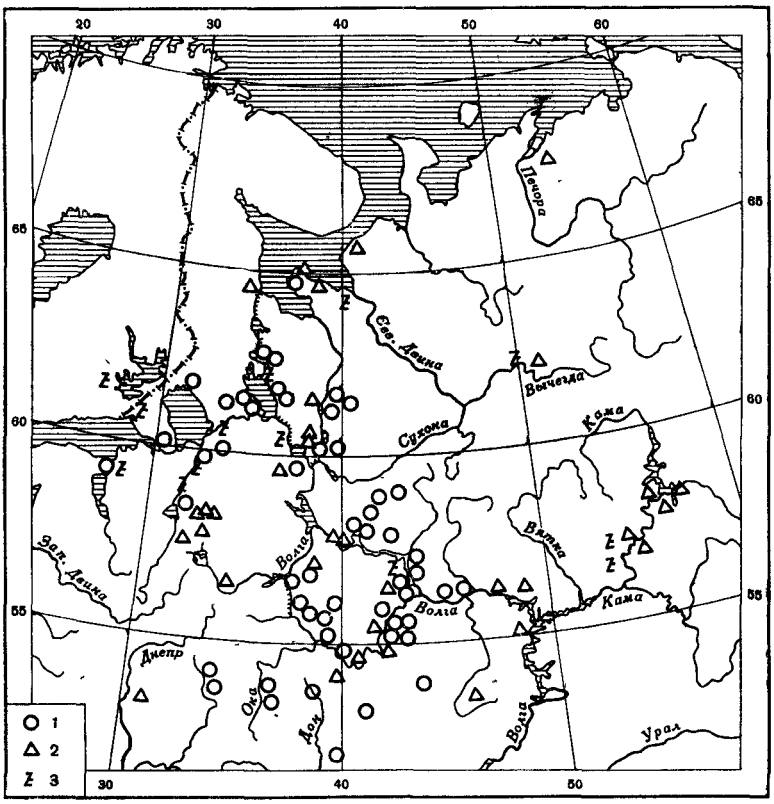


Карта 2. Распространение некоторых топоосноов: 1 — *пет* (1. *Петас*, 2. *Пет*, 3. *Петеньга*, 4. *Пет-ручей*, 5. *Петус-ярви*, 6. *Пето*); 2 — *кид* [7. *Кидус(ово)*, 8. *Кидекша*, 9. *Кидюга*]; 3 — *ол* (10. *Олех*, 11. *Олехово*, 12. *Олеховка*, 13. *Олема*, 14. *Олма*, 15, 16. *Ола*, 17. *Олонга*, 18. *Оланга*); 4 — *чур* (19. *Чурих*, 20, 21. *Чурга*, 22. *Чурова*, 23. *Чура*, 24, 25. *Чурьега*, 26. *Чурокса*, 27. *Чурас*, 28. *Чуруж*)

В свете сказанного ясно видна ошибочность утверждения, что к югу от Вологодской области (т. е. примерно от 59° с. ш.) севернорусская топонимия исчезает[10]. Вопрос о южной границе распространения субстратной топонимии Севера приобретает особенно важное значение в связи

[10] Т. В. Марадудина, А. К. Матвеев, Атлас субстратной топонимики русского Севера, в кн. «III Республіканська ономастична (гідронімічна) конференція (Тези)», Київ, 1965, стр. 11. Заметим, что обычно применяемый А. К. Матвеевым для анализа топонимии подсчет согласных, выполненный для субстратной топонимии Подмосковья (точнее, как видно из приведенных примеров,— Волго-Окского междуречья), также показывает единство северной и южной частей выделяемого ареала (Г. И. Ледовская, Из наблюдений над консонантизмом субстратной топонимики Подмосковья, «Вопросы топономастики», 2, Свердловск, 1965).

с планируемым составлением топонимических атласов. Не подлежит сомнению, что полное изучение и картографирование субстратной топонимии Севера невозможно без учета южной части ареала. С другой стороны, понимание и правильное картографическое представление связей волго-окской топонимии невозможно без привлечения данных по



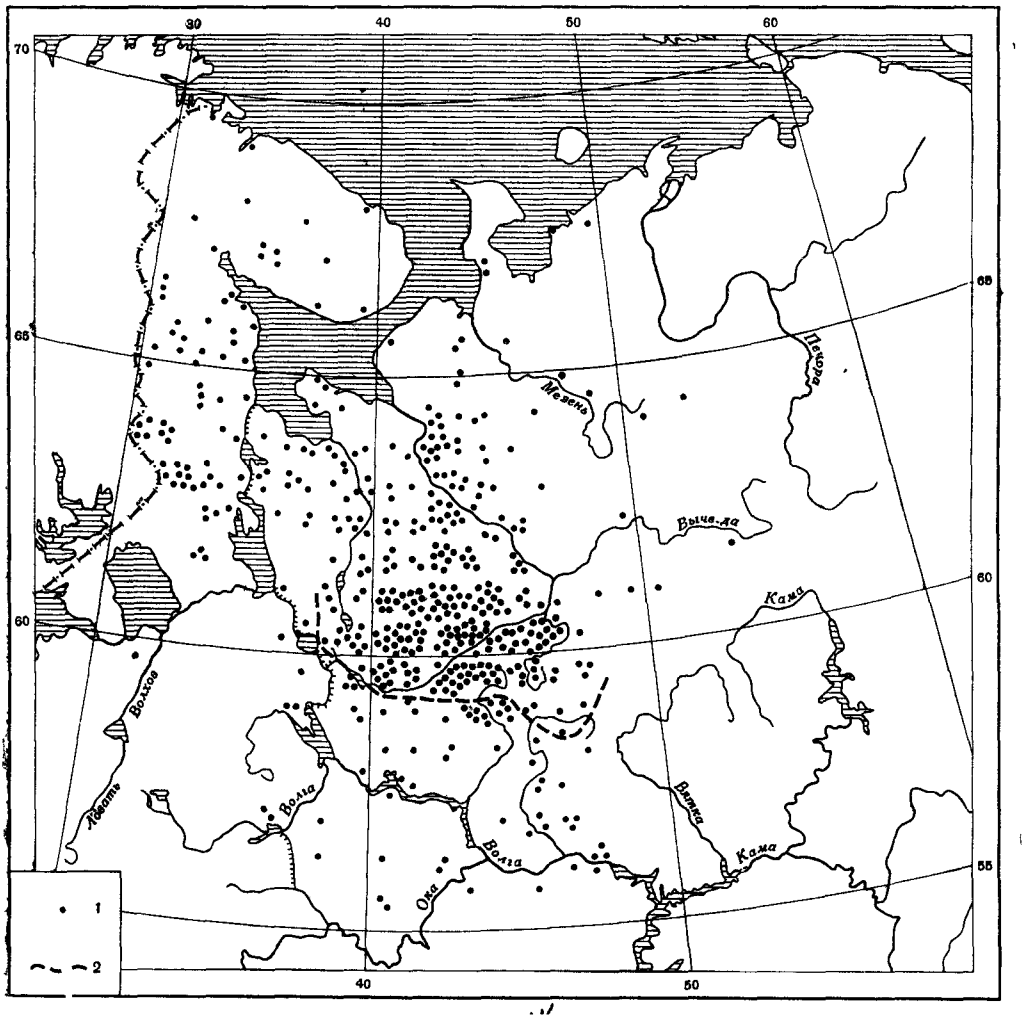
Карта 3. Неолит Севера (по П. Н. Третьякову, 1966): 1 — волго-окские неолитические поселения; 2 — находки «фигурных кремней»; 3 — находки изображения водоплавающих птиц на сосудах

Северу, так как топонимия севернорусского типа является существенным компонентом в довольно сложной по составу субстратной топонимии волго-окского топонимического региона.

Для правильного отражения характера распространения того или иного топонимического явления немаловажное значение имеет выбор способа изображения ареала. Наиболее распространенный способ — значковый, когда значками различной конфигурации указывается действительное местоположение топонима, или, точнее,—объекта, к которому он относится (карта 4). Очевидно, вследствие того, что наиболее употребительны значки в виде точки (кружка малого диаметра), этот способ иногда ошибочно называют точечным. Такое название неприемлемо, поскольку в мировой практике тематической картографии точечным принято называть принципиально иной способ картографирования массовых рассредоточенных явлений [11], который в топонимике применения не находит.

[11] Подробнее об этом способе см.: К. А. Салищев, А. В. Гедымин, Картография, М., 1955, стр. 266; К. А. Салищев, Основы картоведения, 3-е перераб. изд., М., 1959, стр. 121—122.

Главное достоинство значкового способа в его конкретности, так как основывается он только на изложении известных фактов. Но пригоден он лишь для хорошо и равномерно изученных ареалов. В тех же случаях, когда ареал изучен лишь в общих чертах или степень изученности его в различных частях разная, этот способ может дать искаженную картину

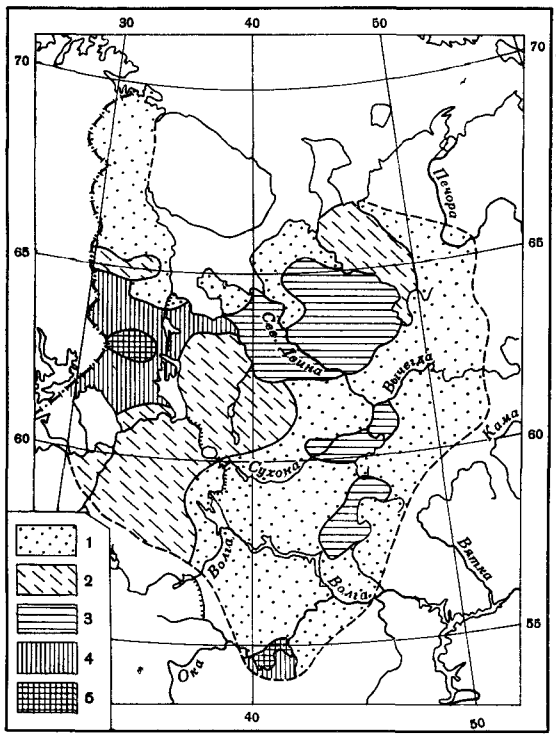


Карта 4. Ареал термина *еньга*: 1 — топонимы с термином *ен(ь)га*, *ан(ь)га*, *ян(ь)га*, *ин(ь)га*; 2 — южная граница топонимии на *-ньга* по А. К. Матвееву, 1964

действительного размещения явления. В таких случаях целесообразны другие способы изображения ареала.

Среди них на первом месте следует назвать изображение ареала с помощью оконтуривающей его изоглоссы. При этом в контур включаются и такие пространства, где распространение явления установлено лишь гипотетически. Недостаток этого способа в том, что он, наглядно характеризуя общую картину, ничего не говорит о размещении исходных данных внутри ареала. Поэтому целесообразно сочетать значковое изображение имеющихся данных с проведением оконтуривающей изоглоссы. Ареал может быть изображен также штриховкой или надписью. Первый спо-

соб удобен при показе на одной карте двух и более изолированных или соприкасающихся ареалов, показываемых штриховкой различного рисунка и линеатуры, а второй — при весьма приблизительном представлении о границах рассматриваемых явлений. Из сказанного следует, что оценка различных способов отображения ареалов не может быть абстрактной, а должна основываться на целесообразности применения того или иного способа в каждом конкретном случае.



Карта 5. Плотность названий на *-ас, -ос, -ус*. Количество названий на 10 тыс. км²: 1 — меньше 2 названий; 2 — от 2 до 5 названий; 3 — от 6 до 10 названий; 4 — от 11 до 20 названий; 5 — свыше 20 названий

Обычно к числу достоинств *значкового способа* относят наглядность представления плотности размещения картографируемого явления. Но нужно заметить, что она дает возможность получения лишь приблизительной оценки этой характеристики. Для более точного представления целесообразно составление специальных карт топонимических плотностей, т. е. карт, показывающих количество названий, приходящихся на единицу площади. Как правило, топонимическая плотность бывает различной в различных частях ареала. Ее величина зависит от ряда причин. О топонимической плотности как показателе, характеризующем освоенность территории, еще в 1949 г. писал А. Н. Казаков [12]. Сопоставление количества названий с количеством жителей использовал Ю. Г. Вылежнев [13], причем те же результаты могли бы получиться при отнесении плотности названий к плотности населения. К этому следует еще добавить зависимость топонимической плотности от наличия объектов, представлявших хозяйственный интерес для населения — носителя субстратного языка. Высказанное же А. К. Матвеевым предположение о том, что уплотнения в ареале связаны с различным происхождением образующей их топонимии [14], ничем не подтверждается. Наглядность карт плотностей зависит от выбора ступеней шкалы интенсивности и единицы площа-

[12] А. Н. Казаков, О географических названиях Ловозерских тундр на Кольском полуострове, «Уч. зап. [ЛГУ]». Серия географических наук, 6, 1949.

[13] Ю. Г. Вылежнев, К вопросу о современном распространении топонимов типа *Заберезник, Подгора* на территории Пермской области, в кн. «Всесоюзная конференция по топонимике СССР. 28 янв.— 2 февр. 1965 г. Тезисы докладов и сообщений», Л., 1965, стр. 265, 266.

[14] См.: А. К. Матвеев, Некоторые вопросы лингвистического анализа субстратной топонимики, ВЯ, 1965, 6, стр. 6.

ди, к которой относятся избранные величины. Примером подобной карты может служить карта 5, где показана плотность названий на *-ас*, *-ос*, *-ус* [15]. Эта топонимия интересна тем, что, как сейчас установлено, в ней за формантом скрывается реконструируемый термин **окса*, *укса*, *акса*, широко распространенный по всей территории ареала и имеющий соответствие в современном финском-суоми языке. Топонимы с этим формантом зафиксированы по всей области распространения севернорусской субстратной топонимии.

Исходя из реального распространения картографируемого явления, на карте применена возрастающая шкала с последовательным увеличением интервала между ступенями. В связи со сравнительно малым количеством картографируемых названий, за единицу площади принято 10 тыс. км^2. Анализ карты показывает, что максимальная плотность — от 11 до 20 и более названий на 10 тыс. км^2 отмечается только в Южной Карелии и на микроучастке в районе Среднего Поочья. Далее следуют три участка с плотностью не более 10 названий на 10 тыс. км^2, которые условно могут быть названы как Унжа-Ветлужский, Сухоно-Вычегодский и Нижнедвинский, отделенные друг от друга пространствами с минимальной плотностью. Таким образом, видна необоснованность предпринятой А. К. Матвеевым попытки расчленения ареала этой топонимии на три изолированных ареала (прибалтийскофинский, северный, волго-окский), якобы разделенных языковыми границами. Очевидно, попытка эта основывалась на смешении ареала современных прибалтийскофинских названий на *-as*, *-us* с ареалом соответствующего субстрата, охватывающим Север, включая и Карелию. Так же ошибочно выделение и волго-окского ареала названий на *-ус* [16]. Такого ареала нет, а есть лишь очень небольшое по площади приокское сгущение названий на *-ус*, *-ос*, *-ас*. Связь топонимии этого микроареала со всей остальной севернорусской топонимией сомнения не вызывает.

Линии, разграничивающие на карте участки с различной плотностью явления, не получили еще окончательного названия. И. Сташевский называет их изоритмами [17], однако в литературе этот термин чаще употребляется как синоним изолиний, и в рассматриваемом случае, при картографировании явления не непрерывного, имеющего случайное распространение, его применение нежелательно. Лучше всего в данном случае принять широко распространенный в изокартографии термин изоплета, применяемый для линий, ограничивающих поверхности с равными значениями явления, имеющего случайное распространение [18]. Конструировать же новый, специально топонимический термин, например изотопонима, вряд ли есть необходимость.

Дальнейшим развитием картографирования ареалов может быть топонимическое районирование территории и отображение его на картах, составляемых методом качественного фона [19]. В настоящее время, в оте-

---

[15] Карта размещения топонимии *-ас*, *-ос*, *-ус*, выполненная значковым способом, приведена в статье: Е. М. Поспелов, О балтийской гипотезе в севернорусской топонимике, ВЯ, 1965, 2, стр. 31.

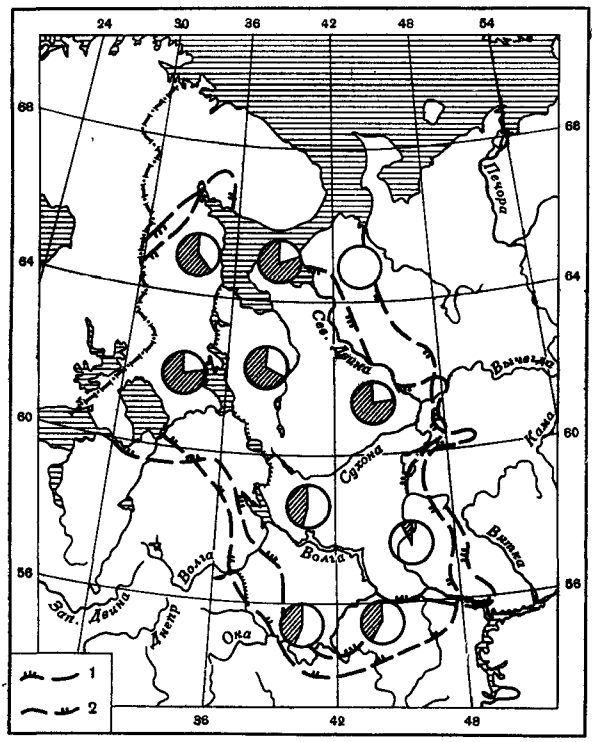
[16] А. К. Матвеев, указ. соч., стр. 9. Там же он пишет, что в волго-окском ареале названия на *-ас* не встречаются. Это утверждение не соответствует действительности: только в Поочье отмечены *Петас*, *Вочкас*, *Толас* (*Толос*), *Улас*. Там же и ряд названий на *-ос*: *Орос*, *Пузосс*, *Лукмос*, *Ункос* и др.

[17] J. Staszewski, Nazwy geograficzne na obszare Polski. Próba syntezy, «Przegląd geograficzny», XXVIII, 1, 1956.

[18] J. L. M. Gulley, K. A. Sinnhuber, Isokartographie, «Kartographische Nachrichten», 11. Jg., 4, 1961.

[19] Существо способа исчерпывающе изложено в указанных выше трудах К. А. Салищева.

чественной топонимической картографии этот способ еще не находит применения, но по мере углубления топонимического изучения СССР вообще и изучения субстратной топонимики в частности потребность в нем неизбежно возникнет. В частности, он окажется нужным при картографическом отображении районирования территории страны по проис-



Карта 6. Картодиаграмма распространения топонимии на *-кс* и на *-кш*: 1 — граница распространения трехсложных топонимов на гласный ┼ *-кс*, *-кш*; 2 — граница распространения двухсложных топонимов на гласный ┼ *-кс*, *-кш*. В круговых диаграммах заштрихованная часть соответствует доле названий на гласный ┼*-кс*, незаштрихованная — гласный ┼ *-кш*

хождению субстратной топонимии, а затем и при более детальном подразделении внутри каждого из районов. Построение изоглосс, ограничивающих выделенные подразделения, будет несколько отличаться от построения граничных линий ареалов. Если там, как было отмечено выше, контур ареала проводится по линии, совпадающей с внешними участками различных изоглосс (см. карту 1), то здесь в качестве граничных линий должны приниматься так называемые типичные изоглоссы, т. е. средние линии пучков изоглосс, дающие минимум отклонений[20].

В определенных случаях топонимического исследования может представлять интерес количественная оценка относительного распределения в ареале двух или более явлений. Эта задача решается путем построения картодиаграмм. В качестве примера рассмотрим картодиаграмму, пока-

[20] См.: «Вопросы теории лингвистической географии», М., 1962, стр. 214.

зывающую относительную частоту употребления элементов *-кс* и *-кш* в составе названий, отобранных в соответствии с рассмотренным выше принципом образования топонимических совокупностей для анализа фонетических явлений (карта 6). Полученные данные интересны тем, что показывают неточность широко распространенного мнения о приуроченности топонимии с *-кш* к волго-окскому бассейну, а с *-кс* — к более северным территориям. В действительности же, в северной части ареала названия с элементом *-кш* встречаются примерно в 25% всех случаев, а в южной — лишь ненамного чаще, чем топонимы с *-кс*.

Таким образом, применение картографического метода исследования, обогащая новыми знаниями, позволяет внести некоторые коррективы в уже довольно распространенные и известные положения. Конечно, возможности картографического метода далеко не исчерпываются рассмотренными случаями топонимического картографирования. Комплексное топонимическое картографирование территории с одновременной обработкой материала и составлением синтетических карт позволит ликвидировать еще остающиеся неясности в субстратной топонимии Севера.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

И. А. ПЕРЕЛЬМУТЕР

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПЕРФЕКТА

Индоевропейский перфект и его доисторические истоки — тема, которой в последние десятилетия уделялось много внимания. Современные исследователи (Е. Курилович, Хр. Станг, В. Пизани и др.) представили генезис этой грамматической категории в новом свете. Очень большое значение как для сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков в целом, так, в частности, и для интересующей нас проблемы имело использование материалов хеттского языка. Углубленное изучение хеттского клинописного языка, начавшееся в 20-х годах XX в., привело к выводам, существенно изменившим самую постановку вопроса об истоках так называемого индоевропейского перфекта.

Е. Курилович установил соответствие между личными окончаниями активного перфекта (в ед. числе) и личными окончаниями одного из двух спряжений хеттского глагола, спряжения на *-ḫi*[1]. Несколькими годами позже Е. Курилович и Хр. Станг одновременно и независимо друг от друга выдвинули гипотезу, согласно которой вторичные медиальные окончания системы презенса-аориста представляют собой трансформацию личных окончаний перфекта[2]. В 1938 г. Я. Сафаревич высказал мысль о том, что с окончаниями перфекта связаны также и первичные медиальные окончания. Он приходит к выводу, что противопоставлению актив — медий предшествовало противопоставление актив — перфект, что перфект послужил моделью для возникновения категории медия[3]. В книге «Флективные категории в индоевропейском» Е. Курилович, развивая свои идеи о генетической связи между индоевропейским медием и индоевропейским перфектом, приходит к заключению, что индоевропейский перфект представляет собой «древнейшую форму медиопассива»[4].

Интересные работы об индоевропейском перфекте принадлежат перу итальянских лингвистов В. Пизани и В. Беларди[5]. Современные воззрения по вопросу об индоевропейском перфекте углубляются и обогащаются

---

[1] J. Kuryłowicz, *ə* indoeuropéen et *ḫ* hittite, «Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski», I, Cracoviae, 1927.

[2] J. Kuryłowicz, Des désinences moyennes de l'indo-européen, BSLP, 33, 1932; Chr. Stang, Perfectum und Medium, NTS, VI, 1932.

[3] J. Safarewicz, Les désinences moyennes primaires de l'indo-européen, «Bullétin international de l'Académie polonaise des sciences et des lettres (classe de philologie, classe d'histoire et de philosophie)», 7—10, 1938.

[4] J. Kuryłowicz, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg, 1964, стр. 63.

[5] V. Pisani, Über einige ai. *r*- Endungen und Verwandtes, KZ 60, 1932; W. Belardi, La formazione del perfetto nell'indoeuropeo, «Ricerche linguistiche», I, 1, Roma, 1950.

в трудах советских исследователей, в частности в работах Т. Я. Елизаренковой, А. Н. Савченко, М. М. Гухман, Вяч. В. Иванова [6].

Даже этот далеко не исчерпывающий перечень исследований показывает, что в последние десятилетия интенсивно шло изучение проблем, связанных с доисторическими истоками индоевропейского перфекта. И все же многое в этой области еще не получило своего объяснения.

В настоящей работе делается попытка на основе дальнейшего развития положений, выдвинутых современной наукой, вновь рассмотреть вопрос о первоначальной функции так называемого индоевропейского перфекта; мы опираемся при этом преимущественно на факты древнегреческого языка — на перфект в языке гомеровского эпоса, всегда служивший в силу своей явной архаичности самым важным материалом для суждений и выводов о соответствующей индоевропейской категории.

*

На протяжении всей истории изучения индоевропейского перфекта по вопросу об истолковании его функциональной природы шла борьба главным образом между двумя научными направлениями, а именно, между теми исследователями, которые считали, что перфект изначально выражал «состояние субъекта, наступившее в результате его (субъекта) предшествующего действия» [7], и теми, которые усматривали основную и первоначальную функцию перфекта в обозначении особо интенсивного действия, функцию же обозначения «достигнутого состояния» считали вторичной и производной [8]. В своих рассуждениях представители последнего направления опирались прежде всего на группу так называемых «аномальных» перфектов древнегреческого языка, т. е. на перфекты, которые, насколько мы можем судить об этом по текстам памятников, либо вовсе не имеют рядом с собой презенсов, либо не отличаются от соответствующих презенсов ни в плане времени, ни в плане вида, ни в плане залога. В языке гомеровского эпоса к этой группе относятся μέμονα [9] «желать», τέθηπα «изумляться», δείδω [10], δείδια «бояться», προβέβουλα «предпочитать», μέμηλα «заботиться», *τετίγα [11] «быть огорченным», γέγηθα «радоваться», ἔρριγα «страшиться», οἶδα «знать», δέδορκα «смотреть, взирать», ὄδωδα «пахнуть», *κέκληγα [12] «кричать», τέτριγα «щебетать», ἄνωγα «приказывать,

[6] Т. Я. Елизаренкова, Аорист в «Ригведе», М., 1960; А. Н. Савченко, Происхождение среднего залога в индоевропейском языке, Ростов, 1960; М. М. Гухман, Развитие залоговых противопоставлений в германских языках, М., 1964, стр. 267 и сл.; Вяч. В. Иванов, Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, М., 1965.

[7] K. Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 2-e Bearbeitung, II, Tl. 3, Lief. 1, Strassburg, 1913, стр. 83, К этому же направлению принадлежат Б. Дельбрюк (см. «Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen», II, Strassburg, 1897, стр. 177), А. Мейе (см. «Aperçu d'une histoire de la langue grecque», Paris, 1930, стр.36) и многие другие, в том числе и современные исследователи.

[8] G. Curtius, Das Verbum der griechischen Sprache seinem Baue nach dargestellt, II, Leipzig, 1880, стр. 138 и сл.; M. Bréal, Les commencements du verbe, «Mémoires de la Société de linguistique de Paris», 11, 1900, стр. 277 и сл.; H. Hirt, Indogermanische Grammatik, IV, Heidelberg, 1928, стр. 281; отчасти: J. Wackernagel, Vorlesungen über Syntax, Basel, 1926, стр. 167; Ed. Schwyzer — A. Debrunner, Griechische Grammatik, II, München, 1950, стр. 263.

[9] Презентную форму μαίνομαι «безумствовать» следует, по-видимому, рассматривать как самостоятельное образование от того же корня.

[10] δείδω представляет собой форму перфекта, восходящую к *δε-δFοι-α. См.: P. Chantraine, Grammaire homérique, 1, Paris, 1942, стр. 425.

[11] От этого глагола у Гомера засвидетельствованы только формы активного и медиального причастия перфекта.

[12] Перфект этого глагола представлен у Гомера только формами активного причастия.

побуждать», *λέληκα «кричать», μέμηκα «блеять», μέμυκα «мычать», γέγωνα «кричать, быть слышным», βέβρυχα «реветь, рычать», εἴωθα «иметь обыкновение», ἔοικα «быть похожим».

Для Г. Курциуса, М. Бреаля, а также Я. Вакернагеля и др. функция перфектов этой группы заключается в том, что они обозначают особо интенсивное действие, т. е. действие, более интенсивное, чем то, которое обозначается соответствующими презенсами; с точки зрения исследователей этого направления, данные формы сохранили изначальное «интенсивное» значение перфекта.

Для тех лингвистов, которые усматривают первоначальную функцию перфекта в обозначении «достигнутого состояния», эта группа перфектов всегда служила камнем преткновения. По существу значение лишь одного перфекта οἶδα «я знаю» поддается удовлетворительному истолкованию на основании их гипотезы: «я увидел и, стало быть, знаю», но по отношению к перфектам со значениями «желать», «изумляться» «бояться», «радоваться» и др. подобные интерпретации едва ли обоснованы. Тем не менее К. Бругман считал, что эти перфекты также обозначают «состояние в настоящем, явившееся результатом действия в прошлом». В соответствии с этим он интерпретировал, например, δείδια как «Ich bin in Furcht geraten und bin nun in Furcht»; γέγηθα «Ich bin in freudige Erregung geraten und freue mich nun»[13]. Искусственный характер и очевидная неприемлемость подобных истолкований отмечалась многократно в научной литературе.

Некоторые исследователи стремятся доказать, что аномальный характер перфектов данной группы, их чисто презентное значение, вызвано тем, что общее грамматическое значение перфекта, значение «достигнутого состояния», особым образом преломляется в этих глаголах в силу их лексического значения. Для П. Шантрена эти перфекты «близки к соответственному презенсу по причине значения их корня»[14]. Испанский лингвист М. С. Руйперес отказывается видеть в этих перфектах «архаическую аномалию»[15]. По его мнению, видовое значение перфекта, формулируемое им как «обозначение глагольного действия после его предела»[16], реализуется различным образом в семантемах трансформативных и в семантемах нетрансформативных, т. е. в глаголах, выражающих некую трансформацию, изменение состояния в субъекте или объекте, и в глаголах, значение которых исключает всякую идею об изменении состояния в субъекте или объекте. Если в семантемах трансформативных таким «пределом» является окончание действия (terminus finalis), то в семантемах нетрансформативных (а к ним и относятся интересующие нас здесь глаголы) этим «пределом» является начало действия (terminus initialis). «Таким образом, γέγηθα имеет значение „стать радостным и продолжать оставаться радостным„»[17]. Нетрудно убедиться, что точка зрения М. С. Руйпереса, по существу, представляет собой лишь некоторую модификацию воззрений К. Бругмана по этому вопросу.

Прежде всего необходимо отметить, что анализ гомеровского текста не говорит ни в пользу одной, ни в пользу другой точки зрения. Б. Дельбрюк на большом материале убедительно показал, что нет основания полагать, будто перфекты этой группы обозначают действие более интен-

[13] K. Brugmann — A. Thumb, Griechische Grammatik, 4-e Aufl., München, 1913, стр. 551.

[14] P. Chantraine, Histoire du parfait grec, Paris, 1927, стр. 17.

[15] M. S. Ruipérez, Estructura del sistema de aspectos y tiempos del verbo griego antiguo, Salamanca, 1954, стр. 52.

[16] Там же, стр. 49.

[17] «Ponerse alegre y seguir estando alegre» (там же, стр. 62).

сивное, чем соответствующие презенсы[18]. С другой стороны, ни один контекст не побуждает нас думать, что, например, такой перфект, как γέγηθα, означает не просто «радуется», а, в соответствии с бругмановской интерпретацией, «он впал в радостное возбуждение и радуется теперь»[19]. Сторонники указанных точек зрения в ответ на подобные возражения обычно говорят, что первоначальное значение перфекта выступает в тексте гомеровских поэм уже сильно потускневшим. Однако, по нашему мнению, имеются факты, свидетельствующие против традиционных точек зрения даже вне зависимости от той или иной интерпретации текстов.

Дело в том, что перфекты этой группы либо вовсе не имеют в языке Гомера соответствующих презенсов, либо имеют такие формы презенса, которые обнаруживают те или иные черты своего вторичного происхождения, своей производности от перфекта.

Не имеют презенса в языке Гомера такие перфекты, как μέμονα, τέθηπα, οἶδα, ὄδωδα, μέμηκα, βέβρυχα, δείδια (δείδω), εἴωθα, ἔοικα.

Вторичность презенса ἀνώγω по отношению к перфекту ἄνωγα, а также презенса γεγωνέω по отношению к перфекту γέγωνα не вызывает сомнений[20].

Презенс βούλομαι [перфект (προ)βέβουλα] «желать» восходит, по-видимому, к форме конъюнктива сигматического аориста * βολσομαι с последующим отпадением σ и заместительным удлинением $o > ou$. Что же касается формы корня *βολ-, то ступень огласовки позволяет рассматривать ее как восходящую к перфекту. В дальнейшем огласовка ou проникла и в корень перфекта. Презентная форма, соответствующая презенсу δέρκομαι (перфект δέδορκα) «смотреть, видеть», не засвидетельствована нигде за пределами греческого языка, тогда как остальные формы этого глагола представлены в индоиранских языках. Многие исследователи рассматривают презенс δέρκομαι[21] как греческое новообразование.

Презенсы γηθέω «радоваться», μυκάομαι «мычать» обнаруживают в своей основе некий добавочный элемент по сравнению с основой перфекта: γηθέ-ω:γέ-γηθ-α; μυκά-ομαι: μέ-μυκ-α. Это обстоятельство свидетельствует, по-видимому, о производном, вторичном происхождении данных форм презенса. В ряде презентных форм древнегреческого языка, явно образованных от перфекта, мы находим присоединенными к основе те же самые форманты ε или α: γεγωνέω «кричать, быть слышным» (ср. инфинитив презенса γεγωνεῖ, Ил. XII, 337) — от перфекта γέγωνα, * ἐγρηγοράω «бодрствовать»[22], в более позднем языке: ὀπωπέω «видеть»[23] — от перфекта

---

[18] B. Delbrück, указ. соч., стр. 171 и сл.

[19] Ср. презенс — Ил. XIV, 140; перфект — Ил. VIII, 559, Од. VI, 106.

[20] P. Chantraine, Histoire du parfait grec, стр. 18.

[21] Наличие аблаутных соотношений между основой презенса и основой перфекта δέρκομαι — δέδορκα не следует рассматривать как свидетельство глубокой древности обеих форм. Аблаут вовсе не является гарантией архаичности. Не только в германских языках, как это показал В. М. Жирмунский (V. Zirmunski, Der grammatische Ablaut im Germanischen, «Symbolae linguisticae in honorem G. Kuryłowicz», Wrocław—Warszawa—Kraków, 1965), но и в древнегреческом языке аблаут долго оставался продуктивной моделью уже в историческое время. Достаточно вспомнить, что формы так называемого аспирированного перфекта, возникавшие в аттическом диалекте лишь в V в. до н. э., во многих случаях обнаруживают аблаутное изменение гласного корня по сравнению с основой презенса: πέμπω «посылать» — πέπομφα, πλέκω «плести» — πέπλοχα и т. п.

[22] Форма, восстанавливаемая на основе презентного причастия ἐγρηγορὼν (Од. XX, 6), производного от перфекта ἐγρήγορα. См.: P. Chantraine, Grammaire homérique, 1, стр. 359.

[23] H. G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, A Greek-English lexicon, Oxford, 1925—1940, стр. 1242.

ὄπωπα, πεπονθέω «терпеть» [24] — от перфекта πέπονθα, ἐγρηγορέω [25] — от перфекта ἐγρήγορα. Важно отметить, что в некоторых случаях при образовании презенса от перфекта перфектное удвоение опускается: δορκάζω «смотреть вокруг» [26] (глосса Гезихия) — от перфекта δέδορκα, στήκω «стоять» [27] — от перфекта ἕστηκα, отсутствует начальный гласный в презенсе γρηγορέω [28], образованном от перфекта ἐγρήγορα. В качестве деперфективных образований П. Шантрен рассматривает также θηλέω «цвести» — от τέθηλα, ληκέω «шуметь» — от λέληκα [29]. С другой стороны, за исключением тех случаев, когда презенс явно образован от перфекта, а также за исключением форм γηθέω, μωκάομαι основообразующий элемент презенса ε или α, как общее правило, проникает в основу перфекта и даже удлиняется там: βαρέω «отягощать» — βεβαρηώς, ποιέω «делать» — πεποίηται, τιμάω «чтить» — τετίμηται и т. д.

Все эти данные позволяют нам усматривать в презенсах γηθέω, μωκάομαι относительно поздние и, вероятно, деперфективные образования.

Некий добавочный элемент в основе презенса по сравнению с основой перфекта обнаруживают также презенсы: κλάζω «шуметь, кричать», τρίζω «щебетать»: κλάζω (< *κλάγιω) — κέ-κληγ-α; τρίζω(< * τρίγιω)—τέ-τριγ-α.

В пользу изложенной здесь точки зрения о позднем деперфективном происхождении ряда форм презенса говорит также следующее соображение.

Презенсы и перфекты тех глаголов, о которых здесь идет речь, по значению, как мы можем убедиться из наблюдения над текстом, не отличаются друг от друга. Если предположить, что первоначально в языке был один презенс, а затем к нему был образован перфект, то трудно будет объяснить причину возникновения синонимического перфекта: ведь ни о каком «давлении системы» здесь не может быть речи, поскольку огромное большинство глаголов в языке Гомера не имеют форм перфекта. Возникновение же синонимического презенса к наличествующему перфекту вполне объяснимо тем фактом, что презенс в языке гомеровского эпоса несомненно является уже центром глагольной системы, и если отсутствие перфекта вполне обычно для гомеровского языка, отсутствие презентной формы не могло не ощущаться как аномалия. Мы наблюдаем у Гомера, что к некоторым основам перфекта присоединяются презентные окончания (например, ἀνώγ-ει), но никаких следов обратного процесса обнаружить нельзя.

Итак, есть основание считать, что в интересующей нас группе глаголов перфекты являются более древними образованиями, а презенсы — образованиями более поздними.

Какие же выводы следуют из этого для оценки традиционных воззрений на данную группу древнегреческих перфектов?

Если презенсы этой группы глаголов представляют собой образования более поздние, чем перфекты, то, естественно, нельзя предполагать, что первоначальное грамматическое значение данных перфектов заключалось в том, что они обозначали действие более интенсивное, чем действие, выражаемое соответствующими презенсами, которые попросту отсутствовали в языке. Поэтому каким бы образом ни решался вопрос о смысловом соотношении презенсов и перфектов этой группы на мате-

---

[24] Там же, стр. 1363.
[25] Там же, стр. 475.
[26] Там же, стр. 445.
[27] Там же, стр. 1643.
[28] Там же, стр. 360.
[29] P. Chantraine, Grammaire homérique, 1, стр. 347,

риале языка Гомера, делать на этом основании какие-либо выводы в плане предыстории языка, в сравнительно-историческом плане мы никоим образом не можем. Следовательно, теория, рассматривающая обозначение особо интенсивного действия как первоначальную функцию перфектов этой группы, должна быть отвергнута.

С другой стороны, интерпретации в духе К. Бругмана или М. С. Руйпереса, например, «он стал радостным и продолжает оставаться радостным», и без того-то лишенные какой-либо опоры в текстах, утрачивают всякий смысл в том случае, если презенсы этой группы глаголов представляют собой образования более поздние, чем соответствующие перфекты. Трудно представить себе, что некогда существовало положение, при котором в языке наличествовал бы глагол со значением «он впал в состояние мычания и пребывает теперь в нем», но не было глагола, означающего просто «мычать». Следовательно, нет оснований полагать, что перфекты этой группы обозначают некое «достигнутое состояние».

Мы приходим, таким образом, к выводу, что γέγηθα означает просто «радоваться», μέμυκα — просто «мычать», δείδια — просто «бояться» и т. д. Большое преимущество такой интерпретации заключается в том, что нам не приходится совершать никакого насилия над материалом, поскольку эти истолкования находятся в полном соответствии с тем, что нам подсказывают тексты.

До сих пор мы вели речь об одной из групп перфектных форм в языке Гомера. Имеются, однако, веские основания полагать, что именно эта группа перфектов представляет собой древнейший пласт форм данной грамматической категории, и в таком случае, естественно, наши выводы относительно этой группы форм получают особое значение.

Мнение о том, что так называемые «интенсивные» перфекты составляют «древнейший слой» форм в системе перфекта, высказывалось в научной литературе неоднократно[30], однако в его пользу еще не было приведено убедительной аргументации.

Решающее значение обоснования этой точки зрения имеет, по нашему мнению, тот факт, что при некоторых из указанных форм перфекта отсутствуют не только соответствующие презентные формы, но также и соответствующие формы аориста: μέμονα, οἶδα, ὄδωδα, ἔοικα. Не засвидетельствованы в языке Гомера аористы к перфектам ἄνωγα, γέγωνα, τέτριγα, (προ) βέβουλα (о деперфективном происхождении презентных форм соответствующих глаголов уже шла речь выше). Никаких иных форм, кроме активных и медиальных перфектных причастий, нет у Гомера от изолированного перфекта *τετίηα. Презенс γηθέω вторичен по отношению к перфекту γέγηθα, но сигматический аорист ἐγήθησα явно вторичен по отношению к презенсу γηθέω. У двух звукоподражательных глаголов перфект μέμηκα[31] — аорист ἐμᾶκον «блеять», перфект μέμυκα[32] — аорист ἐμύκον «мычать» перфект явно первичен по отношению к аористу. В принципе не исключена возможность деперфективного происхождения аориста и у других глаголов интересующей нас группы.

---

[30] См., например: J. Wackernagel, указ. соч., стр. 167; Ed. Schwyzer—A. Debrunner, указ. соч., стр. 263. Это мнение, однако, встречало и встречает весьма упорную оппозицию, в последние годы против него выступали В. Беларди (указ. соч., стр. 97), М. С. Руйперес (указ. соч., стр. 52).

[31] См.: H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Lief. 13, Heidelberg, 1963, стр. 224. Об этом глаголе здесь говорится: «Ономатопоэтическое образование, основанное на звукоподражании μη (m¯)». Ср. например, нем. *meckern* «блеять».

[32] См. там же, стр. 266. В других индоевропейских языках, где имеется соответствующий звукоподражательный глагол, корневое *u* везде долгое: лат. *mūgio*, литов. *mūkiù*, ср.- в. -нем. *mūhen*.

Эти данные позволяют нам считать, что по крайней мере значительная часть рассматриваемых нами перфектов представляет собой изолированные перфекты, perfecta tantum.

Между тем давно установлено, что индоевропейской глагольной системе не было свойственно сквозное спряжение[33], что в ней «отдельные корни по своему значению были по преимуществу пригодны для образования от них определенной временно́й основы — или настоящего времени, или аориста, или перфекта»[34].

В самом деле, большинство глаголов в языке гомеровского эпоса не имеют форм перфекта. Вместе с тем, как мы уже знаем, многие перфекты не имеют у Гомера соответствующих форм презенса, а также аориста. С другой стороны, мы наблюдаем в историческое время определенную и сильно выраженную тенденцию к созданию сквозного спряжения: многие глаголы, не имеющие форм перфекта у Гомера, получают их в ходе дальнейшего развития древнегреческого языка, причем в большинстве подобных случаев мы имеем дело с новыми формальными типами, а это служит убедительным доказательством того факта, что перед нами действительно новые формы, а не формы, случайно не засвидетельствованные в древнейшем памятнике. Рядом с perfecta tantum гомеровского языка появляются позднее формы презенса. Если спроецировать тенденцию к созданию сквозного спряжения в доисторический период, то можно прийти к выводу, что некогда существовало положение, при котором в принципе формы презенса-аориста и формы перфекта образовались от разных корней. Подобное предположение уже высказывалось в научной литературе[35]. Серьезным доводом в его пользу служит система хеттского глагола, в которой формации, рассматриваемые в качестве исторических предшественников «аористо-презенса» и «перфекта», выступают в виде двух спряжений, т. е. оформляют две различные группы слов[36]. Если исходить из этого предположения, то ясно, что именно в группе perfecta tantum надо видеть древнейший пласт форм данной грамматической категории. Поскольку мы показали, что ни обозначение особо интенсивного действия, ни обозначение «достигнутого состояния» не является грамматической функцией перфектов данной группы, то это значит, что ни в одном из этих значений не следует усматривать первоначальную функцию перфекта.

Наряду с работами, отстаивающими традиционные теории, в последние годы все чаще появляются исследования, излагающие новую точку зрения, в соответствии с которой перфект обозначал первоначально не «достигнутое состояние», а «состояние» вообще. Эта точка зрения не вполне последовательно проводится в работе П. Шантрена[37], но на ней очень

[33] См., в частности: J. Wackernagel, Studien zum griechischen Perfectum, Göttingen, 1904, стр. 3, Э. А. Макаев, Морфологический строй общегерманского языка, сб. «Проблемы морфологического строя германских языков», М., 1963, стр. 55.

[34] П. Шантрен, Историческая морфология греческого языка, М., 1953, стр. 127.

[35] J. Brunel, L'aspect et «l'ordre de procès», BSLP, 42, 1942—1945, стр. 54; J. Kerns — B. Schwartz, Multiple stem conjugation, «Language», XXII, 2, 1946, стр. 67.

[36] Мнение о генетической связи индоевропейского «перфекта» с хеттским спряжением на -*ḫi*, впервые выдвинутое Е. Куриловичем (см. примеч. 1), разделяется многими авторитетными исследователями; см., например: E. H. Sturtevant, A. Hahn, A comparative grammar of the Hittite language, 2 ed., vol. I, New Haven, 1951, стр. 131 и сл.; K. H. Schmidt, Das Perfektum in indogermanischen Sprachen, «Glotta», XLII, 1964, стр. 6; М. М. Гухман, Глагол в германских языках, «Сравнительная грамматика германских языков», IV, М., 1966, стр. 410. Надо признать, однако, что это мнение не является все же господствующим в науке; см.: B. Rosenkranz, Die hethitische -*ḫi*-Konjugation und das idg. Perfekt, KZ, 75, 3—4, 1958; H. Kronasser, Etymologie der hethitischen Sprache, 4, Wiesbaden, 1965, стр. 375.

[37] P Chantraine, Histoire du parfait grec.

настаивают некоторые исследователи, например польский лингвист Я. Сафаревич[38], (по мнению которого, «в определенную эпоху актив противопоставлялся перфекту таким образом, что первый обозначал действие, а второй — состояние»), итальянский лингвист В. Беларди[39], советский языковед А. Н. Савченко [40] и др.

Нельзя, однако, не признать, что нередко несомненные «состояния» передаются в древних индоевропейских языках с помощью презентно-аористных форм от явно первообразных непроизводных глаголов, в том числе и с помощью форм действительного залога, и это побудило Т. Я. Елизаренкову и Вяч. В. Иванова дать более осторожное определение древнейшей смысловой оппозиции в системе индоевропейского глагола: инъюнктив (действие/состояние) — перфект (состояние) [41]. Необходимо заметить также, что сами значения слов «действие» и «состояние» недостаточно определенны, чтобы эти слова можно было использовать в их обычном значении в качестве научных терминов.

Между тем имеются данные, позволяющие, по-видимому, более четко охарактеризовать первоначальную функцию так называемого индоевропейского перфекта. Для этого мы в соответствии со всем вышеизложенным обратимся прежде всего к группе «аномальных» перфектов — перфектов с чисто презентным значением. Легко убедиться, что лексические значения интересующих нас перфектов в своей совокупности не образуют случайного набора разнородных элементов. Эти лексические значения, как давно уже было отмечено, концентрируются в определенные, тесно связанные между собой группы. По преимуществу, это глаголы, означающие чувственные восприятия (δέδορκα «смотреть, взирать»), психические состояния (γέγηθα «радоваться», δείδια «бояться», μέμηλα «заботиться», προβέβουλα «предпочитать», μέμονα «желать», τέθηπα «изумляться», *τετίηα «быть огорченным», ἔρριγα «страшиться», οἶδα «знать»), а также воздействия на органы чувств (ὄδωδα «пахнуть»), акты звукопроизводства (*κέκληγα «кричать», λέληκα «кричать», μέμηκα «блеять», μέμυκα «мычать», βέβρυχα «реветь») и т. п. Тесная связь между этими группами не подлежит сомнению, семантические переходы здесь вполне естественны. Любопытно отметить в этой связи, что и немецкий глагол *riechen*, и английский глагол *to smell*, и французский глагол *sentir* совмещают значения «пахнуть» и «обонять»; древнеиндийский глагол *vi-khyāti* означает «видеть» и «сверкать», авестийскому *gaoš*-«слышать» этимологически соответствует древнеиндийское *ghóṣati* «звучать»; число примеров подобного рода можно было бы значительно умножить.

Мы можем, таким образом, сказать, что группу так называемых «аномальных» перфектов в языке гомеровского эпоса в основном составляют глаголы, обозначающие психические состояния, и глаголы с близкими значениями. Поскольку же перфекты этой группы образуют, как мы стремились показать, древнейший пласт форм данной грамматической категории, то это значит, что в обозначении психических состояний следует, по-видимому, усматривать древнейшую функцию «перфекта».

Данные древнегреческого языка подтверждаются материалами ряда других индоевропейских языков. В древнеиндийском языке также

[38] J. Safarewicz, указ. соч., стр. 155; его же, Le présent indéterminé et le présent déterminé en indo-européen, «Symbolae linguisticae in honorem G. Kuryłowicz», стр. 246.

[39] W. Belardi., указ. соч., стр. 94.

[40] А. Н. Савченко, Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке, ВЯ, 1955, 4.

[41] Т. Я. Елизаренкова, указ. соч., стр. 122; В. В. Иванов, указ. соч., стр. 137.

имеются случаи, когда перфект с презентным значением либо изолирован, либо, как об этом свидетельствуют те или иные формальные показатели, первичен по отношению к соответствующему презенсу — почти во всех таких случаях перед нами перфекты с аналогичным кругом значений: *veda* «знать», *āha* «говорить», *cākana* [42] «радоваться», *bibhaya* [43] «бояться», *dīdháya*[44] «думать», *dīdaya*[44] «светить», *dadharṣa*[45] «отваживаться, дерзать», *ūhe*[46] «чтить». К этой же семантической сфере относятся и латинские перфекты с презентным значением: *memini* «помнить», *odi* «ненавидеть», *novi* «знать». Сходную картину мы наблюдаем и в германских языках. «По своему значению большинство претерито-презентных глаголов первоначально принадлежало к лексической группе глаголов „душевного состояния" (так наз. verba sentiendi в широком смысле)»[47]. Ср., например, гот. *wait* «знаю», *lais* «понимаю», *man* «полагаю», *og* «ненавижу», *ga-dars* «имею смелость». Абстрактное модальное значение, свойственное ряду германских претерито-презентных глаголов, представляет собой результат позднейшего развития [48]. Весьма существенно, что во всех тех случаях, когда перфектно-презентному глаголу одной группы индоевропейских языков этимологически соответствует перфектно-презенс другой индоевропейской группы, мы имеем дело с глаголом, обозначающим «психическое состояние»: др.-греч. (*f*)οἶδα — др.-инд. *véda* — гот. *wait* «знать»; др.-греч. μέμονα «желать»— лат *memini* «помнить» — гот. *man* «полагать»; лат. (*g*)*novi* — гот. *kann* «знать»; др.-греч. δέδορκα — авест. *dādarəsa* [49] «видеть, смотреть»; др.-инд. *dadhārṣa* — гот. *ga-dars* «осмеливаться». Распространено мнение, что чисто презентное значение этих форм возникло вторичным путем, что первоначально они были «обычными» перфектами, обозначавшими состояние, наступившее в результате предшествующего действия. Как уже говорилось выше по поводу фактов древнегреческого языка, такое толкование вполне применимо (хотя и здесь оно не является единственно возможным) лишь по отношению к глаголам со значением «знать» или «помнить» [50], но было бы очень трудно интерпретировать таким же образом значения остальных перфектов интересующей нас группы, например «видеть», «радоваться», «бояться», «думать», «отваживаться», «желать», «огорчаться», «говорить», «побуждать» и т. д.

Представление о том, что первоначально все эти формы обозначали действие в прошлом, результат которого наличествует в настоящем, основано на убеждении, что некогда наряду с этими перфектами непременно существовали соответствующие формы презенса, впоследствии утраченные [51].

[42] P. Thieme, Das Plusquamperfectum im Veda, Göttingen, 1929, стр. 39.

[43] J. Wackernagel, Indisches und Italisches, KZ, 41, 1907, стр. 305 и сл.; M. Leumann, Morphologische Neuerungen im Altindischen Verbalsystem, Amsterdam, 1952, стр. 25.

[44] P. Thieme, указ. соч., стр. 37.

[45] Там же, стр. 39.

[46] J. Wackernagel, указ. соч., стр. 309.

[47] В. М. Жирмунский, История немецкого языка, 5-е изд., М., 1965, стр 283.

[48] Там же.

[49] *dādarəsa* в авестийском — изолированный перфект с презентным значением см. L. Renou, La valeur du parfait dans les hymnes védiques, Paris, 1925, стр. 12

[50] Человек знает или помнит то, что он узнал раньше.

[51] См., например: W. Braune — K. Helm, Gotische Grammatik, 13-е Aufl. Halle/Saale, 1952, стр. 108. О претерито-презентных глаголах здесь говорится: «Лежащий в их основе презенс утрачен». Противоположное мнение — мнение об исконно отсутствии презентных форм у соответствующих глаголов отражено в ряде работ см., например: H. Wagner, Das Verbum in den Sprachen der britischen Inseln, Tübingen, 1959, стр. 128; Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 59 и сл.; М. М. Гухман, Глагол в германских языках, стр. 410.

Выше уже были приведены доводы, показывающие неубедительность этой точки зрения. Сквозное спряжение сформировалось в индоевропейских языках в относительно позднее время, гомеровский язык сохранил явственные следы первоначальной самостоятельности «временны́х» глагольных основ [52]. Стройная система германского сильного глагола представляет собой, как показал В. М. Жирмунский [53], не индоевропейское наследие, а германское новообразование. Некогда существовало положение, при котором от ряда глагольных корней образовывались лишь формы перфекта, от ряда других — лишь формы презентно-аористной системы.

В свете этих данных естественно усматривать в изолированных перфектах первоначальный слой форм данной грамматической категории, а в свойственной им функции обозначения психических состояний — первоначальное грамматическое значение так называемого индоевропейского перфекта.

Конечно, значения, аналогичные значениям тех форм перфекта, которые мы здесь рассматриваем, передаются также и такими формами презенса и аориста, которые нет основания считать производными от перфекта. Следует, однако, принять во внимание, что, когда речь идет о деятельности органов чувств или о духовной деятельности, возможны две противоположные точки зрения. Субъект может быть в таких случаях представлен либо в качестве активного действующего лица, либо в качестве носителя процесса, протекающего в нем помимо его воли: «я слышу» — «мне слышится», «я хочу» — «мне хочется» [54]. Формы презенса-аориста действительного залога, построенные как глаголы, означающие действие, очевидно, выражали акты восприятия и аффекты как активную деятельность, формы перфекта —как непроизвольные внутренние процессы.

Таким образом, по нашему мнению, индоевропейский перфект первоначально обозначал психические состояния как состояния непроизвольные [55]. Здесь прослеживается прямая связь с семантикой медиопассива, и потому серьезным аргументом в пользу высказанной точки зрения являются выводы, к которым пришли в своих упомянутых выше исследованиях Е. Курилович, Хр. Станг, Я. Сафаревич, рассматривающие индоевропейский перфект как «древнейшую форму медиопассива», как модель, на основе которой сформировался индоевропейский медий.

В глагольных системах многих языков существует характеризуемая определенными формальными признаками категория глагола, для грамматического значения которой свойственно совмещение медиопассивной функции с функцией обозначения психических состояний и чувственных восприятий. В том же древнегреческом языке значительное большинство глаголов, обозначающих психические состояния, а также многие глаголы, обозначающие акты восприятия, говорения, звукопроизводства, представляют собой media tantum [56]. В латинском языке многие глаголы с аналогичными значениями выступают в качестве отложительных глаголов, т. е. глаго-

---

[52] П. Шантрен, Историческая морфология греческого языка. стр. 127.

[53] V. Zirmunski, Der grammatische Ablaut im Germanischen, «Symbolae linguisticae in honorem G. Kuryłowicz», стр. 383 и сл.

[54] J. Vendryes, Sur les verbes qui expriment l'idée de «voir», «Choix d'études linguistiques et celtiques», Paris, 1952, стр. 113 и сл.

[55] Сходная точка зрения по вопросу о первоначальной функции так называемого индоевропейского перфекта отражена в компендиуме Швицера — Дебруннера (Ed. Schwyzer — A. Debrunner, Griechische Grammatik, II, München, 1950, стр. 263). В так называемых «интенсивных» перфектах, «обозначающих непроизвольные состояния и побуждения субъекта, следует видеть древнейший слой форм активного перфекта». Однако никакой аргументации в пользу данной точки зрения здесь не приведено.

[56] Ed. Schwyzer — A. Debrunner, указ. соч., II, стр. 229.

лов, имеющих одни лишь медиальные окончания: *laetor* «радоваться», *vereor* «бояться», *admiror* «удивляться», *loquor* «говорить» и т. д. Обозначение процессов внутреннего состояния и медиально-пассивное значение совмещаются в функциональной сфере так называемых возвратных глаголов в ряде новых европейских языков, например в русском языке [57].

Связь функции обозначения психических состояний и чувственных восприятий с медиопассивом очевидна, и если исходить из понимания перфекта как древнейшей формы медиопассива, то функциональная природа и историческое место интересующей нас здесь группы перфектов находит удовлетворительное объяснение. Если же ставить вопрос о том, как соотносятся между собой обе эти функции перфекта в плане исторической последовательности, то в соответствии с теми фактами, на которые указывалось выше, мы склонны видеть первоначальную функцию перфекта в обозначении психических состояний, медиопассивную же функцию считать вторичной и производной.

Чрезвычайно существенным для подтверждения изложенной здесь точки зрения является то обстоятельство, что выделение глаголов, обозначающих психические состояния как состояния непроизвольные, в особый морфологический тип характерно для ряда языков. Классический пример — глагольная система грузинского языка, в которой очень четко разграничиваются два типа: глаголы действия и глаголы, с помощью которых обозначаются восприятия и внутренние состояния, не зависящие от воли субъекта [58].

Из предшествующего изложения следует, что значение так называемых «аномальных» перфектов нельзя вывести из значения «достигнутого состояния», принимаемого обычно за основное и первоначальное значение перфекта, но для полного обоснования нашей точки зрения нужно показать, каким образом из той функции перфекта, которую мы считаем исходной, выводятся другие исторически засвидетельствованные функции этой грамматической категории. В рамках настоящей работы мы не можем детально описать дальнейшую эволюцию грамматического значения перфекта, поэтому наметим лишь основные моменты.

Как уже говорилось выше, в ходе последующего развития «перфект» стал моделью, по которой от глаголов действия начали образовываться интранзитивные, медиально-пассивные формы. В дальнейшем, когда на основе перфекта сформировался средний залог, воспринявший медиально-пассивную функцию, в функциональной сфере перфекта на передний план выдвинулся первоначально побочный момент — статальное значение, т. е. обозначение действия, не вызывающего никакой перемены ни в субъекте, ни в объекте, иными словами — обозначение состояния. Смысловое противопоставление между презенсом и перфектом стало осуществляться в плане акциональности — статальности.

Состояние субъекта часто возникает как результат его предшествующего действия. У некоторых глаголов в силу их лексического значения семантическое соотношение между формами презенса и перфекта, противопоставляемыми в плане акциональности — статальности, могло быть осмыслено и иным образом, а именно, как противопоставление между обозначением действия и обозначением состояния, возникшего в субъекте в результате этого совершенного им действия. Значение «достигнутого состояния», выступавшее первоначально как лексически связанный вариант более общего значения перфекта — значения «состояния», оказалось определяющим для последующей эволюции перфекта.

[57] В. В. Виноградов, Русский язык, М.— Л., 1947, стр. 632 и сл.

[58] См., в частности: F. N. Finck, Die Haupttypen des Sprachbaus, Leipzig — Berlin, 1923, стр. 133.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

А. С. ЛИБЕРМАН

ОБЩЕГЕРМАНСКОЕ /h/ И НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗВУКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Как известно, спирант [x][1] образовался в германских языках по первому перебою согласных из индоевропейского /k/ [2]. Та фонема, которую мы находим на заре истории германских языков, была, по всей видимости, велярным спирантом, реализовавшимся в аллофонах типа немецкого Achlaut'a. Данное предположение основывается прежде всего на написании римлянами германских собственных имен. Хорошо известны формы *Cherusci*, *Chatti*, *Chauci*, *Chamavi*, *Chasuarii* и т.д. [3]. Считается, что *ch* могло обозначать в этих словах только [x]. Дальнейшая история германского спиранта не вполне ясна, но обычно предполагают, что в отдельных позициях (особенно перед и между гласными) заднеязычный спирант довольно рано перешел в фарингальный. Фонетическая и фонологическая интерпретация этого перехода ставит исследователя перед немалыми трудностями. Начало сдвига, т. е. изменение /k/ > /x/, есть часть первого перебоя согласных: /k/, велярный смычный, дал германский велярный спирант, отличающийся от /k/ одним различительным признаком [4]. Германский /x/ мог, конечно, иметь различные аллофоны, но все они были заднеязычными спирантами, и нет оснований предполагать, что /x/ с самого начала имел, кроме [x], еще аллофон [h]. Гораздо более вероятно, что и перед гласным, и интервокально, и перед /l n r/ сначала стоял велярный спирант, а много позже появился фарингальный. Кроме орфографических данных (по необходимости весьма скудных) [5], нас убеждают в этом факты сравнительно-

[1] Здесь и ниже мы будем обозначать этот спирант латинской буквой *x*, используя греческую χ лишь в цитатах. Мы заключаем фонемы в косые скобки, аллофоны — в квадратные, а названия букв даем курсивом. Однако все цитаты будут воспроизводиться так, как они даны в оригинале.

[2] Примеры, иллюстрирующие переход /k/ > /x/, приводятся во всех работах по данной теме. См., например: A. N o r e e n, Abriss der urgermanischen Lautlehre mit besonderer Rücksicht auf die nordischen Sprachen, Strassburg, 1894, стр. 117—118.

[3] K. M ü l l e n h o f f, Verderbte Namen bei Tacitus, «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur», IX, 1853, стр. 245—248.

[4] Ср. в связи с этим известную статью В. М. Остина: W. M. A u s t i n, Criteria for phonetic similarity, «Language», XXXIII, 4, 1957, стр. 538—544.

[5] Данные эти к тому же всегда двусмысленны. Как показал Х. Керн, даже в VI в., когда ни в одном германском языке уже не было [x] в позиции перед ударным гласным, Григорий Турский все еще обозначал начальное придыхание через *ch* (H. K e r n, Germaansche woorden in latijnsche opschriften aan den Beneden-Rijn, «Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen», Afd. Letterkunde, tweede reeks, tweede deel, 1872, стр. 308). Х. Керн считал, что причиной тому является акустическое различие между германским Hauchlaut'ом и романским *h* aspirée: Hauchlaut, по Х. Керну, произносится с гораздо большей силой и может произвести на француза впечатление велярного спиранта. (См. второй вариант статьи Х. Керна: H. K e r n, Noms germaniques dans des inscriptions latines du Rhin Inférieur, «Revue celtique», II, 1873—1875, стр. 156). Догадка Х. Керна подтверждена многими материалами. Ср.: J. J a n k o, Zum Lautwert des gotischen *h*, «Prager deutsche Studien», 8, 1908, стр. 60, примеч. 1; R. P r i e b s c h, W. E. C o l l i n s o n, The German language, London, 1934, стр. 377. Ненадежность транслитерации обусловлена, однако, еще в большей степени тем, что в романских языках нет заднеязычных спирантов. См. существенную в этом смысле

исторической грамматики германских языков. Так, известно, что в момент действия закона Вернера /x/ был еще повсюду глухим коррелятом /γ/ и, следовательно, заднеязычным, а не фарингальным спирантом. В дописьменном готском, кроме того, /x/ был глухой парой к /γ/ и в период диссимиляции спирантов [6]. Фонема /x/, видимо, еще не имела фарингального аллофона между гласными в ту эпоху, когда в германских языках происходило специфическое распределение аллофонов перед /r/ и /x/ (т. е. готское преломление, древнеанглийское преломление и т. д.): поскольку /r/ и /x/ оказывали на гласные одинаковое действие, можно предположить, что между ними было нечто общее, отличавшее их от всех остальных согласных. Неизвестно, что́ было этой общей чертой, но, во всяком случае, фонетически между [r] любого вида (кроме увулярного [7]) и [x] как будто легче отыскать сходство, чем между [r] и [h] [8]. Западногерманскому удвоению также подвергся велярный, а не фарингальный спирант, так как удлинившийся [x] дал [x:], повсюду реализовавшийся как [x:] (ср. гот. *hlahǰan*, др.-в.-нем. *hlahhan*, *lachēn*, др.-англ. *hlæhhen*) [9]. И, наконец, несомненно, что спирант, препятствовавший алеманскому и баварскому *i*-умлауту от /a/, также был заднеязычным[10]. Но, с другой стороны, возможно, что конечный готский /x/ уже не реализовался как [x] в момент оглушения спирантов[11] и что в древнеанглийском синкопа срединного /i/ происходила после фарингального (*tȳde* < **tȳhidœ* если бы в* *tyhidæ* был велярный спирант, то получилось бы не *tȳde*, а* *tȳhte*) [12], а то, что др.-в.-нем /x/ имел фарингальный аллофон между гласными ко второму перебою согласных, совершенно очевидно: интервокальный германский /h/< </x/ и древненемецкий спирант из и.-е /k/ поначалу не писались одинаково [13] (старый щелевой обозначался через *h*, а новый — через *hh* и многими другими способами [14]). Таким образом, изменение [x]>[h] должно было

работу В. Скита, где данной проблеме посвящено много страниц: W. W. S k e a t, The influence of Anglo-French pronunciation upon modern English, «Transactions of the Philological Society», 1901—1902, стр. 443—453.

[6] R. T h u r n e y s e n, Spirantwechsel im Gotischen, IF, VIII, 1898, стр. 212.

[7] О связях увулярного [r] и [h] см.: J. P. H u g h e s, On *H* for *R* in English proper names, JEGPh, LIII, 4, 1954, стр. 601—612 (особенно стр. 607 и сл.).

[8] Ср.: J. J a n k o, указ. соч., стр. 63; J. V a c h e k, Ještě k likvidaci fonému h/χ v angličtině, «Casopis pro moderní filologii», XXXIX, 2—3, 1957, стр. 57—58; e r o ж e, On the interplay of quantitative and qualitative aspects in phonemic development. A contribution to the history of some English consonant phonemes, «Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik», 5, Jg. 1957, стр. 24—25; e r o ж e, On peripheral phonemes of modern English, «Brno studies in English», IV, 1964, стр. 86, примеч. 36; Я. Б. К р у п а т к и н, К истории древнеанглийской системы гласных, ВЯ, 1962, 6, стр. 58 (ср., однако: W. G. M o u l t o n, The stops and spirants of Early Germanic, «Language», 30, 1, 1954, стр. 26, примеч. 59).

[9] E. K i e c k e r s, Handbuch der vergleichenden gotischen Grammatik, München, 1928, стр. 49; R. v o n K i e n l e, Historische Laut-und Formenlehre des Deutschen, Tübingen, 1960, стр. 81.

[10] В. М. Ж и р м у н с к и й, История немецкого языка, 4-е изд., М., 1956, стр. 111; Н. И. Ф и л и ч е в а, История немецкого языка. Курс лекций, М., 1959, стр. 27; G. S c h w e i k l e, Akzent und Artikulation. Überlegungen zur ahd. Lautgeschichte(Umlaut, Monophtongierungen, Diphtongierungen, westgerm. Konsonantgemination, 2. Lautverschiebung), PBB, 86, 1964, стр. 233; R. v o n K i e n l e, указ. соч., стр. 27.

[11] *Подробнее о концах готских слов* см.: M. H. J e l l i n e k, *Geschichte der gotischen Sprache*, Leipzig, 1926, стр. 71.

[12] Относительная хронология здесь не вполне ясна. См.: K. L u i c k, Historische Grammatik der englischen Sprache, hrsg. von Dr. Fr. Wild und Dr. H. Koziol, Stuttgart — Cambridge (Mass.), 1964, стр. 835; A. C a m p b e l l, Old English grammar, Oxford, 1959, § 461.

[13] M. H e y n e, Kurze Laut- und Flexionslehre der altgermanischen Sprachstämme, Paderborn, 1862, стр. 102; W. S c h e r e r, Zur Geschichte der deutschen Sprache, 2. Aufl., Berlin, 1878, стр. 132.

[14] Ср.: F. E i k e l, *H*-Schwund: A linguistic impasse, JEGPh, LII, 2, 1953, стр. 221.

произойти позже озвончения спирантов по закону Вернера, но до второго перебоя др.-в.-нем. | k |, т. е. примерно в III—IV вв. н. э. [15]. По всей видимости, это изменение произошло прежде всего в позиции перед ударными гласными и интервокально. По крайней мере об этих двух позициях у нас есть более или менее определенные сведения [16]. Тем не менее, сравнительно ясна картина лишь в древнеанглийском, древненемецком и древнеисландском. Что же касается дистрибуции [x]/[h] в готском, то она послужила предметом многолетней дискуссии. В этой дискуссии оказались представленными три направления. Предполагалось, 1) что в готском вообще не было заднеязычного спиранта, а был только Hauchlaut [17], 2) что в готском не было Hauchlaut'a, а был только заднеязычный спирант [18], 3) что в готском наличествовали оба спиранта, находившиеся в дополнительной дистрибуции [19]. При этом лишь К. Рапп и О. Брауне настаивали на интервокальном [x]. В остальном споры велись о концах слов и о позиции перед сонорными | l n r |. Вопрос не вполне выяснен и по сей день [20]. Как будет показано ниже, для нас самое важное — знать, какой аллофон был у готского | x | между гласными. Наиболее вероятно, что это было [h]. Во всяком случае, ни К. Рапп, ни В. Брауне не доказали обратного, и мы исходим

---

[15] Более раннюю дату называл только В. Краузе в связи с анализом рунической формы *HariXasti* (W. Krause, Abriss der altwestnordischen Grammatik, Halle (Saale), 1948, стр. 45; его же, Handbuch des Gotischen, 2. verb, Aufl. München, 1963, § 103, примеч. 6). Ср. по этому поводу: «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 54. Та же датировка, что у нас (но совсем по другим соображениям), у Г. Фласдика (III—IV вв.): H. M. Flasdieck, The phonetic aspect of Old Germanic alliteration, «Anglia», 69, 1950, стр. 280.

[16] Что касается ударного начала, то в отдельных словах этот переход удается даже проследить по диалектам. Например, Цезарь пишет *Silva Caesia*. По Мюлленхофу, историческим продолжением названия *Silva Caesia* являются *Hêsiwald* и *Hêsangi*. Сходные данные о слове *Caesia* сообщает Е. Гамильшег: E. Gamillscheg, Germanisches im Französischen, в кн. «Ausgewählte Aufsätze von Ernst Gamillscheg. Festschrift zu seinem 50. Geburtstage am 28. October 1937», Jena— Leipzig, 1937, стр. 212 (впервые опубликовано в 1926 г.).

[17] J. Grimm, Deutsche Grammatik, I, 2, Ausg., Göttingen, 1822, стр. 68, 70—71; W. Weingaertner, Die Aussprache des Gotischen zur Zeit des Ulfilas. Eine sprachwissenschaftliche Abhandlung, Leipzig, 1858, стр. 54—56; T. Le Marchant Douse, An introduction, phonological, morphological, syntactic to the Gothic of Ulfilas, London, 1886, стр. 19, 72—73; K. Brugmann, Vergleichende Laut-, Stammbildungs- und Flexionslehre der indogermanischen Sprachen, I, Strassburg, 1897, стр. 708; W. Krause, Handbuch des Gotischen, стр. 125; менее определенно В. Штрайтберг: W. Streitberg, Gotisches Elementarbuch, Heidelberg, 1920, § 35, примеч. 10.

[18] K. M. Rapp, Versuch einer Physiologie der Sprache nebst historischer Entwicklung der abendländischen Idiome nach physiologischen Grundsätzen I, Stuttgart — Tübingen, 1836, стр. 389.

[19] F. K. Fulda, W. H. Reinwald, Ulfilas gotische Bibelübersetzung, Weissenfels, 1805, Ulfilas zweiter Theil, стр. 2; A. A. Benary, Die römische Lautlehre, I, Berlin, 1837, стр. 120—121: H. C. de Gabelentz, J. Loebe, Ulfilas. Veteris et novi testamenti versionis goticae, II, pars posterior, Lipsiae, 1846, стр. 43—44; J. Gaugengigl, Gotische Studien, 3. Ausg., Passau, 1853, стр. X (ч. 1); F. Bopp, Vergleichende Grammatik..., I, 2. Aufl., Berlin, 1857, стр. 110; F. Dietrich, Ueber die Aussprache des Gotischen waehrend der Zeit seines Bestehens. Eine sprachgeschichtliche Abhandlung nebst einem kritischen Anhang ueber die Namen des Jordanes, Marburg, 1862, стр. 75; H. Ebel, Zur Lautgeschichte, KZ, XIII, 1864, стр. 283; F. Dieter, Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte, Leipzig, 1900, § 123; F. von der Leyen, Einführung in das Gotische, Muenchen, 1908, стр. 79; F. Mossé, Manuel de la langue gothique. Grammaire. Textes. Glossaire, Paris, 1942, стр. 39, 58; H. Krahe, Historische Laut- und Formenlehre des Gotischen, Heidelberg, 1948, стр. 57; J. Wright, Grammar of the Gothic language, Oxford, 1954, § 18.

[20] Ср.: W. Wilmanns, Deutsche Grammatik, 3. verb. Aufl., Strassburg, 1911, 1. Abt, § 87; К. Гълъбов, Увод в изучаването на готски, старовисоконемски, средновисоконемски и ранноновивисоконемски, София, 1953, стр. 10; М. М. Гухман, Готский язык, М., 1958, стр. 43; Б. М. Задорожний, Порівняльна фонетика і морфологія готської мови, Львов, 1960, § 123.

из того, что во всех германских языках в некоторых позициях (в том числе интервокально) фонема /x/ приобрела фарингальный аллофон [h]. Какова была дальнейшая история этого нового спиранта? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо хотя бы бегло рассмотреть общегерманские группы */aŋx/, */iŋx/, */uŋx/.

Как известно, ни в одном из названных сочетаний * /ŋ/ не сохранился и */aŋx/, */iŋx/, */uŋx/ > * /ą̄x/, * /į̄x/, */ų̄x/ [21]. Мы не знаем точно, когда произошел переход [x] > [h] между гласными, но он наверняка предшествовал аналогичному изменению после сонантов (там, где [x] вообще переходил после сонантов в [h]). Поэтому есть все основания думать, что когда гот. *weihan* «освещать» было уже ['wi: han], **þriŋhan* было еще ['θriŋxan] (ср. гот. *þreihan* «давить»). После выпадения [ŋ] и деназализации *|į̄| возникла пара ['wi: han] : ['θri: xan]. Существование подобных пар должно было привести к фонологизации фарингального спиранта и возникновению фонемы /h/ [22].

Очевидно, что описанная выше фонологизация /h/ могла иметь место лишь в том случае, если интервокальный переход [x] > [h] предшествовал выпадению */ŋ/ перед /x/. Действительно ли в III—IV вв., когда произошел переход [x] > [h], */ŋ/ перед /x/ еще сохранился? Точного ответа на этот вопрос дать невозможно. Правда, таинственное бургундское имя *Hanhavaldus* относится к V—VI вв. [23], но это уникальное имя, даже если оно записано и прочитано верно, может быть истолковано по-разному и является слишком шаткой основой для какой бы то ни было теории [24]. Однако, кроме слова *Hanhavaldus*, есть и некоторые другие данные, как будто подтверждающие сравнительно позднее выпадение */ŋ/ перед /x/ и существование в дописьменных германских диалектах как фонемы /x/, так и фонемы /h/. Мы имеем в виду материалы Е. Гамиллшега и Л. Ремакля по заимствованиям романскими диалектами отдельных германских слов. Е. Гамиллшег, изложив свои взгляды на готский Hauchlaut, указывает, что этот звук вообще не воспринимался романцами; однако он специально замечает следующее: «...в противоположность общему правилу в романизованной форме слова * *tâhanjan* звук *h* передавался через *-k-* точно так же, как и старое западногерманское *h*, пока оно еще было глухим велярным спирантом. Звук *h* в * *tâhanjan* восходит к *-nh-*. По Клуге (Urgermanisch, § 51), *n* перед *h* еще произносилось в эпоху германо-романских контактов; это *n* прослеживается по германским заимствованиям в финском и вызывает назализацию и удлинение предшествующего гласного в отдельных германских языках. В то время, когда звук *h* в готском *faihu*, например, превратился в Hauchlaut, в * *tanhu*, после согласного, он еще оставался велярным согласным и был соответственно услышан романцами как *ch* и заменен на *-k-*. Если это правильно, то в языке готской библии *h* в интервокальном положении могло произноситься по-разному в

[21] Диакритический знак под гласным обозначает назализацию.

[22] Следует отметить, что аналогия с современными немецкими словами типа *manche*, где после /n/ стоит не /x/, а /ç/, не имеет отношения к готскому состоянию: в готском **þriŋxan* не могло иметь палатального спиранта после */ŋ/, так как, во-первых, существование в готском среднеязычного щелевого аллофона у /x/ сомнительно (ср.: F. Kluge, Die Elemente des Gotischen. Eine erste Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft, 3. Aufl., Strassburg, 1911, стр. 32—33), а во-вторых, и в немецком /ç/ после /n/ (из /x/) обязан своим существованием выпадению серединного /i/ и последующей фонологизацией [ç] (ср.: Л. Р. Зиндер, Ich-Laut, «Уч. зап. [1-го ЛГПИИЯ]», I, 1940, стр. 76—78; H. Lüdtke, Deutsche /x/ und /ç/ in diachronisch-phonologischer Betrachtung, «Phonetica», IV, 4, 1959, стр. 178—183).

[23] См. об этом имени: M. Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, Heidelberg, 1911, стр. 126.

[24] См.: «Сравнительная грамматика германских языков», стр. 134.

зависимости от того, восходило оно к индоевропейскому *-k-* или *-nk-*»[25]. Предположение Е. Гамиллшега получило дополнительное подтверждение в работе Л. Ремакля. Л. Ремакль изучал историю фонемы /h_2/ (негерманского происхождения) в валлонском диалекте, но попутно рассмотрел и германское /h/. Германское /h/ сохранилось в Арденнах как Hauchlaut перед гласными и перед начальным /n/; перед /l r/ оно давало /f/, а в собственных именах — /k/; между гласными оно регулярно исчезало, но сохранилось в словах *tahon* «кухонная утварь; глиняный сосуд» (то же слово, которое приводил Е. Гамиллшег) и *tahant* «луна на ущербе». Этимологически оба слова восходят к франкским формам с интервокальным заднеязычным спирантом (ср. параллельные готские формы *þâgô* «глина» и *þeihan*‖ ст.-франц. *tehir* «расти»[26]). Если мы учтем, что первый приток германских слов в Арденнах имел место между III и V вв.[27], то данные Е. Гамиллшега окажутся в точном соответствии с материалами Л. Ремакля.

Слов, приведенных в доказательство того, что общегерманский (и готский) знал фонему /h/, ничтожно мало, и было бы неразумно настаивать на существовании этой фонемы, но возможность фонологически релевантного противопоставления /x/: /h/ еще в III—IV вв. не исключена, и ее следует принимать во внимание в сравнительно-исторических исследованиях. Минимальных пар типа готских *-ūh*[-h] (энклитическая частица): *jūhiza* [-x-] «моложе», *weihan* [-h-] «освящать»: *þreihan* [-x-] «давить» — было, очевидно, не много[28], но если этих пар было достаточно для фонологизации /h/ как новой самостоятельной фонемы, то дальнейшую поддержку должны были оказать ей те позиции, где она встречалась в языке, даже не будучи противопоставленной /x/ (как известно, /h/ часто встречался в начале слов). Впоследствии, когда /h/ стало возможно и на конце слов, возникли противопоставления типа *jah*[-h] «и»: *dag* [-x] «дня»[29]; следует также имет

[25] E. G a m i l l s c h e g, Romania Germanica, Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Römerreichs, II, 3, Berlin — Leipzig, 1934, стр. 43.

[26] L. R e m a c l e, Les variations de l'*h* secondaire en Ardenne liégeoise. Le problème de l'*h* en liégeois, Paris, 1944, стр. 65. Подробную историю германского /h/ в восточноваллонском диалекте дает Л. Ремакль в XI гл. своей книги и С. Неймайер (S. N e u m a i r, Das *h* im Französischen, München, 1929, § 104)

[27] L. R e m a c l e, указ. соч., стр. 65.

[28] При этом следует отметить, что история /āx/ составляет особую проблему. Так как в готском не было /ā/ до преобразования группы */aŋx/ > * /ąx/ > /āx/, то противопоставления /āx/ : /āh/ не возникло, а противопоставление /āx/ :/ah/ не могло бы привести ни к фонологизации долгого гласного, ни к фонологизации фарингального. М. М. Гухман сравнивает гот. *fāhan* «ловить» с *faheþs* «радость» (М. М. Г у х м а н, Готский язык, стр. 52; ср. е е ж е, Соотношение фонологии и фонетики в сравнительно-исторических исследованиях. «Вопросы германского языкознания. Материалы Второй научной сессии по вопросам германского языкознания». М.— Л., 1961, стр. 112), но минимальной пары здесь нет, так как противопоставляются /āx/: /ah/. Возможно, что /h/, фонологизовавшееся в основном благодаря парам типа *weihan* : *þreihan*, стало восприниматься как самостоятельная фонема и здесь (см. рассуждения, приведенные ниже в данной статье), но для возникновения /ā/ нужны были дополнительные условия. Такими условиями в готском могли быть заимствования с суффиксом *-āris* (Ср. М. М. Г у х м а н, Готский язык, стр. 54).

[29] Произношение таких слов, как гот. *jah*, *dag*, обсуждалось неоднократно. Как известно, гот. /b d g/ чередуются на конце слов и перед /s/ с глухими спирантами, причем *b* и *d* чередуются и в орфографии готской библии с *f* и *þ*. Но для обозначения /x/ в словах *dag*, *dags* и пр. Вульфила никогда не писал *h*. Предполагается, что *h* не писалось в *dag*, *dags* по той причине, что эта буква передавала на концах слов [h], а не [x] (H. P a u l, Zur lautverschiebung, PBB, I, 1874, стр. 152, а из фонологов: W. G. M o u l t o n, The phonemes of Gothic, «Language», 24, 1, 1948, стр. 79, примеч. 15; е г о ж е, Stops and spirants..., 7; H. P e n z l, Orthography and phonemes in Wulfila's Gothic, JEGP, XLIX, 2, 1950, стр. 221). К аналогичным выводам пришел и Т. Гринбергер, анализировавший фразу из Алкуиновой рукописи *jah libaida* с латинским комментарием *ubi aspirationē. ut dicitur* (Th. v o n G r i e n b e r g e r, Die germanischen Runennamen, PBB, XXI, 1896, стр. 197). Ассимилированные формы *jaββe jabbrusts* толковались

в виду, что на каком-то этапе развития германских языков фарингальный спирант появился перед сонорными, а вместе с ним и такие пары, как гот. *hrains* [hr-] «чистый»: *hūhrus* [-xr-] «голод» (в последнем слове /x/ <* /ɳ/) [30].

Изложенная в данной работе теория сводится, как мы видели, к следующему: у герм. /x/ возник интервокальный аллофон [h]; выпадение * /ɳ/ перед /x/ и последующая деназализация долгих привела к тому, что в некоторых словах снова появилось интервокальное [x] (причем между теми же гласными, что и [h]), в результате чего [h] фонологизовалось и возникла фонема [h].

С точки зрения фонологической теории ряд звеньев этого процесса требует особого рассмотрения.

1. Мы ничего не знаем, п о ч е м у у германской фонемы /x/ появился новый аллофон. Его возникновение никак не объяснено. Но зато существует вполне сложившееся мнение о том, к а к протекал процесс, приведший к замене велярного спиранта фарингальным. Во многих работах, описывающих переход [x] > [h], мы найдем фразу об о с л а б л е н и и германского спиранта. Однако неясно, почему следует считать [h] ослабленным [x]. Как известно, главное в фонеме /x/ это то, что она велярный спирант. Фонологическая характеристика /h/ до сих пор вызывает затруднения. Не установлено даже, гласный это или согласный [31]. Исследование фарингального спиранта как звука речи, а с недавнего времени и как контрастной единицы языка не дало однозначных результатов, но, насколько можно судить по работам фонетистов, звук [h] типа германского Hauch-Laut'a — это фарингальный спирант, произносимый с некоторым сужением голосовой щели [32]. Так как ширина голосовой щели нерелевантна для /x/, то очевидно, что релевантная разница между /x/ и /h/ состоит лишь в месте образования трения: /x/ — велярный спирант, а /h/ — фарингальный, и в этом смысле можно сколько угодно ослаблять [x]; от этого оно не станет [h]. Поэтому заблуждались те германисты, которые считали, что между германскими велярным и заднеязычным спирантами можно реконструировать ряд промежуточных ступеней и что в готском, например, мы находим одну из этих промежуточных стадий [33]. Звук [h] не слабее, чем [x]; [h] регулярно появляется в результате перенесения щели в верхнюю часть гортани, и при этом неизвестно даже, является ли тому причиной (с фоне-

---

диаметрально противоположно разными исследователями (ср.: W. G l i e s e, Kurze Einführung in das Studium des Gotischen, Heidelberg, 1900, стр. 5; E. G a m i l l s c h e g, Romania Germanica, II, стр. 43; F. M o s s é, указ. соч., стр. 39, 58; J. W r i g h t, указ. соч., § 18). По всей видимости, Г. Пауль был прав, читая *jah* с [h], а *dag* с [x]. Парам такого типа придают особое значение авторы «Сравнительной грамматики германских языков» (стр. 54—55), однако эти пары существенны лишь для готского и позже для древнеисландского, но не для общегерманского (О древнеисландском см.: А. И. С м и р н и ц к и й, Фонетика древнеисландского языка, М., 1961, § 35.)

[30] Нас не должно удивлять, что переводчик готской библии не обозначил по-разному /x/ и /h/, несмотря на то, что в его языке эти фонемы противопоставлялись по крайней мере в двух, а возможно, даже в трех позициях. Дело в том, что ни греческий, ни латинский, ни рунический алфавит не имели знака для велярного спиранта (ср.: Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в, Готский язык (Рукопись в архиве АН СССР, фонд 90, опись 1, № 50, стр. 85 второй тетради. О рукописи см.: В. М. Ж и р м у н с к и й, Готские *ai*, *au* с точки зрения сравнительной грамматики и фонологии, ВЯ, 1959, 4, стр. 77, примеч. 5). Что касается греч. χ, то оно к IV в. произносилось, видимо, как аффриката [kh] (E. H. S t u r t e v a n t, The pronunciation of Greek and Latin, 2-nd ed., Philadelphia, 1940, стр. 76—83).

[31] Лучшее обсуждение этого вопроса см.: K. L. P i k e, Phonetics, Ann Arbor, 1943, стр. 66—79 (особенно стр. 71—77), 141—142.

[32] См. особенно: G. M i c h a e l i s, Über das *h* und die verwandten Laute, «Archiv für das Studium der neuren Sprachen und Literaturen»..., LXXIX, 1887, стр. 49—84, 283—308.

[33] W. v a n H e l t e n, Zur gotischen Grammatik, IF, 14, 1903, стр. 74—75.

тической точки зрения) общая вялость речевого аппарата [34]. Из истории языков известно, что любой спирант может перейти в /h/ и /f/ [35], и /θ/ [36], и /s/ [37], и /ʃ/ [38]. Можно различать множество ступеней внутри самого велярного спиранта (и даже внутри Hauchlaut'a [39]), но переход [x]>[h] есть и с фонетической точки зрения скачок, и в этом скачке залог того, что фонологизовавшись, /h/ станет фонемой с другими дифференциальными признаками, чем заднеязычное /x/.

Поучительный материал для истории германского /x/ дает полемика, которую вели о Hauchlaut'е в своем родном языке голландские лингвисты. В 1943 г. А. Вердениус написал статью, в которой среди прочего высказал мысль о наличии множества промежуточных ступеней между фонемой /h/ и нулем [40]. В последовавшей затем дискуссии примечателен вывод Толленаре: «...в плане фонетическом между сильно произнесенным *h* и отсутствием *h* можно предположить множество промежуточных состояний, заслуживающих экспериментального изучения. Но с фонологической точки зрения между фонемой и нулем я не могу себе представить никаких переходов» [41]. То, что верно об отношении /h/ к нулю, тем более верно об отношении /x/ к /h/. О появлении существенно нового аллофона у /x/ можно говорить лишь тогда, когда в германских языках возник фарингальный спирант, принципиально отличный от велярного спиранта местом образования щели. Но отсюда следует, что аллофоническое изменение может быть скачкообразным. Фонологизация — всегда скачок. Что же касается субфонемного изменения, то здесь, видимо, возможны два случая: изменение происходит или постепенно (как при удлинении краткого гласного в открытом слоге), [42] или скачкообразно (как при замене заднеязычного спиранта фарингальным). В первом случае речь идет о длительном процессе, имеющем определенные хронологические рамки, во втором — о мгновенном акте, подготовленном какими-то другими изменениями в системе, но, тем не менее, представляющем собой скачок [43].

---

[34] O. von Essen, Zur Phonetik des ostwallonischen *h*, «Archiv für vergleichende Phonetik», 7, 1/2 1943—1944, стр. 60.

[35] R. Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid — Buenos Aires, Cádiz [1942], стр. 21, 104.

[36] H. M. Flasdieck, указ. соч., стр. 282; E. Rüegger, Hauchlaut statt Reibelaut, IF, LXIII, 2, 1958, стр. 164.

[37] Ch. Joret, *R* haut-normand =s(z), h, «Romania», 14 année 1885 [на титульном листе ошибочно указано 1887], стр. 285—288; C. Mahling, Über Tonvokal + *ht* im Frühmittelenglischen (Diss.), Leipzig, 1928, стр. 4; L. Remacle, указ. соч., стр. 202; E. Rüegger, указ. соч., стр. 163.

[38] A. Hull, The shift from (*š*) to (*h*) in Canadian French: a study in diachronic phonemics, «Proceedings of the linguistic circle of Manitoba and North Dacota», II, 2, 1960, стр. 20—24.

[39] Ср.: K. Kooiman, Opmerkingen over de *H* en uitweidingen over het suffixheid, «Taal en Tongval», VIII, 3—4, 1956, стр. 150—152.

[40] A. A. Verdenius, Het *H*-phoneem in het 17-de eeuwse Amsterdams, «Die nieuwe taalgids», Jaarg, 36, 1943, стр. 141—147.

[41] F. de Tollenaere, Fonologie of metrik? De *h* in Bredero's sonnet «De soele Somer», «Album Edgard Blancquaert», Tongeren, 1958, стр. 169.

[42] Ср. А. С. Либерман, К вопросу о среднеанглийском удлинении в открытом слоге (из истории фонем /e/ и /o/), «Вестник ЛГУ». Серия истории, языка и литературы, 1965, 8, 2, стр. 133.

[43] Помимо того, что изображать переход [x] > [h] как ослабление неверно с фонетической точки зрения, крайне неудачен и сам термин «ослабление», так как каждый лингвист понимает это слово по-своему. Например, Э. Прокош говорит о сильных и слабых согласных, причем данная дихотомия не совпадает у него с делением согласных на глухие и звонкие (Э. Прокош, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, стр. 40). Г. Бринкман считает, что весь первый перебой показывает ослабление артикуляции в противоположность второму (H. Brinkmann, Der lautliche Vorgang der germanischen und der hochdeutschen Lautverschiebung, «Archiv für vergleichende Phonetik», V, 1941, стр. 10—20, 77—90). К. Бругман приписывает образование гер-

2. Если в позднеобщегерманском действительно существовала фонема /h/, противопоставленная интервокальному /x/, то какова была дальнейшая история этого интервокального /x/? Как хорошо известно, именно между гласными в германских языках впоследствии никогда не встречалось велярного /x/. Причины исчезновения интервокального /x/ так же непонятны, как и причины древнейшего перехода [x]>[h]. Можно себе представить, что поскольку слов с интервокальным /x/ было немного, оно оказалось вытесненным в этой позиции фонемой /h/, в результате чего уже по отдельным германским языкам велярный и фарингальный спирант снова оказались в отношении дополнительной дистрибуции. При этом, как ни загадочно исчезновение интервокального /x/, оно не может быть представлено как продолжение того процесса, который еще в III—IV вв привел к возникновению [h]<[x]. В соответствии с изложенной в данной работе теорией, переход [x]>[h] уже з а к о н ч и л с я к моменту выпадения * [ŋ] перед /x/, и поэтому независимо от того, было ли вторичное устранение интервокального /x/ чисто фонетическим изменением или заменой одной фонемы другой, перед нами новое явление, никак причинно не связанное с предыдущим.

3. Как известно, переход германского [x] в [h] в ряде случаев предшествовал отпадению фарингального. Верно и обратное: всюду, где отпадал или ассимилировался спирант, обозначавшийся через *h*, это был фарингальный, а не заднеязычный [44]. Характерно и то, что, как показывают примеры из разных языков, какой бы спирант ни отпадал, он непременно проходит стадию Hauchlaut'a. Это обстоятельство позволяет как будто предположить, что всякое отпадение спиранта, т. е. его движение к нулю, подчиняется той же закономерности, что и любой другой диахронический сдвиг: одновременно изменяется не более одного различительного признака. В фонологических системах того типа, который представлен современными германскими языками, на пути между любым спирантом и нулем /h/ — несомненно последняя стадия [45]. По таблице Р. Якобсона, Г. Фанта и М. Халле /h/ это не гласный и не согласный [46] и обладает одним-единственным признаком, а именно напряженностью [47]. Все другие спиранты охарактеризованы гораздо полнее. Например, /ʃ/ — компактный, напряженный спирант. Возможно, для того чтобы превратиться в нуль, ему нужно потерять компактность и стать гоморганным диффузным (т. е. /s/), потом потерять консонантность и превратиться в /h/ и, наконец, утратить последнее свойство, напряженность, и перейти в нуль. Не исключено, что и ассимиляции протекают аналогично. Ср. реконструкцию Е. Гронке так называемого отпадения (а на самом деле уподобления) /k/ и /g/ в группах /kn/, /gn/ в ранненовоанглийском [48]. Если изложенные выше соображения верны, то мы получаем возможность реконструировать последовательные

манского [h] ослаблению силы трения (K. B r u g m a n n, указ. соч., стр. 708). Надо полагать, что во всех этих случаях слова «слабый», «ослабление» употреблены в том приблизительном и неопределенном смысле, который позволяет использовать их в совершенно несхожих обстоятельствах.

[44] Противоположное, но ничем не подкрепленное высказывание см. W. W i l m a n n s, указ соч., стр. 117.

[45] См. особенно: R. J a k o b s o n, On the so-called vowel alliteration in Germanic verse, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 16, 1/3, 1963, стр. 85—92.

[46] Подробнее обсуждение этого тезиса см.: C. W i t t i g, Physical and functional aspects of speech sounds, «Uppsala Universitets Årsskrift», 7, 1959, стр. 62—67.

[47] Р. Я к о б с о н, Г. М. Ф а н т и М. Х а л л е, Введение в анализ речи, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 214.

[48] E. G r o n k e, Die Anlautgruppen *kn-* und *gn-* im Neuenglischen: ein neuer Versuch zur Lösung eines alten Problems, «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», 9, 3, 1956, стр. 230—249

стадии тех процессов, которые традиционная фонетика подчас считает моментальным актом.

4. Основной задачей данной работы было описать историю фонологизации германского [h]. При исследовании мы пользовались обычными методами диахронической фонологии: выясняли дистрибуцию, искали позиции контраста и т. п. Но именно в связи с этим нельзя не вспомнить, что говорил о фонеме /h/ Н. С. Трубецкой. Н. С. Трубецкой разъяснял, что хотя /h/ и /ŋ/ в немецком языке находятся в отношении дополнительной дистрибуции, они не являются вариантами одной фонемы, так как образуют косвенно-фонологическую оппозицию: то единственно общее, что присуще этим звукам, а именно их консонантный характер, присуще не только им одним, и таким образом, не этот признак позволяет отличить их от других согласных немецкого языка [49]. Но то же самое можно сказать не только о /h/ и /ŋ/. Во всех германских языках фонема /h/ стоит особняком, и если примерно 2000 лет тому назад /h/ находилось в отношении дополнительной дистрибуции с /x/, то это не мешало им быть членами косвенно-фонологической оппозиции. Не значит ли это, что для самостоятельного функционирования фонемы /h/ вообще не обязательны противопоставления ее другим фонемам в идентичных фонетических контекстах? [50] Во всяком случае, не исключено, что условия фонологизации фарингального спиранта вообще не похожи на те условия, которые нам известны из истории возникновения других фонем [51].

---

[49] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 40—41.

[50] Такова точка зрения В. Моултона, который считает потерю велярности тем моментом, когда возникла фонема /h/, хотя [h] и [x] оставались в дополнительной дистрибуции (W. G. Moulton, Stops and spirants..., стр. 39).

[51] Настоящая статья обсуждалась на заседании индоевропейского сектора Института языкознания АН СССР в Ленинграде. Всем участникам дискуссии автор приносит искреннюю благодарность

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

А. Н. ТИХОНОВ

О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДЯЩИХ И ПРОИЗВОДНЫХ ОСНОВ

1. Между производящими и производными основами существуют тесные семантические связи. Производные основы всегда зависимы от производящих основ и структурно (если, конечно, они не утратили живых семантических связей и не оказались изолированными друг от друга [1]). Семантика производной основы опирается на семантику производящей основы и словообразующей морфемы, на значение словообразовательного типа (модели) и т. д. При этом семантика производящей основы является тем фундаментом, на котором «воздвигается» семантика производной основы.

Вопросы семантической соотносительности производных и производящих основ специально не изучались. Им уделялось некоторое внимание (обычно попутно) лишь в связи с исследованием общих проблем словообразования, семасиологии. Частично они рассматривались в работах, посвященных анализу словообразовательных функций аффиксов. В различной степени освещались или затрагивались эти проблемы в трудах М. М. Покровского, Л. В. Щербы, В. А. Богородицкого, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Ю. С. Маслова, Е. А. Земской, К. А. Левковской, Э. В. Севортяна и др. Ряд интересных наблюдений содержится в работах Б. Н. Головина, М. В. Панова, Н. Д. Арутюновой, В. В. Лопатина, Н. М. Шанского, А. В. Бондарко, Н. С. Авиловой, И. П. Мучника, Д. Н. Шмелева, Г. С. Зенкова и др.

То, что семантическая соотносительность производящих и производных основ не оказалась в центре внимания семасиологов и не стала объектом специальных исследований, отчасти объясняется, по-видимому, получившим в свое время довольно широкое распространение под влиянием авторитетных трудов М. М. Покровского скептицизмом в подходе к этой проблеме. М. М. Покровский исходил из того, что «слова, сходные или прямо противоположные по значению, друг с другом ассоциируются и проходят сходную или параллельную историю» [2]. Отсюда он делал вывод, что исследовать имеет смысл только слова, относящиеся к одной сфере представлений. Что же касается производящих и производных слов, то они не отвечают этим требованиям. На том лишь основании, что «слова производные... нередко следуют словам первичным», но не всегда «их семасиологическая судьба... параллельна судьбе слов первичных», что под влиянием

---

[1] Критерием этого является возможность объяснить семантику вторых через семантику первых. Термины «производящая основа», «производная основа» используются здесь в широком понимании, т. е. производными считаются любые образования, которые морфологически могут быть истолкованы как сочетание образующей основы с аффиксом (или какой-либо другой единицей языка, участвующей в этом процессе), независимо от того, происходит ли при этом семантическое преобразование исходной основы или нет.

[2] М. М. Покровский, Избр. работы по языкознанию, М., 1959, стр. 87.

аффикса значение корня может изменяться так, что «семантическая связь между первичным и производным» словом оказывается разорванной [3], М. М. Покровский приходит к категорическому, но неожиданному и явно ошибочному заключению. «С методологической точки зрения,— пишет он,— сложные и производные слова должны рассматриваться отдельно от первичных» [4]. По той же причине М. М. Покровский полностью отверг вполне справедливые выводы Ф. Шредера, в частности такое его положение: «Если слово изменило свое значение, то ему обыкновенно следуют слова, родственные с ним по корню и по значению; при этом, естественно, как раз производные следуют первичному, а не наоборот» [5].

Изучение разнообразных случаев проявления семантической соотносительности производных и производящих основ, которая, несомненно, носит характер закономерности [6], может пролить свет на многие нерешенные вопросы семасиологии, лексики, слово- и формообразования, грамматики [7]. Так, например, в системе глагола только после детального описания всех типов семантических соотношений, возникающих между производящими и производными основами, участвующими во внутриглагольном слово- и формообразовании, можно будет убедительно и окончательно решить такие спорные вопросы, как состав парадигмы глагола, границы глагольного слово- и формообразования, грамматическая сущность категории вида и залога и т. п.

Описание всех возможных типов лексической соотносительности производящих и производных основ необходимо и для лексикографической обработки словарного состава языка. Используемый ныне в словарях способ подачи однокоренных слов путем взаимных отсылок из-за недостаточной изученности семантики их применяется крайне непоследовательно и часто не отражает реальной семантической структуры слов. До сих пор не определены даже основные закономерности и не выявлены границы их применимости. Составители словарей не имеют теоретически обоснованной «инвентаризации» типов семантической соотносительности производящих и производных основ; не установлены типы производных основ, которые способны дублировать все значения своих производящих. И, естественно, в словарях сплошь и рядом смешиваются факты семантической с о о т н о с и т е л ь н о с т и и семантической т о ж д е с т в е н н о с т и производящих и производных основ. Основная причина — пренебрежительное отношение многих лексикографов к идее возможности семантической тождественности производящих и производных основ вообще. От этого особенно страдает подача видовых и залоговых корреляций, отглагольных имен и т. д. Очевидно, этим же объясняется тот субъективизм, который царит в разграничении явлений полисемии и омонимии в аффиксальных образованиях.

Классификация всех случаев семантической соотносительности производящих и производных основ на типы необходима для моделирования языковых конструкций. Применение данных исследования семантиче_

---

[3] Там же, стр. 90.

[4] Там же.

[5] Там же, стр. 89, ср. также стр. 114 и др.

[6] Закономерный характер семантических связей производящих и производных основ слов на материале производных прилагательных убедительно показан в работах Е. А. Земской: «Изменения в системе словообразования прилагательных» (в кн.: «Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного в русском литературном языке XIX в.», М., 1964); «Заметки по современному русскому словообразованию» (ВЯ, 1965, 3).

[7] См.: Э. В. С е в о р т я н, Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, М., 1962; е г о ж е, К соотношению грамматики и лексики в тюркских языках, сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952.

ской соотносительности производящих и производных основ поставит на более прочный фундамент теорию трансформации, которая из-за недооценки семантического фактора в формировании языковых конструкций оказалась не в состоянии преодолеть целый ряд препятствий. Думается, что прежде всего это позволит уточнить основные положения исчисления трансформаций, регулируемые (определяемые) полностью или частично семантикой.

2. Производящие и производные основы связывает не какое-то общее значение, не какая-то общая идея, заложенная в корне слова и свойственная всем однокоренным словам. Каждая производная основа возникает на базе строго определенного значения производящей основы. Семантическая общность однокоренных слов базируется на конкретных лексических значениях, свойственных производящим основам словарного гнезда.

Ср. *база* и *базовый, базировать, базироваться — базирование, базировка.* В современном русском языке слово *база* употребляется в значениях: «1. *Архит.* Нижняя, более широкая часть колонны или столба. 2. Основа, основание чего-л., то главное, на чем зиждется что-л. *Экономическая база...* || *какая.* Совокупность каких-л. материальных, технических ценностей, условий, необходимых для существования или деятельности чего-л. *Техническая база МТС. Кормовая база животноводства...* 3. Опорный пункт, место, где сосредоточены какие-л. запасы, материальные ценности, специальные сооружения для обслуживания чего-л. *Авиационная база. Военно-морская база. Туристическая база...* || Склад, место хранения товаров и пр.»[6]. Прилагательное *базовый* (*базовое имущество*) возникло на основе 3-го значения слова *база*; глагол *базировать* восходит ко 2-му значению; *базироваться*, образованный от *базировать* в значении (1) «основываться на чем-л.; опираться на что-л.», соотносится также со словом *база* в 3-м значении — обозначает «иметь что-л. в качестве базы, размещаться, располагаться где-л.». В этом значении от возвратного *базироваться* образованы *базировка, базирование.*

Слово *батарея* в САН-4 зафиксировано в 5 значениях. В 1-м значении оно образует *батареец, батарейный* (огонь), а в 3 и 4-м — *батарейка* (в карманном фонаре и в системе отопления). Слово *модель* имеет 5 значений. В 1-м значении от него образованы *модельер*, во 2-м значении — *моделист* (*моделистка*), *модельный*, существительное *модельная* (мастерская), в 5-м значении *модельщик* (*модельщица*), *модельный*. Глагол *моделировать*, который, по-видимому, усвоил 1, 2, 3 и 5-е значения слова *модель*, во 2 и 3-м значениях образовал существительное *моделировка*. Иное соотношение в терминологическом значении в лингвистике, ср. *модель — моделировать*, но: *моделировать — моделирование.* Ср. также *красный* и *краснота, краснеть, покраснеть* (*покраснение*), *закраснеться, раскраснеться* и др.; *белый* и *белизна, белеть* (*побелеть; забелеть — забелеться*), *белить* (*побелить — побелка, выбелить, набелить, забелить — забеливать — забеливаться — забелка, белиться*), *белогрудый, белотелый, белоголовый, белогвардеец, белоэмигрант* и т. п.

Таким образом, родство и структурно-семантическая общность однокоренных слов объясняется прежде всего наличием у них конкретных лексических связей, тем, что производная основа усваивает вполне определенные значения производящей основы. При этом корень слова, который играет немаловажную роль в формировании этого единства, выступает в функции своего рода «гена» — «носителя наследственности», обеспечивающего преемственность в семантике, является материальным выразителем семантической общности однокоренных слов, и, сочетаясь с различными аффиксами, нередко сам семантически преобразуется.

Не всегда бывает легко определить, на базе каких именно значений производящей основы возникла та или иная производная основа. Ср., например, ***глаз***: 1. Орган зрения (*близорукие глаза*) || Взгляд, взор (*встретиться глазами*); 2. Способность видеть; зрение (*Мартышка к старости слаба глазами стала.* Крылов). || Особая способность видения (*Зоркий глаз*). || Надзор, присмотр (*У семи нянек дитя без глазу.* Пословица); 3. Дурной глаз (... *верят в глаз, и в порчу, и в привороты.* Л. Толстой)

[6] Здесь и в дальнейшем семантическая характеристика слов дается по «Словарю русского языка» (т. I — IV) АН СССР, М., 1957—1961. Сокращенно САН-4.

и *глазеть*: смотреть на что-л. из любопытства, как на зрелище (причем продолжительно.— *А. Т.*). Как известно, объясняется это тем, что в процессе развития языка под влиянием различных (лингвистических и экстралингвистических) факторов лексико-семантические связи между производящими и производными основами могут сильно затемняться или вообще утрачиваться. Чаще всего ослабление или потеря семантической соотносительности между производными и производящими основами наблюдается тогда, когда производные основы возникают на базе метафорических значений производящих или подвергаются метафоризации в процессе словопроизводства (т. е. при образовании производной основы одновременно происходит метафорическое переосмысление производящей основы) [9]. Происходит это на фоне прочно установившихся и действующих с определенной последовательностью закономерностей семантического взаимодействия производных и производящих основ.

3. Подавляющее большинство производных основ возникает в языке на базе прямых, номинативных значений производящей основы. Прямые значения исходных (непроизводных) основ являются своего рода клеем, связывающим однокоренные слова словообразовательного гнезда и поддерживающим их семантическое родство.

Однако производные основы возникают и развиваются не только на базе прямых значений производящих основ, они усваивают и переносные значения их. Ср.: 1) *маскировать всех участников вечера* и *замаскировать всех участников вечера*; *маскировать пушки* и *замаскировать пушки*, *самолеты*; *маскировать свое смущение* и *замаскировать свое смущение*, *волнение* (те же значения обнаруживаются в *маскироваться* и *замаскироваться*); 2) *гром гремит* и *гром прогремел*; *греметь ключами* и *прогреметь ключами*; «... слава его гремела по всей России» (С.- Щедрин, Пошехонская старина) и «Во времена Екатерины слава русского флота прогремела на Черном море» (А. Толстой, Гордо реет советский флаг) — САН-4: 3) *мариновать фрукты* и *замариновать фрукты*; *мариновать дело* и *замариновать дело*; ср. также *консервировать* и *законсервировать*; *шуметь* и *расшуметься*; *звучать* и *прозвучать*, *зазвучать*. Например: а) «Глуховато звучал его голос под шум дождя» (Арамилев, На охоте); «Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно...» (Симонов, Солдатами не рождаются). Ср. «Из непроницаемо-черной мглы так же грозно и требовательно прозвучал окрик часового: „Стой! Кто идет?"» (С. Смирнов, Бессменный часовой); «Выше зазвучал голос радио, еще выше и вот высоко: „Победа будет за нами"» (Федин, Костер); б) «В его голосе звучало такое отчаяние, что у Дзержинского перехватило в горле» (Ю. Герман, Прогулка по двору); «В его голосе уже звучала уверенность» (Н. Огнев, Право полета). Ср. «В голосе батальонного комиссара прозвучала затаенная печаль» (Симонов, Солдатами не рождаются); «В голосе заведующей прозвучала досада» (там же); «Легкий юмор зазвучал в его словах, когда он заговорил о любвеобильном сердце Константина Александровича» (Юрьев, Записки).

Значительно реже производные основы образуются только на базе переносных значений производящих. Ср. *правый* в значении «консервативный, реакционный» и *править* (*поправеть*) «становиться (стать) более правым, более консервативным, реакционным»; *левый* «политически радикальный или более радикальный, чем другие; радикальный только внешне» и *леветь* (*полеветь*) «становиться (стать) более левым, более радикальным политически».

Прилагательное *левый* в переносном значении оказалось более «производительным», нежели его антоним *правый*. Возникли и закрепились в языке производные от него существительные *левизна* «левое направление в общественно-политических взглядах», *левак* «тот, кто свои антибольшевистские взгляды и действия маскирует „левой

[9] При этом метафоризация не всегда приводит к семантическому разрыву между производящей и производной основами. Ср. *вуаль* и *вуалировать* (*завуалировать*); *зверь* и *звереть* (*озвереть*), *сова* и *советь* (*осоветь*), *балда* и *балдеть* (*обалдеть*), *чума* и *чуметь* (*очуметь*), *столб* и *столбенеть* (*остолбенеть*), *дерево* и *деревенеть* (*одеревенеть*) и др. Легко заметить, что в различных случаях степень семантической декорреляции неодинакова.

фразой"», отсюда на второй ступени словопроизводства *левачество*. Появились также фразеологические обороты: *левое крыло, левый уклон, левые фразы* (ср. *правое крыло, правый уклон*) и др. В разговорно-обиходном языке прилагательное *левый* сравнительно недавно приобрело новое переносное значение, которое реализуется в таких сочетаниях, как *левый заработок* (добытый нечестным трудом), *левый рейс, левая поездка* и др. В результате этого существительное *левак* получает новое значение — «тот, кто зарабатывает нечестным путем». От него образуется глагол *левачить*. Новое значение прилагательного *левый* распространяется и на однокоренное наречие *налево*: «Выгода получилась двойная: машины, груженные песком, шли направо, а погибший лес — „налево"» (Изв. 2 VI 66). В новом значении, противоположном значению наречия *налево*, употреблено здесь и наречие *направо*.

Ср. также *ветреный* (разг.) в значении «легкомысленный, непостоянный» и *ветреник* (разг.) «легкомысленный, пустой человек», *ветреница* (жен. к *ветреник*), *ветреничать* (разг.) «вести себя легкомысленно», *ветрогон* (разг.) — синоним к *ветреник*, *ветрогонка* (разг.).

Словообразование путем использования исключительно переносных значений производящих основ охватывает целые группы слов, имеющих лексико-семантическую и структурно-грамматическую общность, и, таким образом, имеет закономерный характер. Ср. еще *звонить* «разглашать что-л., распространять какие-л. слухи, сплетничать» и *разззвонить* «разглашать, сделать известным всем, всюду» (производный глагол в других значениях не употребляется, основное значение производящего *звонить* производным не усвоено); сюда же: *трезвонить* и *растрезвонить*, *благовестить* и *разблаговестить* и т. п. Это интересное явление наиболее продуктивно в обиходно-разговорной речи.

4. Особого рассмотрения требуют факты семантического взаимодействия производных и производящих основ, относящихся к несмежным ступеням словопроизводства, и их отношение к исходной (непроизводной) основе. Производные основы различных ступеней словопроизводства, не соотносящиеся как производящая и производная основы, могут морфологически и не зависеть друг от друга. Однако в ряде случаев и в определенных типах образований между ними существуют весьма тесные семантические контакты. Ср. *слаб(ый)* — *слабе(ть)* — *ослабе(ть)* — *ослабел(ый)*, *ослабева(ть)*; *тверд(ый)* — *тверде(ть)* — *затверде(ть)* — *затвердева(ть)*; *красный* — *красне(ть)* — *покрасне(ть)*, *(рас)краснеть(ся)*; *знаком(ый)* — *знакоми(ть)* — *знакомить(ся)* — *(раз)знакомить(ся)*; *нерв* — *нервн(ый)* — *нервнича(ть)* — *(раз)нервничать(ся)*; *оде(ть)* — *переоде(ть)* — *переодева(ть)* — *переодевание* и т. п. Это дает возможность охарактеризовать производные слова второй, третьей и даже четвертой ступени словообразования через исходную (непроизводную) основу или через одну из основ, находящихся на низших ступенях. Так, в САН-4 читаем: *разззнакомиться* «прекратить знакомство, перестать быть з н а к о м ы м с кем-л.»; *ослабелый* «ставший с л а б ы м, о с л а б е в ш и м»; *покривиться* «стать к р и в ы м, изогнутым, перекошенным» (разрядка моя.— *А. Т.*).

Наличие многосторонних семантических связей у производных и производящих слов одного и того же словообразовательного гнезда создает благоприятную почву для развития явлений декорреляции. У производной основы постепенно ослабевают семантические связи с производящей основой. По мере их утраты у нее развиваются еще более тесные семантические контакты с одной из основ низшей ступени (чаще с исходной основой). Это приводит к тому, что производная основа оказывается связанной семантически с одной основой, а морфологически — с другой. По наблюдениям Е. А. Земской, расхождение производности семантической с производностью морфологической имеет место в некоторых группах производных прилагательных, наречий, существительных [10].

[10] См.: Е. А. З е м с к а я, Заметки по современному русскому словообразованию.

5. Формирование и в значительной степени даже развитие значения производных основ происходит под непосредственным влиянием семантики производящих. Семантические взаимоотношения производящих и производных основ характеризуются чрезвычайным многообразием, что, по-видимому, объясняется сложным механизмом морфологического словообразования в русском языке, тесным взаимодействием различных типов и моделей словообразования, сложными словообразовательными связями, существующими между частями речи, сильной подверженностью русского слова морфологическим изменениям и т. д. Тем не менее многочисленные случаи семантической соотносительности производящих и производных основ могут быть сведены к нескольким основным типам.

1) Производная основа связана с производящей лишь частью своих значений. Это наблюдается преимущественно при образовании одних частей речи от других, а также во «внутреннем» словообразовании частей речи (например, при образовании глаголов от глаголов, имен существительных от существительных и т. д.: *возить — привозить, увозить, завозить* и др.; *камень — каменщик, печь — печник* и др.). Отчетливо различаются здесь два случая:

а) Производящая основа имеет больший объем значений, чем производная основа, т. е. по системе значений производящая основа богаче, чем производная. Присоединение аффикса к образующей основе ведет к модификации ее значения и, как правило, делает это значение более конкретным, сужает его; естественно, у производной основы сокращается и круг сочетающихся с ней слов (в сравнении с основой производящей). Ср. ***глухой — глохнуть:*** *глухая старуха — старуха начала глохнуть; читать глухим голосом — голос глох среди песчаных холмов; раздались два глухих выстрела — выстрелы постепенно глохнут; глухой сад — сад глохнет; глухие предания — предания глохнут,* но: *глухие ставни, глухое платье, глухая осень, глухое время, глухая крапива* и т. п.; ***зеленый — зеленеть:*** *зеленые луга — луга зеленеют, зеленый от злости — зеленеть от злости,* но: *зеленое яблоко, зеленый юнец;* ***трезвый — трезветь:*** *в трезвом состоянии — пьяный стал трезветь; трезвый ум — трезветь умом,* но: *трезвый, не берет хмельного в рот, трезвое поведение.* Ср. также: *грубый — грубеть, мертвый — мертветь, старый — стареть, мрачный — мрачнеть, светлый — светлеть, бледный — бледнеть, тяжелый — тяжелеть, рыхлый — рыхлеть, черный — чернеть* и т. п. Сюда же относятся формы оценки имен существительных, имен прилагательных, наречия, образованные от прилагательных, и др. Ср. *стол* и *столик, дубина — дубинка, штука — штучка, здоровый — здоровенный, холодный — холодно* и т. п.

б) Производящая основа имеет меньший объем значений, чем производная. В производной основе развиваются новые значения, отсутствующие в производящей. Ср., например: *яд* и *ядовитый, пламя* и *пламенный, гром* и *громовой, дочь* и *дочерний, жир* и *жирный* (*жирная известь, жирная грязь, жирный тенор* — «с сильным голосом», *жирный запах, жирный заголовок, жирная черта*), *хлеб* и *хлебный, треск* и *трещать, писк* и *пищать, звон* и *звонить, звук* и *звучать, стук* и *стукнуть* (*стучать*), *свист* и *свистеть* (*свистнуть*), *треск* и *трещать, стон* и *стонать, щелк* и *щелкать* и др. Члены последних девяти пар, где имена существительные и глаголы обозначают звуковые явления, нередко соотносятся по значению во всех основных значениях, обладают общими переносными значениями.

Такое же соотношение значений наблюдается в небольшой группе видовых пар. В одной из видовых форм может возникнуть экспрессивное значение. Как известно, экспрессия часто ограничивает формообразовательные возможности слова. Естественно, очень яркие экспрессивные значения не распространяются на обе видовые формы глагола. Ср. *улыбаться* и *улыбнуться ласково,* но: «Мешки-то из склада улыбнулись» (Панферов, Бруски) — «исчезли, пропали»; *чесать* и *почесать спину,* но в значении «делать что-то с особой силой, азартностью и т. д.» употребляется только несовершенный *чесать* (*чесать трепака*).

2) Производная основа осваивает все значения производящей, но тем не менее семантически ей не тождественна, так как имеет иное «классифицирующее» значение [11]. Ср.: *багровый* (1/1) и *багроветь* (1/1), *черствый*

[11] Под термином «классифицирующее значение» здесь понимается «значение, общее для всех слов той или иной части речи, т. е. общее значение части речи. Для имен существительных — это значение предметности, для глаголов — значение процесса и т. д.» (А. Н. Тихонов, Части речи — лексико-грамматические разряды слов

(2/1) и *черстветь* (2/1), *балансировать* (3) и *балансирование* (3), *брататься* (2/1) и *братание* (2/1), *бренчать* (2/1) и *бренчание* (2/1), *дублировать* (3) и *дублирование* (3), *калибровать* (2) и *калибрование* (2), *чистить* (5/3) и *чистка* (5/3), но: *кидать* (4) и *кидание* (3), *катать* (9) и *катание* (7) [12]. Тесная семантическая связь, которая свойственна глаголам и производным от них отглагольным именам в подавляющем большинстве случаев, дала повод некоторым лингвистам объединять их в одну лексему. Так, А. М. Пешковский склонен был рассматривать их как члены одного парадигматического ряда [13].

По мнению С. И. Ожегова, соотношения типа *устранить — устранение* входят в один ряд явлений вместе с залоговыми и видовыми корреляциями, которые он объединял под названием «лексико-грамматические категории» [14], не обращая должного внимания на то, что производные члены залоговых и видовых корреляций могут дублировать (и в подавляющем большинстве случаев дублируют) все лексические значения своих производящих. Кроме того, они (члены залоговых и видовых корреляций) функционируют как формы одного слова, представляя в разных языковых ситуациях один и тот же глагол, имеют одно и то же «классифицирующее» значение. Что же касается отглагольных имен, то они не обладают этими свойствами и не имеют таких важнейших категорий глагола, как вид, время, залог, наклонение и т. п., которые только и делают те или иные образования глаголом, позволяют включать их в состав словоформ глагола. При определении места отглагольных существительных среди глагольных образований необходимо учитывать и другие моменты. Как справедливо отмечает М. В. Панов, «основная причина, которая не позволяет *-к(а)*-образование ввести в пределы глагольной лексемы, это нестандартность значений у большого числа этих образований. Слова *сходка*, *записка*, *загородка* и пр. имеют не процессуальное, а предметное значение; слова *вышивка*, *наклейка*, *замазка*, *надстройка*, *выписка* и процессуальное, и вещественное; *переброска*, *побелка* — только процессуальное» [15]. Однако, по мнению М. В. Панова, «они ближе к тому, чтобы преодолеть порог этих глагольных лексем» [16].

По наблюдениям М. В. Панова, полная семантическая соотносительность развивается также в парах типа *скорый — скорость*, *глубокий — глубина* и т. п. Он пишет: «У большинства таких пар существительное сохраняет объем значения соотносительного прилагательного, и лишь у меньшей части отприлагательных существительных суффиксы *-ость*, *-ин(а)*, *-изн(а)* и пр. преобразуют значение основы, расширяя его» [17]. Вообще в русском языке нет ни одной группы слов, в которых относящиеся к разным частям речи производящие и производные основы имели бы полную семантическую соотносительность и тем более дублировали бы и «грамматические свойства» друг друга. Речь может идти здесь только о том, какая груп-

---

«Вопросы теории частей речи на материале языков различных систем. Тезисы докладов», Л., 1965, стр. 29). Применяемый некоторыми исследователями термин «категориальное значение» для выражения этого же значения вряд ли можно считать удачным, так как он допускает и иное понимание — «значение, присущее той или иной грамматической категории».

[12] Цифры в скобках обозначают количество значений: в числителе — основные значения, в знаменателе — оттенки значений.

[13] В парадигму глагола включают отглагольные имена существительные и некоторые чешские языковеды. См., например: Ф р. Т р а в н и ч е к, Грамматика чешского литературного языка, ч. 1, М., 1950.

[14] С. И. О ж е г о в, Вопросы лексикологии и лексикографии, «Труды [Ин-та языка и лит-ры АН ЛатвССР]», II, Рига, 1953, стр. 113.

[15] «Русский язык и советское общество» (проспект), Алма-ата, 1962, стр. 33—34.

[16] Там же, стр. 32.

[17] Там же, стр. 29.

па слов имеет большую регулярность в семантической соотносительности производящих и производных основ и где ярче выражена тенденция к воспроизведению всех (или большинства) значений производящей основы основой производной.

3) Производящая и производная основы могут быть семантически тождественными. Семантическая идентичность производящих и производных основ обеспечивается не только тем, что последние дублируют все лексические значения первых, но и тем, что у них совпадают классифицирующие значения. Сюда относятся видовые и залоговые основы глагола. Ср. *делать — сделать*, *делаться— сделаться*; *строить — построить*, *строиться — построиться*; *открыть* (8) — *открывать* (8), *открыться* (7/5) — *открываться* (7/5); *открутить* (2/1) — *откручивать* (2/1), *открутиться* (2/1), — *откручиваться* (2/1); *отбить* (10/5) — *отбивать* (10/5), *отбиться* (4/2) — *отбиваться* (4/2) и т. п.

Такая же картина наблюдается во многих транзитивных парах типа *гаснуть* (*погаснуть*) — *гасить* (*погасить*), *гибнуть* (*погибнуть*) — *губить* (*погубить*) и т. п. Семантическая тождественность членов подобных корреляций вытекает из их сочетаемости с одним и тем же кругом слов. Так, все четыре члена корреляции *гаснуть* (*погаснуть*) и *гасить* (*погасить*) сочетаются со словами: 1) *огонь*, *печь*, *камин*, *папироса*, *спичка*, *костер*, *самовар*, *пожар*, *трубка* и т. п. (все, что горит); 2) *луч*, *закат*, *заря*, *луна*, *звезды*, *солнце*, *небо*, *прожектор* и т. п. (все, что светит); сюда же: *блеск*, *свет*, *отсвет*, *румянец*, *краски* и т. п.; *взор*, *глаза очи* и т. п.; 3) *звук*, *шум*, *шорох*, *крик*, *шипение*, *смех*, *разговор*, *песня*, *гул*, *шаги*, *голоса* и т. п. (слова, обозначающие звуковые явления); 4) *чувство* (*чувство любви*, *чувство мести...*), *любовь*, *боязнь*, *гнев*, *радость*, *улыбка*, *веселье*, *зависть*, *охота*, *желание*, *надежда*, *печаль*, *тревога*, *скорбь*, *обида* и т. п. (о чувствах, переживаниях); *вражда*, *ссора*, *распри*, *недовольство*, *скандал*, *война*, *негодование* и т. п.; *раздражение*, *возбуждение* и т. п.; 5) *скорость*, *сопротивление*, *напряжение*, *колебание*, *инерция* и т. п.; 6) *сознание*, *память*, *мысль*, *ум* и т. п.; 7) *жизнь*, *человек*, *он*, *она*, *мать*, *сын*, *династия*[18] и т. п.

Составители словарей, к сожалению, на это не обращают должного внимания, и реальная семантическая структура таких образований в словарях искажается. Так, в семнадцатитомном академическом словаре русского языка *гаснуть* зафиксирован в 2 значениях, *гасить* — 3, *погаснуть* — 3/3, *погасить* — 6. Различно содержание каждого из значений. Бросается в глаза отсутствие однотипных формулировок, значений и точных границ между ними. При обработке материала авторы, видимо, не ориентировались на возможность параллелизма в значениях видовых основ, а также основ, противопоставленных по переходности — непереходности и залогу.

Однако, говоря о лексической тождественности видовых (и залоговых) основ, не следует забывать о том, что закономерность эта, лежащая в основе категории вида и управляющая остальными семантическими процессами в системе глагола, не охватывает всех имеющихся в языке образований. Влияние лексики на виды настолько сильно, что грамматика не всегда преодолевает его: в языке то и дело появляются корреляции, члены которых соотносительны не во всех значениях. Несмотря на это, главным и определяющим в семантической характеристике видовых основ является исключительно активная тенденция к сохранению лексической тождест-

[18] При установлении круга существительных, сочетающихся с изучаемыми глаголами, использованы данные всех имеющихся словарей, материалы ленинградской картотеки словаря современного русского языка, а также наблюдения автора.

венности. Именно поэтому, как правило, каждое новое значение глагольной лексемы распространяется на обе видовые формы — как на основу несовершенного, так и на основу совершенного вида. Например, употребление несовершенного *голосовать* в значении «поднимать руку, останавливать проходящие попутные машины с целью доехать на них до нужного места» привело к тому, что в этом значении возник и совершенный *проголосовать*. Примеры подобного типа легко умножить; достаточно сослаться на историю всех многозначных глаголов, образующих видовые пары.

*

Подводя итоги, следует отметить, что каждая из рассмотренных закономерностей имеет свою сферу действия. Это или группы слов, объединенные исключительно по семантическим признакам («по сферам представлений»), или группы слов, выделяемые на основе структурно-грамматических и семантических признаков. Типы семантической соотносительности производящих и производных основ имеют различную регулярность, которая зависит не только от лингвистических, но и от экстралингвистических факторов, от их сложного взаимодействия, что проявляется по-разному в пределах одной и той же части речи. Как показывают наблюдения, по семантической структуре глагольные основы отчетливо противопоставлены именным основам. Глагольные основы семантически более емки, чем именные, они обладают самой сложной семантической структурой. Это сказывается как на внутриглагольном словообразовании, так и на словообразовательных связях глагола с другими частями речи. Производные глагольные основы воспроизводят полисемию производящих основ с большей регулярностью, чем основы именных частей речи. В свою очередь отглагольные образования — производные отглагольные существительные, прилагательные и др.— имеют очень тесные семантические связи с своими производящими (глагольными основами).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

Г. Е. КОРНИЛОВ

О ТИПАХ ТОПОНИМОВ В АГГЛЮТИНАТИВНЫХ ЯЗЫКАХ

§ 1. Выделение типов топонимов представляет несомненный общетеоретический интерес уже в плане создания универсальной теории языка. Проблема имеет и чисто практический аспект. Количество топонимов, функционирующих в отдельных языках, очень велико, и, например, рекомендации по их транслитерации и транскрипции целесообразнее давать по отношению к целым группам имен, представляющих собой определенный тип. При этом представляется возможным выделение типов в функционально-синхроническом плане без учета былой реальной истории каждого отдельного топонима [1], не упуская, однако, из виду структуру имени, наличие апеллятивов и соответствие их обозначаемым реалиям.

§ 2. В качестве первого типа, возможно, наиболее древнего по образованию, рассмотрим географический номенклатурный термин в топонимическом употреблении.

Собственно, это апеллятивы, в исконности топонимического употребления которых в качестве собственного имени (далее — СИ) без дифференцирующих определений (или иных по функции элементов) не приходится сомневаться. Ср.:

Эрзя-мордовский язык. *Potma* < *potma* «мелкий кустарник»; *Vir'* < *vir'* «большой лес»; *Lej* < *lej* «речка» [полевые материалы автора (далее — Пма) — с. Войкино ТАССР].

Башкирский язык. *Elga* < *jylγa* «речка»; *Uzen'* (три притока р. Белой на Южном Урале) < *üʒən* «дол(ина)»; *Susak* < *susak* «сопка, холм» (Пма).

Татарский язык. *Čišma* < *čišmə* (левый приток р. Демы, бассейн р. Белой) «родник; ручей» (Пма — БАССР, д. Яшильча ТАССР); *Bŏlŏn* < *bŏlŏn* «поле»; *Ineš* < *inəš* «маленькая речка» (Пма — д. Верхняя Кондрата ТАССР).

Чувашский язык. *Əšne* (Пинер Айгиши), *Šna* (Торханы), *Šn'a* (Малое Карачкино), *Əšnɛ* (Большие Яныши) < *əšnɛ* «росчисть, поляна в лесу» [2]; *Jüš(ə)* < *jüš(ə)* «болото, трясина» (в сс. Сеткасы, Панклеи, Старак, Шинер-Ишаки, Кошелеево ЧАССР — Пма; Сл. Ашм. V, 37).

Число приведенных примеров можно увеличить (в том числе — за счет привлечения других родственных и неродственных языков). Однако следует иметь в виду, что не любое СИ, являющееся географическим номенклатурным термином и функционирующее в качестве топонима, можно считать относящимся к данному типу, а только то СИ, значение соответствующего апеллятива которого отражает обозначаемую реалию; т. е.

[1] Тем не менее, подобного рода классификация имеет известное значение и для изучения топонимов в плане их происхождения: соответствие «реконструируемого» топонима реально зафиксированному типу — один из критериев правильности реконструкции.

[2] Н. И. Ашмарин, Словарь чувашского языка, I—XVII, Казань — Чебоксары, 1928—1950 (далее — Сл. Аш.); IV, стр. 94, 95; XVII, стр. 384, 385. Материалы этого словаря фиксируют более 50 аналогичных топонимов.

названия болот *Šor* < чуваш. *šor* «болото» или *Saz* < тюрк. *saz* «болото» имеют прямое отношение к названному типу, а название поля на земле д. Егоркиной (Йакуркел) *Sor* (Сл. Ашм. XVII, 228) сюда не относится (поскольку обнаруживает очевидное несоответствие реалиям, причины которого находятся вне области наших интересов).

Среди топонимов данного типа особо могут рассматриваться те из них, которые осложнены аффиксами, хотя топонимическое или апеллятивное употребление их, как правило, не имеет никаких различий[3]. Ср. к примеру:

Татарский язык. Название пчельника *Umartalyg* < татар. *umartalyg* «пчельник» (Пма — д. Верхняя Кондрата ТАССР); название дубравы *Imənnʒ̂k* < татар. *imənnək* «дубрава» (Пма — д. Красный Баран ТАССР); название березняка на болоте *Kajenlʒ̂k* < татар. (местный говор) *kajenlʒ̂k* «березняк» (Пма — д. Кульбаево Мараса ТАССР).

Чувашский язык. Название луга *Ulʒ̂x* < чуваш. *ulʒ̂x* «луг»[4] (Пма — сс. Нижнее Качеево, Альшеево, Ишлеи); название поляны *Uślʒ̂x* < чуваш. *uślʒ̂x* «поляна» (Пма — д. Пизинеры).

Также необходимо отметить чрезвычайно скудный репертуар аффиксов в топонимах рассматриваемого типа — наши чувашские материалы помимо *-lʒ̂x* (*-ləx*) фиксируют еще только аффиксы *-sar* (*-sor*, *-sur*) и *-εš* (*-aš*), и то в единичных случаях. Сказанное позволяет говорить об однообразии и скудости аффиксации как об особенности рассматриваемого топонимического типа на тюркской почве; эта особенность ярко выделяет тюркскую топонимию на фоне русской, «основная специфическая черта» которой (как и вообще славянской) — господствующая аффиксальность[5].

Заканчивая рассмотрение первого типа, необходимо отметить, что он одинаково характерен как для микро-, так и для макротопонимии (и вообще подразделение топонимов в зависимости от величины обозначаемых объектов для нашей классификации существенного значения не имеет). Для многих хакасов и тувинцев *kεm* (*xεm*, *käm*) означает «река» и одновременно «река Енисей»[6]: для якутов *örüs* «большая река» и одновременно «река Лена»; для чувашей *aʒ̂l* «большая река» и одновременно «река Волга»; для селькупов *ķvaj* «большая река» и одновременно «река Обь»; для монголов *mörön* «большая река» и одновременно «река Мурен»; для ненцев *mar* «город» и одновременно «город Нарьян-Мар»; др.-перм. **jug* «река» и одновременно «приток р. Сухоны (бассейн Северной Двины)»[7], для мансийцев *n'or* «зубчатая гора» и одновременно «Уральские горы».

Материалы наших экспедиций показывают, что возникновение топонимов рассматриваемого типа связано в основном с различного рода исключительностью обозначаемых ими реалий, в силу чего «дифференциация»,

[3] В славянских языках подобное разграничение или уже существует или только намечается (см.: В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья, М., 1962).

[4] Ср. В. Г. Егоров, Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении, ч. I, Чебоксары, 1954, стр. 135; Л. З. Будагов, Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, I, СПб., 1869, стр. 156.

[5] В. А. Никонов, Славянский топонимический тип, «Географические названия», М., 1962, стр. 21 («Вопросы географии», 58).

[6] Ср. др.-инд. *kam* «вода», удм. *kăm* «река» и «река Кама», др.-перм. *kam* «река», возможно, сюда же чуваш. *xum* ~ *xom* из ** kam-* «волна, движение воды волнами» и т. д. См. об этом слове: L. Hambis, Notes sur Käm nom de l'Yenissej supérieur, JA, CCXLIV, 3, 1956, а также: W. Tomaschek, Die Culturzustände der Jenisseier, «Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien», XVIII, Wien, 1880, стр. 63; M. A. Castrén, Nordische Reisen und Forschungen, V — «Kleinere Schriften», hrsg. von A. Schiefner, St.-Pb., 1862, стр. 120.

[7] Ср.: А. К. Матвеев, Субстратная топонимика русского Севера, ВЯ, 1964, 2, стр. 75.

уточнение при названии реалии как бы оказываются излишними. Слова, которые служат собственным именем солнца, на всех языках стоят на грани между СИ и НИ (нарицательным именем). Тем не менее, иногда вызывает немалые затруднения определение того, какое значение — топонимическое или апеллятивное — у данного слова в данном языке является первичным. Например, слово *ad̯ə̂l* (*at̯ə̂l*) в чувашском языке не имеет сколько-нибудь ощутимых этимологических связей с другими именами, и апеллятивное употребление его в значении «большая река» может быть вторичным.

Таким образом, топонимы рассматриваемого типа могут быть выделены последовательно и без особых затруднений: свойство «быть СИ» [8] здесь предельно минимально и выражается исключительно в устойчивом соотнесении нарицательного географического термина с конкретным географическим объектом при нулевом грамматическом оформлении этого соотнесения и чисто апеллятивном указании на категориальность соответствующего объекта.

§ 3. Второй тип топонимов в агглютинативных языках представлен атрибутивной синтагмой с отвечающим реалиям географическим номенклатурным термином в определяемой части.

В число названий этого типа, таким образом, название оврага *Mə̂n śyrma* < чуваш. *mə̂n śyrma* «большой овраг» войдет, а название села *Mə̂n śyrma* «Большой овраг» (Урмарский р-н ЧАССР) без дополнительных элементов, указывающих, что это именно название села,— не войдет.

Главной качественной особенностью данного типа по сравнению с предыдущим будет более высокая степень свойства «быть СИ», обусловленная более высокой степенью индивидуализации в результате наличия дополнительных дифференцирующих определений, грамматически оформляющих соотнесение имени с отдельным объектом. В то же время свойства «быть СИ» здесь далеко не исчерпаны в связи с полным или частичным наличием соответствующих апеллятивов, понимаемых в широком лингвистическом смысле.

Если исходить при классификации исключительно из степени свойства «быть СИ», то топонимы данного типа следует рассматривать по группам:

1. Оба члена синтагмы включают в себя отвечающие реалиям апеллятивы: татар. *Jakty kül* < *jakty kül* «светлое озеро», т. е. низшая для данного типа степень свойства «быть СИ».

2. Оба члена синтагмы имеют апеллятивы, но определяющий член не соответствует реалиям (в случае несоответствия реалиям определяемого члена название уже лежит за пределами данного типа): чувашский населенный пункт называется *Və̂rman kas(sy)* < *və̂rman kas(sy)* «Лесной выселок», тогда как на много верст вокруг нет ни единого дерева, т. е. средняя степень свойства «быть СИ».

3. Определяющий член синтагмы не имеет апеллятива (субстрат, адстрат, суперстрат, архаизм и т. д.), а, значит, и не отвечает реалиям: чуваш. *Kuguner śyrmi* «Кугунерский овраг» [то, что этот топоним можно этимологизировать из марийск. *kugu eñer* «большая (магистральная) речка», для нашего случая не может иметь какого-либо значения], т. е. высшая для данного типа степень свойства «быть СИ». Возможны и еще более подробные градации (например, случай, когда определяющий член выражает через антропоним реальную принадлежность реального объекта реальному лицу), но их анализ не входит в наши задачи.

[8] О возможности разграничения топонимов по степени развития свойств «быть СИ» см.: В. Н. Топоров, Из области теоретической топономастики, ВЯ, 1962, 6; его же, Некоторые соображения в связи с построением теоретической топономастики, сб. «Принципы топонимики», М., 1964, стр. 13.

Обращает на себя внимание однообразие средств связи между определяемым и определяющим компонентами. Обычным является использование способа порядка следования (определение, затем — определяемое) без какого-либо дополнительного оформления. Ср. примеры:

Коми язык. *Lymva* (*lym* «снег», *va* «вода, река»); *Makarib* (*Makar* «Макар», *ib* «поле»); *Kuz'ju* (*kuz'* «длинный», *ju* «река») [9].

Марийский язык. *Lombonur* (*lómbo* «черемуха», *nur* «поле»); *Koraksola* (*korak* «ворона», *sola* «село»); *Muzoeñer* (*múzo* «рябчик», *eñer* «речка»).

Башкирский язык. *Hyjyrjylγa* (*hyjyr* «корова», *jylγa* «река»); *Kujantau* (*kujan* «заяц», *tau* «гора»); *Tašuz'ak* (*taš* «камень», *uʒə̂k* «ложбина»).

Монгольский язык. *Xojtgol* (*xojt* «северный», *gol* «река»); *Хара-Мурэн* (р. Амур) (*xar* «черный», *mərən* «большая река»); *M'angan-búluk* [*miañga(n)* «тысяча», *buļļuk* «родник»] [10].

Сюда же относятся и синтагмы, образованные: а) сочетанием имени прилагательного-определения с именем существительным-определяемым, типа: коми-зырян. *Kuz'jöl* «Длинный ручей»; марийск. *Kugurém* «Большая (главная) улица»; башк. *Aķ hyu* «Белая вода»; б) сочетанием именных или причастных определительных оборотов с именем существительным-определяемым, типа: казах. *Tokajkazgankuduk* (*Tokaj kazgan* «Токаем выкопанный», *kuduk* «колодец») [11], чуваш. *Kivkramśutśyrma* (*kiv kram śut* «пригорок старой межи», *śyrma* «овраг; речка»).

Для этого типа синтагм довольно употребительным является использование способа изафетной связи с подразумевающимся оформлением определяемого компонента аффиксом принадлежности 3-го лица *-i*, *-ə* (соответственно татар. *-y*, *-sy*; якут. *-lāx* с фонетическими вариантами [12] и др.): *Kiremet śyrmi*, где *kiremet* «злое божество киреметь», *śyrma* «овраг; речка», *-i* — аффикс принадлежности 3-го лица. В качестве определяющего же компонента могут функционировать имя или причастие и теоретически любое количество связанных между собой именных или глагольных (в том числе образующих предикативную синтагму, т. е. предложение) словосочетаний [13].

Определяемая часть за немногими исключениями одночленна, зато определяющая часть, по нашим подсчетам, произведенным по списку более двух тысяч названий оврагов (*śyrma*), одночленна менее чем в 50% случаев.

---

[9] Е. И. Попова, Основные типы коми-зырянских топонимов, «Вопросы топономастики», 1, Свердловск, 1962, стр. 20 (приводимые ниже коми-зырянские сопоставления также почерпнуты из этой статьи); А. К. Матвеев, К проблеме происхождения севернорусской топонимики, «Вопросы финно-угорского языкознания», М.— Л., 1964, стр. 190.

[10] Ср.: В. А. Казакевич, Современная монгольская топонимика, Л., 1934, стр. 10—11.

[11] Ср. анализ этого случая А. А. Абдрахмановым (сб. «Принципы топонимики», стр. 130).

[12] См. доклад К. Ф. Гриценко, Якутские топонимы на *-lāx*, «Всесоюзная конференция по топонимике СССР. Тезисы докладов», Л., 1965.

[13] О глагольных (причастных) определениях в тюркской топонимике см.: Дж. Кармышева, К классификации и транскрипции на русский язык составных географических названий Средней Азии, «Изв. АН УзССР», 1950, 5, стр. 106—107; Д. Г. Киекбаев, Вопросы башкирской топонимики, «Уч. зап. [Башкирск. пед. ин-та им. К. А. Тимирязева]», VIII, Серия филологич., 2, Уфа, 1956, стр. 242—243; А. Әбдірахманов, Қазақстанның жер-су аттары, Алматы, 1959; А. С. Битанова, Из наблюдений над казахской топонимикой Кустанайской области, «Вопросы топономастики», 1, стр. 43; Г. И. Донидзе, Глагольные топонимы в тюркских языках, «Топонимика Востока», М., 1964.

При этом можно указать, что определяющая часть каждой соответствующей синтагмы (в том числе выступающей в свою очередь в качестве определения) выражается:

1. Именем существительным, представляющим собой:

а) географический номенклатурный термин: *Avĵr śyrmi* «омут(овый) овраг»; *Otar śyrmi* «хутор(ской) овраг»; *Kül śyrmi* «озерный овраг»; всего без сомнительных случаев 189 топонимов из двух тысяч;

б) антропонимы различного происхождения: *Aktaj śyrmi* «Актаев овраг»; *Gozejew śyrmi* «Гозеев овраг»; без сомнительных — 226 случаев в указанном списке оврагов;

в) названия растений: *Vus śyrmi* «осиновый овраг»; *Xurama śyrmi* «вязовый овраг»; *Šurut śyrmi* «пырейный овраг»; всего 77 случаев;

г) названия различных религиозно-культовых (в основном языческих) реалий: *Jərəx śyrmi* «йирихов (название божества) овраг»; *Kiremet śyrmi* «овраг киреметя (злое божество)»; *Čük śyrmi* «овраг чюк (обряд жертвоприношения)» и т. д.; 54 случая;

д) названия животного: *Kəsrɛ śyrmi* «кобылий овраг»; *Upa śyrmi* «медвежий овраг»; *Mulkač śyrmi* «заячий овраг»; 48 случаев;

е) субстратный (адстратный, суперстратный) топоним различного происхождения: *Vakner śyrmi* «Вакнеров(ский) овраг»; *Pĵla śyrmi* «Буинский овраг», *Pračkav śyrmi* «овраг с. Порецкое». Всего существительное используется в целях определения более чем в 70% случаев, при этом имена личные и субстратные топонимы — более 50%.

2. Именем прилагательным: *Kəske śyrma* «короткий овраг»; *Mĵn śyrma* «большой овраг»; *Čullĵ śyrma* «каменистый овраг» и т. д., менее чем в 30% случаев.

3. Глагольными (причастными) формами с грамматически зависимыми от них словами: *Kətü kaśakan śyrma* «овраг, через который переходит стадо» (*kətü* «стадо», *kaśakan* — причастие наст. времени от *kaś-* «переходить», *śyrma* «овраг»); *Šojttan vyl'l'anĵ śyrma* «овраг, в котором забавлялся дьявол» (*šojttan* «шайтан, дьявол», *vyl'l'anĵ* — причастие прош. времени от *vyl'l'a-* «играть, забавляться»); *Upa kuran uślankĵ* «поляна, где видели (или: обыкновенно видят) медведя» (*upa* «медведь», *kuran* — причастие наст. времени от *kur-* «смотреть, видеть»). К этой разновидности топонимов относится казахское название острова в Аральском море *Barsa-kel'mes*, представляющее собой эллипсис от *Barsa kelmes aral*; переводы этого топонима «пойдешь — не вернешься»[14], «если пойдет, то не вернется»[15] нельзя признать точными: *bar-sa* и *kel-mes* по происхождению причастия, в их употреблении в функции определения к имени нет ничего необычного. Переводить *Barsa kelmes aral* следовало бы: «остров, отправившись на который (некто) не вернулся (или: не вернулись)» или же «остров, отправившись на который, (обычно) не возвращаются». В названном списке оврагов топонимы, включающие глагольные формы, составляют около 3%, они устойчивы и закономерны вопреки своей относительной малочисленности.

4. Именем числительным (в том числе в составе определений-синтагм, употребляющихся и самостоятельно): *Ikšurma* «два оврага»; *Vištüpe* «три холма»; *Tĵvat pürt jalə* «деревня четырех домов». Зарегистрированы употребления в составе топонимов количественных и порядковых числительных:

---

[14] В. А. Никонов, указ. соч., стр. 19.

[15] См.: А. А. Абдрахманов (в сб.:«Принципы топонимики»: стр. 130). Ближе к истинному перевод: «(кто) пойдет, (тот) не возвращается» (А. Гулямов, К вопросу об адвербиализации в узбекском языке, «Уч. зап. [Таш. пед. ин-та им. Низами]», вып. 2 — Филолог. сборник, 1954, стр. 4)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 30, 90, 100. Всего указанные названия составляют около 1%.

5. Местоимениями: *Kukas* «эта улица» (*ku* «эта», *kas* «улица»); *Leškas muśə̑rma* «большой овраг той улицы»; всего менее 1%. При сплошном этимологизировании это дает право допустить соответствующее число случаев объяснения с помощью местоименных апеллятивов.

Рассмотренный второй тип топонимов [16] является наиболее продуктивным и типичным как для микро-, так и для макротопонимии.

§ 4. Более всего (но также не в одинаковой степени) воплощают свойства «быть СИ» топонимы третьего типа, образующиеся путем эллиптирования определяемой части.

Рассмотрим предварительно те способы, с помощью которых образуется эллиптическая синтагма, предназначенная быть топонимом.

А. Действительное сокращение определяемого компонента (обязательно равного отвечающему реалиям географическому номенклатурному термину) по разнообразным причинам (действие аналогии, влияние языка различных документов и т. д.). Это можно проиллюстрировать случаями непереносного употребления в качестве топонима «прозрачных» антропонимов, названий животных, растений и других имен существительных, числительных, глагольных форм и т. д.; последние теоретически могут иметь при себе любое количество грамматически зависимых слов, ср.:

Коми-зырянский язык. Населенные пункты: *Dozmer* < < *dozmör* «глухарь»; *Koin* < *köin* «волк»; *Lömpu* < *l'öm pu* «черемуховое дерево».

Башкирский язык. Гидронимы: *Akberda* < *ak bərʒe* «белый хариус»; *Kalabija* < *kola beje* «саврасая кобыла»; населенные пункты: *Juzimenevo* < *joʒ imən* «сто дубов»; *Bišt'akino* < *biš təkə* «пять баранов».

Казахский язык. Населенные пункты: *Akkain* < *ak kain* «белая береза»; *Balykty* «Рыбное»; *Biesojgan* «(где) кололи лошадей» [17].

Чувашский язык. Речка *Anlə̑* «широкая» (Сл. Ашм. I, 207); деревня *Čərəp* «еж(ик)» [18], прежде название употреблялось в документах полностью: *Čirip kasy* «ежовая (может быть, по прозвищу) деревня» [19]; лес *Sunni* «тот, который горел» (Сл. Ашм. XII, 241); поле *Tə̑valli* «то, что (находится) по направлению к горе» (Пма — д. Андреевка).

Б. Перенесение имени одного объекта на другой (как правило, соседний) без каких-либо формальных изменений и добавлений. Эти случаи в основном обнаруживаются тогда, когда определяемая часть представляет собой номенклатурный географический термин, не соответствующий реалиям, ср.:

Коми-зырянский язык. Населенные пункты: *Gažajag* «веселый лес»; *Mičajag* «красивый лес»; *Ručjuvom* «устье лисьей реки».

Татарский язык. Населенные пункты: *Jaña kyzyl jar* «новый красный яр»; *Kəkre jelga* «кривая речка»; *Čišme baš* «вершина родника».

Чувашский язык. Населенные пункты: *Čulkaś* «каменный брод» (с. Челкасы) (ЧАТД, 22); *Tarə̑nvar* «глубокий дол» (ЧАТД, 40); гидронимы и проч.: овраг *Sivśə̑l* «холодный родник»; поле *Mulgač śyrmi* «заячий овраг», речка *Mukšur* «моховое болото» и т. д.

---

[16] В нашей ранней работе «К вопросу о способах образования башкирских гидронимов и оронимов» («Вопросы топономастики», 1, стр. 39) к данному типу необоснованно были отнесены атрибутивные синтагмы, не имеющие в качестве определяемого члена отвечающий реалиям географический номенклатурный термин.

[17] А. С. Битанова, указ. соч., стр. 43; А. А. Абдрахманов (в кн. «Принципы топонимики», стр. 130).

[18] «Чувашская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1958 г.», Чебоксары, 1959, стр. 118 (далее — ЧАТД).

[19] Карта Чувашской АССР, изд. 1926 г., под ред. Ермакова (далее — Ерм.).

При этом если *Mə̑n śyrma* «Большой овраг» допускает толкование и как названия оврага и как названия населенного пункта, то *Śer'pü jel* «деревня сотника» можно понять только как название селения, а имея в виду протекающую через деревню речку, обязательно надо сказать *Śərpüjel šyvə* или *Śərpüjel śyrmi* «серпюельская речка». Перенос названий природных объектов с одного на другой имеет место во много раз реже, чем перенос названий природных объектов на населенные пункты и другие объекты, созданные человеком. Бесспорно, имеется немало случаев создания новых названий селений по образцу образовавшихся путем переноса; однако это не может ставить под сомнение сам способ переноса, который представляет собой один из наиболее поздних и продуктивных типов образования топонимов в рассматриваемых языках.

В. Усвоение топонимов иноязычного происхождения, когда последние приспособляются исключительно в плане изменения артикуляционно-акустической характеристики составляющих их фонем и не получают в качестве определяемого компонента соответствующих реалиям географических номенклатурных терминов. В условиях, исключающих билингвизм, эти топонимы максимально воплощают в себе свойства «быть СИ» и вместе с новыми топонимами, создаваемыми по их образцу, являют собой предел, к которому стремится в своем развитии любой топоним в отдельности и вся топонимия в целом. Тем не менее, трудно представить себе топонимическую систему какого-либо живого языка, представленную исключительно именами данного типа, поскольку имеются и противоположные тенденции (переосмысление и проч.).

Г. Переосмысление старых топонимов в результате исторических изменений в фонетике, а также в целях укрепления формальной и смысловой связи между определяемым и определением, поскольку эта связь могла быть поколеблена изменениями в составе апеллятивов, в наличности и характере реалий и т. д. Сюда же можно отнести и случаи переосмысления названий иноязычного происхождения. Процент этих случаев среди топонимов третьего типа определить трудно из-за отсутствия документальных данных. Ср.:

1. Разнообразные объекты имеют в составе своих названий элемент *śə̑kə̑r* или *śə̑kkə̑r*, который в современном чувашском литературном языке воспринимается как «хлеб(ный)»: *Śə̑kə̑r śyrmi* «хлебный овраг», *Śənə śə̑xə̑r* «новый хлеб» (выселок Новые Мамеи — Ерм. 26, ЧАТД, 55). Древнее же значение этого слова, общего для многих татарских и чувашских диалектов: «овраг, яр; небольшое понижение» сохранилось только в отдельных говорах; скорее всего и по звучанию оно не совпадало с современным словом, обозначающим хлеб.

2. В с. Голова (Колова) название местности *Xornsar aj(ə)* «местность под березняком» переосмысляется некоторыми как *xorn saraj* «березовый сарай», т. е. вместо второго — третий тип.

3. Русское название «Село Устье» сближается с чуваш. *śülevəś* «рысь, рысий» и без соответствующего реалиям номенклатурного термина дает топоним третьего типа, допуская апеллятив в чувашском языке. Ср. в Сл. Ашм. XII, 224: *Śolavə̑ś* или *Solaś*, Село-Устье в б. Аликовском р-не ЧАССР.

4. Несомненный результат переосмысления дочувашских названий — «эллиптические» имена значительных по величине рек и речек на территории ЧАССР, типа: *Apə̑rša* «бедная, жалкая, несчастная», приток р. Булы (Сл. Ашм. I, 280); *Və̑ta* «средняя», русск. *Ута*, левый приток р. Кубня [20], *Və̑rə̑m* «длинная», русск. *Урюм*, левый приток р. Кубня (КЧ, Ерм. 26); *Xər šyve* «девичья вода», русск. *Киря* (Сл. Ашм. XVII, 40).

[20] Карта Чувашской АССР. Изд. ГУГК, 1954 (далее — КЧ).

Эллипсис, так же как и предыдущие типы, характеризует и микро- и макротопонимию, но, разумеется, не в абсолютно одинаковой степени. Названия третьего типа, особенно в макротопонимии, имеют тенденцию увеличиваться в числе, о чем свидетельствуют приводимые ниже квантитативные характеристики по территории Чувашии.

За 50 лет, с 1910 по 1960 г. [21], на территории ЧАССР возрос удельный вес топонимов, образованных по третьему типу путем усвоения топонимов иноязычного происхождения (в основном — русского), на 5,6% и удельный вес топонимов, образованных по третьему типу путем добавления к не имеющему апеллятива СИ прозрачного дифференцирующего определения со значением, аналогичным: «верхний — нижний», «татарский — русский», «первый — второй», «лесной — степной» и т. д. — на 7,5%, вместе обоих типов на 13,1%. Соответственно сократился: удельный вес топонимов, образованных по второму типу, — на 12,6%, удельный вес топонимов, образованных по третьему типу путем переноса,— на 1,6%, вместе обоих типов — на 14,2% [22].

Не вдаваясь в анализ причин, породивших в совокупности указанную тенденцию, отметим несомненность самого движения топонимии от топонимов, обладавших свойством «быть СИ» в весьма незначительной (иногда условной) степени, к топонимам, обладающим максимальной степенью свойства «быть СИ». Вместе с тем, возрастание удельного веса топонимов третьего типа, образованных путем оформления «непрозрачного» СИ «прозрачным» дифференцирующим определением типа «верхний — средний — нижний», говорит о некотором стремлении к систематизации топонимического поля, которое, тем не менее, остается еще в разных отношениях дискретным [23].

§ 5. Удобства именно такого выделения топонимических типов, по крайней мере — для рассматриваемых языков, очевидны: создаются возможности последовательного членения всего топонимического поля, а также отделения методов, применяемых при изучении происхождения названий, от приемов, используемых при анализе закономерностей их функционирования; вместе с тем облегчается установление качественного и количественного своеобразия топонимии, обязанной происхождением и функционированием тому или иному языку или группе родственных языков. Предлагаемое выделение типов существенно отличается от «структурально-грамматической классификации» топонимов Ст. Роспонда [24], структурной классификации гидронимов Й. Заимова [25] и др.

---

[21] Для подсчетов использовались: «Список селений Казанской губернии», вып. 8, 9, 10, 12, Казань, 1912—1914 гг.; «Чувашская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1958 г.». Для данного случая — исключительно официальные названия селений — первый тип в документальной передаче не характерен и потому полностью игнорируется.

[22] Несовпадение процента сокращений 14,2 с процентом возрастания 13,1 за незначительностью (1,1) здесь для упрощения задачи игнорируется.

[23] В. Н. Топоров (в статье «Некоторые соображения в связи с построением теоретической топономастики», стр. 17 и далее) дает весьма интересный предварительный анализ подобных случаев. Формально это возврат ко второму типу, представленному атрибутивной синтагмой, но по существу это новый тип: определяющая часть имеет отвечающий реалиям апеллятив, а определяемая часть синтагмы приобретает некоторый оттенок номенклатурности.

[24] См.: St. Rospond, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna slowiańskich nazw geograficznych, Wrocław, 1957 («Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego». Ser. A, 58).

[25] J. Zaimow, Класификация и проблематика на водните имена, «Prace onomastyczne», 5, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961, стр. 178 Классификация, представленная в работе Лебеля (см.: P. Lebel, Principes et méthodes d'hydronymie française, Paris, 1956), преследует преимущественно цель выявления исторических напластований (в том числе разноязычных) на определенной территории.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

О. А. ЛАПТЕВА

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Для развития нашей русистики последних лет характерно несомненное оживление интереса к вопросам русской разговорной речи. На смену специального обращения к изучению различных особенностей диалога, которое особенно усилилось в пятидесятых годах [1] и строилось на фундаменте, заложенном двумя-тремя десятилетиями прежде Л. В. Щербой и Л. П. Якубинским, пришло более широкое и комплексное, более фронтальное обследование той обширной и неоднородной совокупности явлений, которую принято объединять под названием разговорной речи. Центры этого обследования возникают преимущественно на периферии, часто независимо друг от друга. Под знаком разговорной речи работают научные коллективы, выпускаются сборники, проводятся конференции. Есть признаки все большей активизации такого рода работы, хотя, несмотря на кажущийся размах, это лишь — неизбежно — самые первые шаги. Настало время оценить этот быстро накопляемый — больше по количеству выходящей литературы, нежели по результатам — опыт.

Проблематика так называемой разговорной речи включает в себя целый ряд весьма сложных в теоретическом отношении и взаимообусловленных вопросов, ждущих своей постановки и разработки на конкретном материале живого современного русского языка. Обращает на себя внимание прежде всего неопределенность самого термина «разговорная речь», связанная с нечеткостью соответствующего понятия. Плодотворная мысль акад. В. В. Виноградова о различении типа языка (антиномия: «книжный» — «разговорный») и формы речевой деятельности (антиномия: «письменный» — «устный») [2] непосредственно ведет к необходимости выяснения некоторых соотношений:

1. Разговорная речь и ее место в систе-

[1] В эти годы изучению диалога посвящалось значительное количество диссертационных работ. См., например: Т. Г. Винокур, О некоторых синтаксических особенностях диалогической речи в современном русском языке. Канд. диссерт., М., 1953; ее же, О некоторых синтаксических особенностях диалогической речи в современном русском языке, сб. «Исследования по грамматике русского литературного языка», М., 1955; М. Л. Михлина, Из наблюдений над синтаксисом диалогической речи. Канд. диссерт., Л., 1955; см. также: Н. Ю. Шведова, К изучению русской диалогической речи. Реплики-повторы, ВЯ, 1956, 2; ее же, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960, стр. 280—362; И. П. Святогор, О некоторых особенностях синтаксиса диалогической речи в современном русском языке, Калуга, 1960. Большую литературу имеет исследование особенностей диалога на романо-германском материале. См., например: Э. А. Трофимова, Приемы выражения взаимосвязи реплик диалогической речи (на материале современного английского языка). Автореф. канд. диссерт., М., 1964; Н. Т. Головкина, Повтор как стилистическое средство в различных видах и жанрах речи (на материале немецкого языка). Автореф. канд. диссерт., М., 1964; А. Т. Кривоносов, О. Л. Покацкая, О репликах-повторах в немецкой диалогической речи, сб. «Структурные особенности разговорной речи и развитие разговорных навыков и умений (Материалы 3-й Межвузовской конференции Восточной Сибири по иностранным языкам)», Иркутск, 1964, и др. Функционально-строевые особенности различных в содержательном (семантическом) плане типов диалога исследует А. К. Соловьева («О некоторых общих вопросах диалога», ВЯ, 1965, 6).

[2] См.: В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, ВЯ, 1955, 1, стр. 83 и др.

ме функционально-речевых стилей современного русского литературного языка.

2. Разговорная речь и ее соотношение с обиходно-повседневной речевой сферой.

3. Разговорная речь как форма реальной речевой деятельности современного языкового коллектива и ее соотношение с разговорным типом письменно-литературного языка.

4. Разговорная речь как особая сфера функционирования современного русского литературного языка в целом и ее соотношение с устной формой его существования [3].

В этом свете особенно нуждается в разработке общий вопрос о функционально-речевых границах и реальном составе современного русского литературного языка [4], а также тесно связанный с ним вопрос о нормативности речевых средств [5].

Как видно, содержание термина «разговорная речь», входящего в названные четыре типа соотношений, оказывается шире каждого из них, оно способно охватить одновременно несколько антиномий и потому для каждого рода исследований нуждается в конкретизации, а самый термин — в уточнении. Между тем в практике русистики последних лет им стали недифференцированно обозначать любые отклонения от кодифицированного грамматиками синтаксиса, прежде всего воплощающиеся в различных формах диалога, а также лексические элементы, интуитивно воспринимаемые как выходящие за пределы строго литературного словоупотребления. Вместе с тем в литературе часто наблюдается смешение терминов «разговорная речь» и «устная речь» [6].

Видимо, такое положение упирается в первую очередь в разнородность привлекаемого к исследованию материала, в трудности его получения, фиксации и обработки [7]. Проще обстоит дело с материалами диалогической речи персонажей литературных, в первую очередь драматургических, произведений, хотя и здесь не всегда просто бывает отделить собственно диалогические построения от монологических, приближающихся в своих языковых характеристиках к описательно-аналитическим построениям авторской речи. Доступность этого рода материалов, естественно, ведет к тому, что большинство появившихся в последнее время работ строится именно на них, причем эти материалы выступают обычно все под тем же титром разговорной речи [8]. А между тем уже сам письменный характер фиксации материала, к тому же наде-

---

[3] Некоторые из названных здесь антиномий частично подверглись рассмотрению на страницах журнала «Русский язык в национальной школе», который в 1965—1966 гг. проводил дискуссию по проблемам разговорной речи. Эта дискуссия, шедшая не всегда ровно, тем не менее затронула важные вопросы, ранее в литературе не освещавшиеся. Наиболее интересно прозвучал в дискуссии вопрос, связанный с взаимным соотношением формы речи и типа языка, а также вопрос о разновидностях и структурных особенностях диалога. С теоретическими соображениями в дискуссии выступили В. Г. Костомаров, Т. Г. Винокур, Е. А. Иванчикова, К. Кожевникова и О. Кафкова.

[4] Н. Ю. Шведова в своем фундаментальном исследовании «Очерки по синтаксису русской разговорной речи», построенном на разнообразном и обширном материале литературных произведений и предлагающем весьма тонко дифференцированную, последовательно осуществленную и искусно выполненную классификацию различного рода построений из полнозначных слов, частиц и междометий с теми или иными экспрессивно-модальными значениями, склонна полагать, что разграничение разных функциональных сфер звучащей речи весьма затруднительно, особенно в области синтаксиса (стр. 368). Эта точка зрения ощутимо проявляется при анализе конкретного материала, который извлекается из литературных произведений без специального стилевого анализа последних.

[5] Нормативный характер синтаксических особенностей разговорной речи справедливо и постоянно подчеркивается Н. Ю. Шведовой («Очерки...», стр. 6—7, 366—367 и др.; «К изучению русской диалогической речи», стр. 68, и др.). Ср.: В. Н. Волошинов, Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке, Л., 1929, стр. 118 и др.

[6] Из последних работ см.: «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 5.

[7] Очевидно, с этим связано смешение понятий «разговорность» — «диалогичность (в художественном тексте)», наблюдаемое в очень многих работах, порой претендующих на общетеоретическую значимость. Ср., например: Н. П. Карпов, Особенности структуры разговорной речи, сб. «Структурные особенности разговорной речи», Иркутск, 1963.

[8] Н. Ю. Шведова в «Очерках...» широко использует литературные материалы не только диалогического характера, но и авторскую речь писателей. Д. Н. Шмелев («Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в современном русском языке», ВЯ, 1958, 6) привлекает только материалы речи персонажей и диалога. А. К. Соловьева считает возможным, «исходя из текстов художественной литературы, поставить вопрос о диалоге как о живой разговорной речи» (указ. соч., стр. 103).

ленного специальными задачами идейно-художественного порядка, а также отвечающего определенным эстетико-языковым идеалам автора (а в драматургии еще и требованиям сценичности, удобства и красоты декламации), должен был бы повести к предварительному выяснению целого ряда специальных вопросов. Эти вопросы связаны прежде всего с выяснением специфики препарации устно-разговорного литературного материала у отдельных авторов и в художественной литературе как явлении в целом: что может попадать в литературно-художественный текст без изменения, фиксируясь фотографически точно, а что неизбежно меняется и каким именно образом; какие специфические устно-разговорные явления могут попасть в литературно-художественный текст, а какие в него заведомо не попадут, и т. п.[9]. Подобного рода вопросы обычно не ставятся авторами, как правило оперирующими с драматургическим материалом непосредственно; исследования подобного рода могут быть полезными для выяснения некоторых типовых приемов строения диалога у отдельных авторов, но их значение для изучения реального состава литературного языка во всем многообразии конструктивно-речевых его градаций, а также для изучения структурных особенностей реально звучащего живого диалога во многом обесценивается[10]. Лишь в очень немногих работах этого рода обнаруживается предварительное понимание сложности проблемы[11].

Подобным же образом обстоит дело и при изучении языка газеты и публицистики вообще, когда те или иные языковые особенности, наблюдаемые в материалах этого рода, считаются присущими живой разговорной речи, попавшими из нее в газету непосредственно и в «неприкосновенном» виде. А между тем здесь значительно чаще приходится иметь дело со становлением самого газетного жанра в его специфическом наборе средств выражения и в лучшем случае с некоторыми общими тенденциями, определяющими появление материально различных, но функционально сходных конструкций в языке газеты и в живой речи непринужденного общения[12].

---

[9] Н. Ю. Шведова склонна полагать, что «писатель-реалист берет соответствующие конструкции в их типической, „чистой" форме, освобождая их от случайного, индивидуального, такого, что фиксируется в записях как отступление от обычной (т. е. письменно-литературной? — *О. Л.*) нормы» («Очерки...», стр. 25). Впрочем этому мнению не предшествует специальное исследование. Такое исследование (в предварительном плане) проделано чешской исследовательницей К. Кожевниковой («К вопросу художественного воспроизведения высказываний повседневной устной речи в литературном произведении», «Československá rusistika», X, 2, 1965), которая высказывает ряд весьма интересных соображений по этому вопросу и показывает, что фотографическое воспроизведение повседневной устной речи (добавим от себя — значительной части ее структурных особенностей) для русской художественной литературы в принципе невозможно. Это, насколько нам известно, единственная специальная работа по проблеме. Работа Н. Ю. Шведовой «К вопросу об общенародном и индивидуальном в языке писателя» (ВЯ, 1952, 2) выполнена в плане проблематики соотношения литературного языка и языка художественной литературы. Замечания по интересующему нас вопросу см. здесь на стр. 117—118.

[10] Хорошим примером распространенного у нас некритического прямолинейного выведения понятия «разговорность» из понятия «диалогичность (в художественном тексте)» может служить работа: А. И. Долгих, К вопросу об изобразительных возможностях синтаксиса русской разговорной речи (Материалы сличения редакций комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»), сб. «Русский язык. Диалектология, Методика», Орел, 1962 («Уч. зап. [Орловск. гос. пед. ин-та]», XXI, Кафедра русского языка, VI).

[11] Можно назвать, пожалуй, лишь одну работу, где заостряются некоторые аспекты проблемы соотношения живого диалога и диалога драмы: Н. С. Ляпидевская, К вопросу об изучении разговорно-диалогической речи, сб. «Современный русский язык (синтаксис и морфология)», М., 1965 («Уч. зап. [МГПИ им. Ленина]», 226).

[12] Исследователи языка газеты ставят своей задачей реконструкцию реальных процессов, которые, конечно, находят широкое отражение в языке газеты. Речь идет лишь о необходимости выведения некоторого «коэффициента» (или хотя бы более точного его установления, пусть даже эмпирическим путем), показывающего степень отражения в языке газеты, с одной стороны, явлений повседневно-разговорной речи, а с другой — процессов, характерных для литературного языка в целом. Н. Ю. Шведова, видимо, откликаясь на мысль о такой необходимости, пишет, однако, что «углубление в жанрово-стилистические различия внутри самих этих материалов не является необходимым» [«О некоторых активных процессах в современном русском синтаксисе (Наблюдения над языком газеты)», ВЯ, 1964, 2, стр. 3]. См. также: ее же, Тенденции развития разговорной речи (Активные процессы в современном русском синтаксисе), «Тезисы и планы докладов на VII Международном методиче-

Технически наиболее сложно изучать так называемую «разговорную речь» по материалам живой повседневно звучащей городской речи. В этом случае работе над материалом должна предшествовать его надежная фиксация письменными средствами или средствами магнитофонной записи. Последние обычно привлекают исследователей точностью и возможностью проверки, документальной представленностью, однако здесь имеется один существенный минус. Он состоит в том, что магнитофонный способ записи с его «всеядностью» практически исключает предварительную «нацеленность» исследования, его «угол зрения»: вернуться к сказанному, но не записанному магнитофон не может, и масса необходимого для определенной темы материала, звучащего всюду и всегда, и преимущественно тогда, когда магнитофон не работает, пропадает для исследования. Фиксация же материала письменными средствами требует от исследователя большой тренировки.

Вопрос о выборе материала для исследования вплотную смыкается с вопросом о степени представленности диалога и монолога в реально говоримой речи. Некоторые исследователи диалога [13] склонны считать, что самый характер реального речевого общения, предполагающего наличие говорящего и слушающего, гарантирует исключительную распространенность диалогических форм и отсутствие монологических (мнение это идет от Л. В. Щербы). Монологическим формам отводятся лишь такие малообычные для повседневного речевого общения ситуации, как лекция или выступление с трибуны (хотя ведь и здесь, и еще в большей мере, предполагается наличие слушающих!). Нам представляется, однако, что в повседневно-разговорной (если понимать под ней всю сферу обычной речевой деятельности) и, уже, обиходно-разговорной речи (если понимать под ней наиболее частотный и стереотипизированный речевой слой, обслуживающий сферу наиболее частотных и стереотипизированных бытовых ситуаций) монологические формы имеют широкое распространение, чему не может препятствовать постоянное наличие адресата речи. Если — условно — разбить наиболее употребительные виды реплик по характеру взаимоотношений говорящего и слушающего на побудительные и вопросно-ответные, с одной стороны, и на повествовательно-информативные и экспрессивно-эмоциональные, с другой, то первые следует причислить к диалогическим формам (поскольку они су-

ском семинаре преподавателей русского языка высших учебных заведений социалистических стран», М., 1964. Этот же подход сохранен и в книге «Активные процессы в современном русском синтаксисе (словосочетание)» (М., 1966), хотя здесь в большей мере признается значение жанровой дифференциации газетной речи (ср. стр. 10, 142 и др.). Говоря о «свободном отражении» разговорной стихии в газетном языке (стр. 58, 140 и др.), Н. Ю. Шведова рассматривает по существу не столько сами явления разговорной речи в газетном языке, сколько их письменные эквиваленты (индуцируемые, несомненно, той же исходной структурной тенденцией, что и соответствующие разговорные конструкции!), приспособленные к специфическим нуждам «оживления» разговора с читателем [ср. особые формы заголовков — о них как о своего рода моде писал В. Г. Костомаров («Из наблюдений над языком газеты: газетные заголовки», сб. «Из опыта преподавания русского языка нерусским», М., 1965), разного рода намеренно «актуализованные» фразы, приводимые в книге Н. Ю. Шведовой на стр. 145 и сл.]. Примечательно, что три непосредственные записи живой речи, приводимые в книге на стр. 144 в примеч. 2, имеют облик, явно чуждый письменным формам речи и в том числе газетному материалу; такие фразы могли бы быть зафиксированы не во всяком письме в редакцию (Н. Ю. Шведова особо, и справедливо, выделяет этот жанр), а лишь в малограмотном, обнаруживающем незнакомство его автора с письменными нормами.

Условный характер газетных штампов хорошо понимали уже М. Гус, Ю. Загорянский и Н. Каганович авторы интересной книги «Язык газеты» (М., 1926), которые утверждали, что современная газетная речь «нецелесообразна», и писали: «Наш газетный язык ближе к языку старых газет,... чем к языку читателей газет» (стр. 31).

Развиваемая в аспекте письменных норм интересная идея Н. Ю. Шведовой о двух ступенях вхождения разговорных конструкций в систему письменной речи («Активные процессы...», стр. 151—155; «О некоторых активных процессах...», стр. 17—18) имеет и противоположную направленность в аспекте разговорных норм, касающуюся вопроса о неоднородности разговорных конструкций с точки зрения потенции их проникновения в письменные сферы.

Е. А. Иванчикова вычленяет некоторые синтаксические конструкции в языке публицистики, восходящие к разговорным, основываясь на общности ведущего принципа их построения как в устном, так и в письменном проявлении («Синтаксические приметы разговорной речи в современной публицистике», «Р. яз. в нац. шк.», 1965, 4).

[13] Ср., например: А. А. Никольский, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, Душанбе, 1964, стр. 1.

ществуют лишь в совокупности с парными им репликами или ответными действиями собеседника), вторые — к монологическим (поскольку они могут существовать вне этой совокупности). Сказанное в полной мере относится и к диалектной речи, в которой монологическое повествование является весьма широко бытующей речевой формой.

Реплики можно разбить на виды и по другому признаку — по длине входящего в них текста. Тогда более краткие (обычно однофразовые) реплики, наиболее активно обслуживающие сферу обиходно-разговорной речи, окажутся более «диалогичными», чем более пространные (многофразовые) высказывания (обслуживающие сферу повседневно-разговорной речи), по своим структурным особенностям приближающиеся к монологу (наиболее «классические» формы которого предполагают значительную длину текста) [14].

Исследователи, изучающие литературно-художественную фиксацию диалогической речи (что, как было показано, охватывает лишь часть проблем изучения разговорной речи, которая может иметь и монологическую форму и, что главное, значительно отличаться в своем реальном лексическом и структурно-синтаксическом составе от художественно-литературных ее эквивалентов), из теоретических вопросов наиболее охотно обращаются к вопросам ее функциональных особенностей и являющихся их следствием особенностей синтаксических. В этом отношении выделяются работы Ю. М. Скребнева и других исследователей диалога в романо-германских языках. Ю. М. Скребнев, называя такие функциональные особенности разговорной речи, как ее неподготовленность, ситуативность, непосредственное обращение к адресату (выделенные еще Л. В. Щербой и Л. П. Якубинским; см. также работы Ш. Балли), пытается связать с каждой из них собственно синтаксические — из необдуманности разговорной речи следует ее насыщенность клише, а также всевозможными нарушениями «правильной» синтаксической формы, обычно отличающимися лаконичностью построения, из ситуативности следует насыщенность разговорной речи эллиптическими конструкциями, из непосредственного обращения к адресату — диалогичность [15]. Эти выводы, наиболее четко и последовательно сформулированные Ю. М. Скребневым [16], почти без вариаций, но в менее последовательном изложении повторяются в многочисленных работах, посвященных структуре диалога в романо-германских языках [17] (в новых работах по русскому

зап. [Башк. гос. ун-та]», Серия филол. наук, 6 (10)].

[14] О распространенности и диалогических и монологических форм в разговорной речи специально говорит Н. Ю. Шведова («К изучению русской диалогической речи...», стр. 68; «Очерки...», стр. 280 и сл.).

[15] См.: Ю. М. Скребнев, К проблеме изучения современных теиденций синтаксиса английской разговорной речи, сб. «Вопросы общего и германского языкознания», Уфа, 1964, стр. 64—66 [«Уч.

[16] См. еще: Ю. М. Скребнев, Типичные конструкции синтаксиса английской разговорной речи, Уфа, 1962; его же, Из наблюдений над особенностями синтаксиса английской разговорной речи, «Сб. трудов [Пятигорск. гос. пед. ин-та]», XVII, 1958; его же, О разграничении и противоположении понятий «язык» и «речь», сб. «Вопросы общего и германского языкознания»; его же, О некоторых типах синтаксических отношений, выделяемых по функциональному признаку, «Республиканская конференция по вопросам языкознания и методики преподавания иностранных языков (Тезисы докладов)», II, Алма-Ата, 1964; его же. Некоторые типы синтаксических отношений, выделяемых по функциональному признаку, сб. «Вопросы общего и романо-германского языкознания. Доклады и сообщения», Уфа, 1964. В последних двух работах подвергается критике получившая распространение трактовка теории «данное — новое» и выдвигается идея «многоступенчатости» актуального членения.

[17] См., например: В. А. Ковпн, Неполные предложения в немецкой разговорной речи, «Уч. зап. [Моск. обл. пед. ин-та]», 132. Иностранные языки, 14 — Немецкий язык, 1965; Р. Е. Дедучава, К изучению синтаксиса диалогической речи современного английского языка, «Труды Тбилисск. пед. ин-та ин. яз.», 6, 1964; Т. С. Глушак, Некоторые наблюдения над стилем обиходной речи современного немецкого языка, сб. «Вопросы общего и романо-германского языкознания»; ее же, К вопросу о приметах обиходно-разговорной речи в тексте художественного произведения, «XVII научная сессия, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1964 г. [Минск. ГПИИЯ]. Тезисы докладов», II, Минск, 1965; Г. В. Беркаш, О структурах вопросных реплик в английской диалогической речи (общие вопросы), сб. «Вопросы лексики и фразеологии английского и немецкого языков», I, Харьков, 1964; А. Т. Кривоносов, Некоторые структурные особенности немецкой разговорной речи, сб. «Структурные особенности разговорной речи и развитие разговорных навыков и умений».

Следует заметить, что все названные работы основаны на письменных (в первую очередь литературно-художественных) текстах. Это вынужденное ограниче-

языку эти вопросы в теоретическом плане почти не затрагиваются). В согласном однообразии наблюдений кроется как верность отражения речевой действительности, так и узость проблемного ее охвата.

Работы по русской разговорной речи в основной своей массе посвящены описанию отдельных грамматических явлений и тех лексических особенностей (обычно — в тексте художественных произведений), которые по тем или иным основаниям, чаще всего интуитивного характера, относятся к разговорным.

Прежде всего здесь выделяется серия работ по изучению явлений русского словопорядка, выполненная О. Б. Сиротининой [18]. Рассматривая эти явления с применением методов статистической обработки текста и следуя традиционной схеме членов предложения, О. Б. Сиротинина пытается наметить различия в расположении отдельных членов предложения применительно к основным стилям современного русского языка. Разговорная речь в этих работах рассматривается ею в противопоставлении «письменная речь» — «разговорная речь», причем в «разговорной речи» выделяются «стилизованная разговорная речь» (в литературно-художественных произведениях, где вычленяется авторская речь и «разговорная речь») и «живая разговорная речь» (собранная путем магнитофонных записей). Сами явления порядка слов рассматриваются в этих работах по четырехвариантной схеме «препозиция — постпозиция» + «наличие — отсутствие логического ударения», осложняемой вводом понятий «данное — новое», которые, впрочем, обычно практически совпадают с парой «наличие — отсутствие логического ударения». Следует отметить, что магнитофонные записи разговорной речи рассматриваются О. Б. Сиротининой фронтально, а не дифференциально: подсчеты ведутся в целом относительно массы явлений, как совпадающих с общелитературным стандартом, так и отличающихся от него, а причины этого совпадения и различия кроются в свою очередь в ситуативно-тематических особенностях высказывания. Такой недифференцированный подход, касающийся и собственно структурных особенностей фразы, подчас ведет автора к неправомерным статистическим обобщениям (например, в одном ряду рассматриваются и одинаково интерпретируются как имеющие логическое ударение на определении такие фразы разной структурно-грамматической, актуально-коммуникативной и стилевой принадлежности, как *У лукоморья дуб зеленый*, *Это же равница огромная* и *Я же весь год была членом профкома. Профбюро нашего* [19]. Несмотря на это, возможность осуществления идеи рассмотрения какого-либо грамматического явления по отдельным речевым стилям, восходящей в нашей науке к А. Н. Гвоздеву, следует признать весьма перспективной [20].

Здесь возникает интересный и совсем еще не изученный вопрос о том, какие именно явления формируют специфику современной устно-разговорной речи как особого стиля русского литературного языка и какие составляют общий фонд этого стиля и общелитературного языка. Последние, конечно, должны составлять основную массу реально произносимого речевого материала [21]. Магнитофонные

ние, но Ю. М. Скребнев пытается дать ему теоретическое оправдание («Типичные конструкции синтаксиса английской разговорной речи», стр. 6). На наличие контекста как на преимущество «стилизованной» разговорной речи указывает В. С. Юрченко в своей кандидатской диссертации [«Функционально-структурные типы фраз (на материале разговорной речи)», Саратов, 1962, стр. 21], который использует текст драм. Л. С. Ковтун, напротив, полагает, что «разговорная речь, преобразованная в художественном тексте и представленная лишь в известных своих элементах, не может служить достаточным и тем более исчерпывающим источником для изучения современного разговорного языка» («Лексические нормы русского языка и разговорная речь», сб. «Современная русская лексикология», М., 1966, стр. 11).

[18] О. Б. Сиротинина, Порядок слов в русском языке, Саратов, 1965; ее же, Порядок слов в русском языке. Автореф. докт. диссерт., Саратов, 1966; ее же, Порядок слов живой разговорной речи, сб. «Вопросы синтаксиса и стилистики русского литературного языка», Куйбышев, 1963; ее же, Место косвенного дополнения и обстоятельства в современном русском языке, сб. «Вопросы русского языкознания», Саратов, 1961; ее же, Об ошибках в порядке слов, сб. «В помощь учителю русского языка», Саратов, 1963. Указания на другие работы приводятся в названном авторефебате докторской диссертации.

[19] О. Б. Сиротинина, Порядок слов в русском языке, стр. 23—24.

[20] Вопросы порядка слов с учетом стилевой дифференциации ставятся и И. И. Ковтуновой [«О понятии инверсии», сб. «Проблемы современной филологии», М., 1965; ее же, «Принципы словорасположения в современном русском языке», сб. «Русский язык. Грамматические исследования» (в печати)].

[21] Ср.: «...можно ли считать, что каждый стиль речи характеризуется наличием признаков, свойственных только данному стилю? Очевидно, что нет. Никакой из стилей речи не представляет собой замкнутой системы» (И. Р. Гальперин, К проблеме дифференциации стилей речи,

записи в различных тематических и действенных (предполагающих пассивное или активное поведение собеседников) ситуациях являются неоценимым материалом для определения этой пропорции. Трудность задачи усугубляется еще и тем обстоятельством, что специфически разговорное может оказаться хорошо представленным в письменных текстах, а общелитературное — в повседневно-разговорной речи. Предварительно представляется, однако, что специфически разговорный пласт явлений в наибольшей мере проявляется и обладает наибольшей частотностью в сфере обиходно-разговорной речи. Таким образом, возникающие здесь задачи можно было бы предварительно сформулировать так:

1. Описание специфически разговорных явлений по материалам обиходно-разговорной речи.

2. Определение той части этих явлений, которая может найти свое место в письменных текстах.

3. Выяснение пропорции специфически разговорного и общелитературного при реальном осуществлении высказываний в повседневно-разговорной и обиходно-разговорной речи и ситуационно и тематически различных пластах этих сфер речи.

На материале магнитофонных (и отчасти ручных) записей звучащей диалектной (рязанской) и литературной речи строит свои наблюдения над соотношением отдельных явлений диалектного и литературного синтаксиса А. А. Никольский [22]. Его работы соприкасаются с важной и почти не изученной проблемой устно-разговорной базы повседневно-разговорной литературной речи и диалектной речи. Видимо, какая-то часть синтаксических явлений, восходящая к этой базе и определяемая самой спецификой устной речи, окажется общей этим, двум формам существования русского языка [23]. Однако здесь должны быть и различия, обязанные своим возникновением процессам становления устно-разговорной разновидности литературного языка как особого его стиля, с одной стороны, а с другой — системы (или систем) диалектного синтаксиса. В работе А. А. Никольского прослеживаются такие черты сходства и различия, главным образом, путем наблюдения над рядом отдельных синтаксических конструкций (повторение предлога, средства выражения причинно-следственных отношений, сложные предложения усложненного типа, прямая речь) [24]. Такое исследование может быть продолжено в несколько ином направлении — в плане изучения общих особенностей конструирования фразы, ее предикативной основы, оформления ее коммуникативного центра и т. д. (с неизбежным обращением к вопросам интонации и порядка слов). Это было бы важно как для изучения природы устной речи как таковой, так и для изучения специфических особенностей устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка.

Реальные структурно-языковые последствия эллиптической природы говоримой речи изучает Т. Г. Винокур, которая находит идентичные явления как в письменно фиксированной, так и в живой звучащей речи [25]. Установление такого рода параллелей важно в охарактеризованном выше плане выяснения реального соотношения распространенности явлений разговорной речи в письменной и устной сферах, а также в плане изучения социальной дифференциации разговорной речи.

Различного рода «неправильности» в русской речи русских-киевлян и украинцев-киевлян в условиях двуязычия исследует Р. В. Болдырев (привлекая преимущественно материал отклонений от норм управления) [26]. Он рассматривает

сб. «Проблемы современной филологии», стр. 68—69).

[22] См.: А. А. Никольский, Очерки по синтаксису русской разговорной речи; его же, Очерки по синтаксису русской разговорной речи. Автореф. канд. диссерт., Л., 1966; его же, Из наблюдений над сложными предложениями усложненного типа в русской разговорной речи, сб. «Вопросы русского языка», Душанбе, 1963.

[23] Некоторые наблюдения над сходными синтаксическими фактами диалектной и литературной чешской речи принадлежат Я. Хлоупку. См.: J. Chloupek, Pořadek slov v nářečí, zvlaště východomoravském, SaS, XIX, 4, 1958, и др.

[24] Иногда в сопоставительных работах, выполненных с привлечением диалектного материала, понятие «народно-разговорной речи» никак не дифференцируется и поэтому остается своего рода фикцией (практически под ним имеют в виду систему говора или группы говоров). См.: О. И. Богословская, Соотношение народно-поэтической и народно-разговорной речи (на материале системы именного склонения в былинах сказителей Рябининых и в кижских говорах Заонежья). Автореф. канд. диссерт., Пермь, 1965.

[25] См.: Т. Г. Винокур, Об эллиптическом словоупотреблении в современной разговорной речи, сб. «Развитие лексики современного русского языка», М., 1965.

[26] Р. В. Болдырев, К постановке вопроса о некоторых лексико-грамматических явлениях в русской разговорной речи на Украине (отклонения от норм управления), сб. «Дослідження з української та російської мов», Київ, 1964; его же, О некоторых лексико-грамма-

свой «отрицательный языковой материал» как свидетельство выработки норм некоего единого локального русско-украинского койне. Любопытно, что некоторые приводимые автором синтаксические конструкции имеют нелокальное распространение и являются своего рода общими урбанизмами (ср. примеры Р. В. Болдырева: *На Толстого нет остановки*?; *Вы сходите на Калинина*?, которым соответствуют идентичные украинские конструкции [27]).

Подобная же работа проделана В. И. Столбуновой, которая исследовала некоторые фонетические и синтаксические (особенности предложного управления) украинизмы в русской речи украинцев на Буковине [28]. В такого рода исследованиях проблематика русской разговорной речи в ее отношении к общему составу русского литературного языка уступает место проблематике двуязычия и межъязыковых контактов.

Экспериментальному исследованию модуляции так называемых «интонем» посвятил свою работу Ю. А. Будасов [29], который, графически препарируя полученные данные, приходит к заключению, что «в практике русской разговорной речи утверждение может совпадать с вопросом не только лексически и грамматически, но и по форме кривой» [30]. Подобного рода выводы важны для интонационной характеристики реально звучащих реплик, которые нередко «прочитываются» исследователями с точки зрения абстрактных представлений о «логическом ударении», о паузальном членении и т. д., не соответствующих речевой действительности.

Наблюдение над разного рода «отклонениями» от кодифицированных синтаксических норм ведет исследователей к необходимости их стилевой квалификации [31]. Здесь возникает малоизученный и очень запутанный вопрос о современном просторечии — категории, которая, как нам кажется, быстро утрачивает свои функционально-стилевые качества и переходит в разряд собственно стилистических категорий. Это понятие стойко держится в нашей лексикографической традиции, хотя продолжает оставаться почти не изученным в своем реальном составе и соотношении с другими стилевыми сферами, особенно устно-разговорной [32]. Использовать это понятие для характеристики некоторых синтаксических особенностей речи городского населения, тесно связанного с диалектным окружением («наддиалектные типы нелитературной устной речи»), рискнула В. И. Собинникова [33]. Она объединяет явления, которые, по ее мнению, уже вышли за рамки местных особенностей, но еще не вошли в систему общенародных норм. Наблюдения над этими явлениями, интересные сами по себе, к сожалению, вновь подтверждают неправомерность выделения «просторечия» как особой стилевой категории — приводимые В. И. Собинниковой явления не обнаруживают какого-либо стилевого единства и легко распадаются на две группы: восходящие к соответствующим диалектным (ср.: у *Зини, у мами лежыть*) и имеющие широкое, нелокализованное распространение в современной городской среде (ср. употребление парных глаголов — *бабката лежыть плачить*, повторение предлога при постпозитивном определении, вынос в инициальную позицию «темы» высказывания и др.[34]). Таким образом,

тических изменениях в синтаксисе управления русской разговорной речи (предложные конструкции). Автореф. канд. диссерт., Киев, 1964; его же, О характеристике некоторых лексико-грамматических явлений в русской разговорной речи на Украине (отклонение от норм управления), «Збірник наукових праць аспірантів кафедр суспільних наук [Київськ. ун-ту]», 13, Київ, 1963.

[27] Р. В. Болдырев, О характеристике..., стр. 60.

[28] В. И. Столбунова, Из наблюдений над разговорной русской речью украинцев — жителей Буковины, «Тези доповідей XXI наукової сесії. Секція філол. наук», Чернівці, 1965.

[29] Ю. А. Будасов, Двухударный вопрос и утверждение в русском языке с точки зрения теории интонемических модуляций, «Научно-теоретическая конференция молодых преподавателей и аспирантов института (Тезисы докладов)», Пятигорск, 1965.

[30] Ю. А. Будасов, указ. соч., стр. 109.

[31] Этот вопрос в теоретическом плане пытался уточнить С. Д. Береснев [«К вопросу о стилеобразующих элементах и их распределении в речи», «Республиканская конференция по вопросам языкознания и методики преподавания иностранных языков (Тезисы докладов)», II, Алма-Ата, 1964], стремившийся представить стилевую систему как некую комбинацию определенных групп элементов.

[32] См. об этом: В. В. Виноградов, Семнадцатитомный академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания, ВЯ, 1966, 6, стр. 18 и сл.

[33] В. И. Собинникова, Наблюдения над городским просторечием (по записям разговорной речи населения г. Воронежа), сб. «Русский язык. Диалектология. Методика», Орел, 1962 («Уч. зап. [Орловск. гос. пед. ин-та]», XXI. Кафедра русского языка, VI).

[34] В. И. Собинникова отмечает и некоторые иные синтаксические явления этого типа, общие южнорусской и укра-

намерение автора ограничиться лишь местной нелитературной речью не оправдывается приводимым им материалом.

Изучение явлений разговорной речи сквозь призму стилистики осуществляет и саратовская группа исследователей, которая, вслед за А. Н. Гвоздевым (изучавшим разговорную речь преимущественно по материалам писем и драм Чехова [35]), рассматривает специфику ряда явлений и их распространенность в различных стилевых пластах современного русского языка [36]. При этом «разговорный стиль» выделяется как заданная величина в ряду других стилей, что нередко ведет к излишней схематизации языковой действительности. Материалами для изучения разговорных явлений служат и письменные источники, и магнитофонные записи, причем между показаниями тех и других не всегда проводится необходимая дифференциация.

Таким образом, изучение отдельных (преимущественно синтаксических, реже морфологических) явлений разговорной речи пока ведется у нас своего рода «атомарным» способом. Выявление структурных характеристик разговорного пласта современной литературной речи и анализ на этой базе его стилевых свойств в их отношении к стилевым свойствам других пластов литературного языка остается пока в перспективе будущего.

С точки зрения привлечения исследовательского интереса, больше всего повезло лексическим особенностям разговорной речи. И здесь наиболее часто исследователи при определении стилевой принадлежности лексического материала, изучаемого почти всегда по текстам художественных произведений, опираются лишь на интуицию, хотя прибегают и к показаниям словарей, чьи пометы «разг.» и «просторечн.», впрочем, также во многих случаях не имеют иных оснований, кроме интуитивных. В связи с этим выделение «разговорного пласта» в лексике того или иного произведения обычно убеждает весьма слабо. Оно производится, как правило, путем произвольного называния отдельных лексем в числе «разговорных» [37], хотя вопрос реального разграничения различных стилевых пластов в лексике в подавляющем большинстве случаев сводится к установлению частотности и действительной распространенности той или иной лексемы, а также сочетаемости лексем, в том или ином стилевом пласте языка.

Для изучения этого вопроса необходимо было бы провести широкое комплексное исследование современной лексики в ее функционально-тематическом аспекте, что позволило бы выявить ситуативно-тематическую и функциональную обусловленность частотности отдельных лексем и лексических групп [38]. Такого рода исследование упирается в полную

инской среде (например, употребление коррелирующего местоимения в придаточной части и др.). См.: В. И. Собинникова, Общие и специфические явления в синтаксисе русских и украинских говоров, «Материалы по русско-славянскому языкознанию», II, Воронеж, 1966. Она объясняет их, однако, близким генетическим родством обоих языков вне связи с процессами стилевых инноваций.

[35] А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, 2-е изд., М., 1955, стр. 274 и сл.

[36] См.: Г. Г. Полищук, Б. Ф. Игнатов, Распространенное несогласованное определение в разных стилях речи, сб. «Вопросы теории и методики изучения русского языка», Саратов, 1965; Н. И. Ильминская, Обособленные обороты со значением добавочного сообщения в разных стилях современного русского языка, там же; Э. А. Клочкова, К вопросу о порядке слов (о месте прямого дополнения) в современном русском языке, сб. «Вопросы русского языкознания», Саратов, 1961; Н. Э. Беркович, Страдательный оборот в разных стилях современного русского языка, там же; О. Б. Сиротинина, С. А. Бах, В. А. Богданова, К вопросу об изменениях в стилевой дифференциации языка, «Язык и общество (Тезисы научных сообщений)», Саратов, 1964; Г. Г. Полищук, О влиянии общественных факторов на структурные и функциональные изменения некоторых грамматических категорий, там же. См. также статьи Г. Г. Полищук, Н. И. Ильминской, С. А. Бах, Б. А. Зильберт и В. С. Юрченко, опубликованные в сб. «Вопросы стилистики», II, Саратов, 1965, а также в сб. «Вопросы стилистики», I, Саратов, 1962.

[37] См., например: С. А. Воробьева, Разговорная лексика в романе Л. Н. Толстого «Воскресение», «Збірник наукових праць аспірантів кафедр суспільних наук [Київськ. ун-ту]», 13; И. М. Казнадзей, Разговорно-просторечная и народно-диалектная лексика в стихотворных произведениях А. Т. Твардовского. Автореф. канд. диссерт., Киев, 1964.

[38] Из подобного понимания проблемы исходит группа преподавателей Университета дружбы народов, работающая над созданием картотеки к частотному словарю современной русской разговорной речи. В. А. Бухбиндер различает два вида ситуации: предметную (отражается в лексике) и ситуацию отношений (отражается в организации структуры высказывания) («Речевая ситуация и ее место в обучении устной речи», «Тези доповідей та повідомлення міжвузівської конференції з питань теорії та методики викладання іноземних мов», Ужгород, 1964).

неразработанность у нас ряда соответствующих вопросов лингвосоциологии (в том плане, как это делается, например, в Японии). Подобное установление реального статуса «языкового существования» важно не только в плане исследования вопросов лексики, но и в иных, более широких аспектах изучения функционально-стилевой дифференциации современного русского литературного языка.

Имеются попытки обращения и к разговорным явлениям в историческом прошлом русского языка. Такого рода попытки сейчас, после возобновления работы по изданию различных видов грамот и архивных материалов частной переписки [39], значительно облегчаются, хотя в отношении и этого рода памятников в первую очередь встает вопрос о том, что́ в них идет непосредственно из разговорной речи (кстати, разговорные явления в письмах XVII — начала XVIII в. принципиально должны отражаться более непосредственно, чем в позднейшей литературе, из-за меньшей скованности их языка традицией письменной формы), а что́ является клише, идущим от канонического облака грамоты того или иного типа. Тем не менее эти материалы к исследованию пока не привлекаются, а имеющиеся работы весьма похожи на те, в которых рассматриваются современные разговорные явления — как по выбору самих явлений, так и по методике исследования. Здесь привлекаются и явления повторения предлога, и формы род. падежа на *-у*, и явления лексики [40]. Материалом служат различные письменные источники (преимущественно эпистолярного и беллетристического жанра), тексты которых неизбежно нуждаются в предварительном критическом препарировании с точки зрения нахождения «коэффициента» отражения разговорных явлений. Изучение разговорной речи в историческом плане требует расширения круга привлекаемых к исследованию источников.

Как показывает этот по необходимости краткий обзор, различные вопросы разговорной речи исследуются у нас весьма неравномерно. Многие из них, связанные в первую очередь с определением самого понятия «разговорная речь», остаются пока в тени [41]. Активизация изучения

[39] См.: С. И. Котков, Н. П. Панкратова, Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века, М., 1964; С. И. Котков, Н. И. Тарабанова [издатели], Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия, М., 1965. См. об этом: С. И. Котков, Русская частная переписка XVII—XVIII вв. как лингвистический источник, ВЯ. 1963, 6.

[40] См.: И. И. Климовская, О некоторых последствиях инверсии исконно постпозиционного определения в истории русского языка, «Вопросы литературы и языка. Сб. аспирантских статей», Томск, 1965 («Уч. зап. [Томск. гос ун-та]», 54); ее же, Об искусственном характере предложного режима в группе определения и определяемого слова в современном русском языке, там же; Е. П. Гарбузова, К вопросу о роли живой разговорной речи в литературном языке XVII в. (формы на *-у* в «Путешествиях»), «Материалы 8-й научной конференции преподавателей [Новозыбковск. гос. пед.] ин-та (секции обществ., филол. и педагог. наук)», Новозыбков, 1964; С. С. Волков, Развитие административно-деловой терминологии в начале XVII в. (по документам «Слова и дела»), сб. «Начальный этап формирования русского национального языка», Л., 1961; В. Н. Рогова, Лексика разговорного и книжного пластов в языке челобитных И. Пересветова, «Уч. зап. [Красноярск. гос. пед. ин-та]», 25, 3, 1963; ее же, Разговорная лексика в послании Ивана Грозного Андрею Курбскому, там же. В последних двух работах делается убедительная попытка выделения собственно разговорной лексики (автор говорит о «разговорно-просторечной», хотя и видит огромные трудности в выделении просторечия как стилевой категории) на основании ее распространения в произведениях с «устной основой», а также по признаку ее словообразовательной специфики. Первый из этих критериев восходит к интересной работе Б. А. Ларина «Разговорный язык Московской Руси» (сб. «Начальный этап формирования русского национального языка»), который пользовался и приемом сопоставления различных редакций текста для выделения разговорного лексического пласта, контрастирующего с книжным.

[41] В дискуссии по вопросам стилистики, проходившей на страницах журнала «Вопросы языкознания» в 1954—1955 гг., были сформулированы важные для проблематики разговорной речи аспекты исследования; однако реальная их разработка продолжает оставаться делом будущего. Попытка наметить систему соответствий «разговорный стиль», «разговорный тип», «устная форма», «диалогический вид» речи принадлежит О. Б. Сиротининой [«Разговорная речь (Проблема определения понятия) в сб. «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи (Тезисы докладов к межвузовской научной конференции)», Горький, 1966], которая при разработке общих вопросов, связанных с соотношением основных понятий, останавливается лишь на назывании членов иерархической градации, не устанавливая характера их отношений и не показывая, в чем состоит их системность.

этой важной области науки о современном русском литературном языке упирается прежде всего в недостаточную разработанность важных вопросов теории — таких, как вопросы реального функционально-стилевого состава современного русского литературного языка, взаимоотношения различных функционально-стилевых единиц в его пределах и установления их границ, способов и принципов нахождения реальных речевых характеристик этих единиц.

РЕЦЕНЗИИ

В. И. Лыткин. **Исторический вокализм пермских языков.** М., изд-во «Наука», 1964. 270 стр.

В. И. Лыткину принадлежат большие заслуги как исследователю пермских языков, по грамматике, лексике и диалектологии которых он написал несколько выдающихся трудов и в составлении учебников и словарей которых он участвовал. Обладая бесспорно большими знаниями в области истории языка, В. И. Лыткин специально занимался выяснением исторического развития вокализма и ударения в пермских языках и достиг в этой области особенно больших результатов. Уже в своей работе «Диалект Кобры» он имел возможность сообщить об открытии им в верхнесысольском диалекте коми языка двух фонем *о*: «обыкновенного открытого, существующего во всех других коми говорах, и закрытого *о*» [1]. О последней фонеме ранее ничего не было известно. Это открытие В. И. Лыткина положило начало новым исследованиям, которые совершенно изменили прежние мнения об истории вокализма пермских языков. В качестве фонетического знака для закрытого *о* верхнесысольского диалекта установилось *o̭*, тогда как другое *о* этого диалекта обозначают знаком *о* или знаком *o̭*, из которых последний указывает на раствор шире нормального (во всяком случае у тех представителей верхнесысольского диалекта, которых имел возможность слышать Т. Е. Уотила и автор данной статьи, этот последний гласный звучал как обычное западноевропейское *о*).

В. И. Лыткин указал также, что в языке восточных пермяков, живущих на берегу реки Язьвы, в так называемом коми-язьвинском диалекте (фонетику которого подробно описал финский исследователь А. Генец в 1897 г.) верхнесысольскому *о* соответствует *о*, а верхнесысольскому *o̭* — *и*. Другими словами, *o̭* в коми-язьвинском диалекте изменилось в *и*. Во всех остальных диалектах коми языка *o̭* слилось с *о*. Это выравнивание произошло сравнительно поздно, потому что в древних рукописях коми языка, например в надписи на иконе «Троица» (очевидно, XV в.) *о* и *o̭* обозначены различными буквами [2]. Позднее В. И. Лыткин сделал важный вывод: в древнем коми языке не только *о*, но также *ӧ* и *е* имели парные более закрытые фонемы [3]. Таким образом, паре *о* — *o̭* соответствовали пары *ӧ* — *ӧ̭* и *е* — *ḙ*. В современном коми языке *ӧ* и *ӧ̭* вообще слились в иллабиальный гласный среднего ряда *ə*. Также *е* и *ḙ* слились в *е*. Только в коми-язьвинском диалекте можно наблюдать старые различия: *ӧ* (точнее: гласный среднего ряда между *о* и *ӧ*, который в финно-угорской транскрипции обозначают знаком *ȯ*) и *е* сохранились, тогда как *ӧ̭* (точнее *ȯ̭*) перешло в *ɯ* — звук средний между *и* и *ӥ*, а *ḙ* изменилось в *i*.

В последующем обозрении В. И. Лыткина по истории гласных коми языка приводится реконструкция системы гласных древнего общекоми языка, содержащая семь гласных полного образования: *а*, *е*, *ӧ* (=*ȯ*), *о*, *ə*, *ӧ̭* (= *ȯ̭*), *o̭* — и три редуцированных гласных, которые в современном коми языке представлены гласными *i*, *i̮* (схоже с русским *ы*) и *и* [4]. Высказанное здесь мнение о разделении гласных общекоми языка на гласные полного образования и редуцированные гласные заимствовано В. И. Лыткиным из фонетической теории В. Штейница, согласно которой такое разделение было свойственно финно-угорскому праязыку. Вскоре В. И. Лыткин, однако, отказался от теории Штейница. Например, в реконструк-

[1] «Сборник Комиссии по собиранию словаря и изучению диалектов коми языка», I. Сыктывкар, 1930, стр. 32.

[2] В. И. Лыткин, О говоре древне-коми письмен, «Сборник Комиссии по собиранию и изучению диалектов коми языка», II, М., 1931, стр. 39—40.

[3] В. И. Лыткин, Закрытые гласные среднего подъема в коми языке, «Научная конференция по вопросам финно-угорской филологии. 23 января — 4 февраля 1947 г. Тезисы докладов», Л., 1947.

[4] В. И. Лыткин, К вопросу о вокализме пермских языков, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», I, М., 1952, стр. 104. Ср. еще: В. И. Лыткин, Древнепермский язык, М., 1952, стр. 88—95.

ции вокализма общекоми языка гласные *i*, *ɨ* и *u* обоснованно рассматриваются В. И. Лыткиным наравне с другими гласными как гласные полного образования [5].

Развитие системы ударения в пермских языках нельзя рассматривать изолированно от истории гласных. Коми-язьвинский диалект является, с точки зрения истории языка, исключительно важным, так как ударение в нем полностью основано на широте раствора фонем, имеющихся в системе гласных общекоми языка. Таким образом, своеобразная, но вполне ясно очерченная система ударений этого диалекта представляет превосходную точку опоры для изучения вокализма общекоми языка. От внимания В. И. Лыткина не ускользнуло и это обстоятельство, и он дает точную картину взаимоотношения ударений в коми-язьвинском диалекте и объясняет значение этих взаимоотношений для истории языка [6].

Упомянутое выше исследование «Диалект Кобры», положившее начало новому этапу в изучении истории гласных коми языка, осталось на долгие годы почти забытым — например, автор данной статьи узнал об этом исследовании только через 20 лет после его выхода из печати. Т. Е. Уотила, имевший в исключительных условиях второй мировой войны возможность собирать материалы среди представителей народа коми (в том числе и носителей верхнесысольского диалекта), говоря в статье, основанной на материале, собранном им самим, о двух фонемах *o* в верхнесысольском диалекте и об их соответствии в коми-язьвинском диалекте [7], упоминает об этом известном ему исследовании В. И. Лыткина мимоходом и в такой несущественной связи, что это никак не привлекает внимания читателя. Это и послужило поводом к тому, что в моем исследовании «О гласных и об ударении в пермских языках» я приписал открытие двух различных *o* в верхнесысольском диалекте Т. Е. Уотила [8]. Эту ошибку я имел возможность исправить в 1954 г. в моем исследовании «К истории вокализма первого слога в марийском и в пермских языках» [9] (та часть этого исследования, которая касается пермских языков — стр. 264—340, является расширенным изданием исследования, вышедшего три года ранее, и в принципе сходна с ним). К этому времени был наконец возобновлен прерванный войною обмен литературой между финно-угроведами Финляндии и Советского Союза, и при чтении корректуры моего вышеупомянутого исследования я уже имел в своем распоряжении исследования В. И. Лыткина «Древнепермский язык» и «К вопросу о вокализме пермских языков». Все же и в этом издании в части, касающейся исследования истории вокализма пермских языков, имеется, к сожалению, недочет: там не упомянут доклад В. И. Лыткина «Закрытые гласные среднего подъема в коми языке», содержащий краткий обзор главных принципов вокализма древнекоми языка (брошюру «Научная конференция по вопросам финно-угорской филологии. 23 января — 4 февраля 1947 г. Тезисы докладов», где на стр. 64—67 был опубликован этот доклад, я получил только несколько лет спустя); насколько мне известно, В. И. Лыткин в другом виде этого доклада не издавал.

Несмотря на то, что В. И. Лыткин и я занимались теми же вопросами, не будучи знакомы с работами друг друга, результаты наших исследований во многом сходны. Это можно считать доказательством того, что выводы в общих чертах правильные. Этой точки зрения придерживаются и наши коллеги.

Хотя я в своих исследованиях постоянно принимал во внимание также вокализм удмуртского языка, все же и мои соображения опираются главным образом на сравнение вокализма верхнесысольского и коми-язьвинского диалектов, а результаты анализа системы ударений коми-язьвинского диалекта существенно подтвердили и дополнили полученные мною выводы. Ранее обычно предполагали, что в общепермском языке, другими словами в общем праязыке коми и удмуртского языков, имелось семь гласных, по моему же представлению их имелось одиннадцать. Предполагаемая мною система гласных общепермского языка примерно такая же, как реконструированная В. И. Лыткиным для общекоми языка, с той только разницей, что я предполагаю, кроме *a*, наличие еще одного гласного нижнего подъема, а именно переднего *ɛ*.

*

Вполне естественно, что и В. И. Лыткин, которому принадлежит ряд исследований по истории вокализма коми языка, хотел дать синтез, касающийся всей группы пермских языков, который заклю-

[5] В. И. Лыткин, Историческая грамматика коми языка. Ч. 1, Сыктывкар, 1957, стр. 103.

[6] В. И. Лыткин, К вопросу о вокализме пермских языков, стр. 90—91 (сокращенно см.: его же, Древнепермский язык, стр. 101—102).

[7] T. E. Uotila, Lehnwörter des Permischen, JSOu, LII, 5, 1944, стр. 7—8.

[8] E. Itkonen, Permiläisen vokaali- ja painotusopin alalta, «Virittäjä», 55, 3—4, 1951, стр. 440—452.

[9] E. Itkonen, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen, «Finnisch-ugrische Forschungen», XXXI, 3, 1953—1954.

чал бы в себе также развитие гласных удмуртского языка. Рецензируемый мною труд именно и касается этого вопроса. Главным поводом для начала исследования послужило, очевидно, наблюдение автора, что в юго-западных диалектах удмуртского языка для закрытого *o* общекоми языка имеется частично другое соответствие, чем для открытого *o*. В первый раз В. И. Лыткин сделал сообщение об этом, очевидно, в 1956 г. [10]. Позже он разбирал этот же вопрос в статье «К вопросу об истории звука *o* в коми языке»[11] и в докладе «О некоторых соответствиях гласных в финно-угорских языках»[12]. Изучая в 1962 г. бесермянский диалект удмуртского языка, В. И. Лыткин пришел к выводу, что и в этом диалекте существует одинаковое в принципе различие соответствий фонем *o* коми языка. Раньше предполагали (в том числе и автор данной статьи), что общепермское *o* и *ǫ* в удмуртском языке полностью слились и что оба звука представлены теперь через *u*. Было, правда, доказано, что переход *ǫ* > *u* в удмуртском языке произошел раньше, чем переход *o* > *u*. По мнению В. И. Лыткина, *o* и *ǫ* общекоми языка, которые сохранились в верхнесысольском диалекте (далее — вс.), только в некоторых диалектах удмуртского языка (как и в удмуртском литературном языке) соответствуют всегда *u*; тогда как в юго-западном (далее — юз.) и бесермянском (далее — бес.) диалектах удмуртского языка имеется три соответствия: а) *o* общекоми языка соответствует *u*; например: коми вс. *ol-* «жить» ~ удм. юз., бес. *ul-*; б) *ǫ* общекоми языка соответствует *u* в таких словах, где этот звук произошел из допермского гласного заднего ряда; например: коми вс. *ǫzĭr* «богатый»~удм. юз. *uzĭr*, бес. *uzer*, ср. морд. *azoro* «господин» (<арийск., ср. др.-инд. *ásuras*); в) *ǫ* общекоми языка соответствует юз. *ɯ* (=лабиальный гласный среднего ряда), бес. *ɵ* (= нелабиализованный гласный заднего ряда среднего подъема) в таких словах, в которых этот гласный произошел из допермского гласного переднего ряда; например: коми вс. *kǫs(k)* «пояснича» ~ удм. юз. *kɯs*, бес. *kɵs*; ср. морд. *keskă* «поясница», фин. *keski* «средний».

Я внимательно ознакомился с примерами В. И. Лыткина и мог в некоторой степени дополнить их материалами из рукописи удмуртского диалектологического словаря — его составили Т. Е. Уотила и В. М. Корхонен по материалам, собранным Ю. Вихманом; хранившийся в архиве Финно-угорского общества, этот словарь вскоре должен выйти из печати. Хотя сравнительный этимологический материал, к сожалению, очень невелик, по моему мнению, сделанный В. И. Лыткиным анализ *o* и *ǫ* общекоми языка в удмуртских соответствиях как со стороны дескриптивной, так и со стороны угрофинской вполне правильный.

Случаи, упомянутые в пунктах б) и в), не всегда легко различить в юго-западном диалекте удмуртского языка, потому что также в группе б) выступает часто *ɯ* вместо *u* в качестве варианта под влиянием стоящего рядом *j* или смягченного согласного; например: лит. удм. яз. *suj* «рука», юз. *sɯj* (< финно-угор. **soja*, ср. саам. *soaggje* «рукав»). Подобная же палатализация *u* под влиянием стоящих рядом согласных наблюдается иногда и в бесермянском диалекте. Гласный *ɵ* этого диалекта, который встречается в словах группы в), по своему качеству сильно отличается как от *u*, так и от *ɯ*, и поэтому различие гласных, представленных во всех трех группах, яснее всего проступает именно в бесермянском диалекте.

Имеется около десяти удмуртских слов группы б) , для которых мы можем найти точные соответствия в непермских финно-угорских языках. Все эти слова с гласными заднего ряда, исключая слово юз., бес. *uj*, *ɯj* «ночь», соответствия которого имеют гласные переднего ряда (фин. *yö*, венг. *éj* и т. д.). Это пермское слово является, таким образом, со стороны представленных гласных исключением. В группе в) имеется около шести таких слов, для которых мы находим точные соответствия в других финно-угорских языках, и все эти слова имеют гласные переднего ряда. Таким образом, очевидно, что звуковое различие между группами б) и в) является допермской предиспозицией. В группе б) бесспорно выступает общепермский гласный заднего ряда *ǫ*. Напротив, в группе в) должен был быть какой-либо более передний гласный, и здесь нельзя исходить из *ǫ*, как полагал раньше, например, автор данной статьи. Этот более передний гласный представлен в современных юго-западном диалекте через *ɯ* и в бесермянском диалекте через *ɵ*, тогда как в других современных удмуртских диалектах, а также во всем коми языке, он слился с *ǫ* из группы б). В. И. Лыткин в 1961 г. считал, что в общепермском языке этот более передний гласный был гласным среднего ряда, произносившимся между закрытым *ǫ* и закрытым *ǫ̈*, знак которого *ǫ̑* [13]. Позже В. И. Лыткин предполагал здесь другие исходные формы, а именно

[10] В. И. Лыткин, [рец. на:] E. Itkonen, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe..., ВЯ, 1956, 3, стр. 139.

[11] V. Lõtkin, *o*-hääliku ajaloo küsimusest komi keeles, «Emakeele Seltsi aastaraamat», VII, Tallinn, 1961.

[12] W. I. Lytkin, Über einige Vokalentsprechungen in den finno-ugrischen Sprachen, «Congressus internationalis fenno-ugristarum Budapestini habitus 20—24 IX 1960», Budapest, 1963.

[13] V. Lõtkin, указ. соч., стр. 226.

гласный переднего ряда *ӧ* [14], а в рецензируемом труде — немного более закрытый *ӧ̣* (стр. 75). Я категорически придерживаюсь того мнения, что первая реконструкция В. И. Лыткина была правильной. Вполне естественной исходной формой можно считать звук *ӧ̣*, который в одних диалектах изменился со слабой веларизацией в *ǫ*, а в других со слабым затвором в *ɯ*. Интересным является вопрос, каким образом в бесермянском диалекте из *ӧ̣* возникло *ɵ*, которое регулярно появляется здесь также на месте общепермского *i̯* (см. ниже). По предположению В. И. Лыткина (стр. 111), в том удмуртском диалекте, который в свое время приняли бесермяне тюркского происхождения, предполагаемое им общепермское *ӧ̈* изменилось в *i̯*, которое затем, так же как и первоначальное *i̯*, перешло в *ɵ*. Должно ли это обозначать, что процессы уменьшения раствора общепермского *o̯* > юз. *ɯ* и общепермского *e̯* > бес. *ɵ* происходили отдельно и независимо друг от друга? Здесь уместно упомянуть, что *ɵ* бесермянского диалекта, его появление в отдельных словах и его история обязательно требуют точного и специального исследования. (В. И. Лыткин считает, что общепермское **ӧ̈* в отдельных словах в определенном фонетическом положении изменилось не в *ɵ*, а в *ɯ*; это же последнее сохранилось или изменилось позже в *u*, см. стр. 111. С другой стороны, по его мнению, общепермское **ǫ* в бесермянском диалекте в некоторых словах в виде исключения перешло в **u* и далее в **i̯*, см. стр. 113). Общепермское *ӧ̣* первого слога произошло из финно-угорского *e* в таких словах, где также во втором слоге было *e* (например: **mekše* > **mӧ̣š* «пчела») [15].

Не основано ли теперешнее мнение В. И. Лыткина, что в словах группы в) не следует исходить более из общепермского *ӧ̣*, на факте, что в общепермской системе гласных имелась также другая фонема *ӧ̣*, возникшая из финно-угорского долгого *ӧ*? Например: (финно-угор. **δ′ӧ̄me* >) общепермск. **l′ӧ̣m* > коми *l′ɐ̣m*, коми-язв. *l′ɯm*, удм. *l′ɐ̣m*, *l′ӧ̣m* «черемуха» (~фин. *tuomi*). Возможно, В. И. Лыткин считал, что обе фонемы *o̯*, которые были совершенно ясно отделены друг от друга, невозможно поместить в ту же самую систему. Однако между этими фонемами в раннеобщепермском языке безусловно было то различие, что *o̯* из финно-угор. *e* было кратким, тогда как *o̯* из финно-угор. *ō* было долгим, другими словами они образовывали пару *ǫ* — *ō̯*, в которой сохранялась еще количественная корреляция допермского языка. Уже в своей работе «Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe...» (стр. 295) я указал, что *ӧ̣*, возникшее из первоначального *ō* в общепермском языке-основе вполне могло быть долгим. В то время я еще не был знаком с особенностями вокализма юго-западного и бесермянского диалектов удмуртского языка, которые вполне подтверждают выдвинутую мною гипотезу. Теперь мы можем считать достоверным, что полугласный *ɯ̯* происхождению которого до сих пор нельзя было дать точного фонетического объяснения, перед общепермским *ӧ̣* в начале слова и после *k* является результатом раннего процесса дифтонгизации *ō* > *ɯ̯ӧ̣*. Например: общепермск. **ǭm* > **ɯ̯ӧ̣m* > коми (общ.) *vom*, Удора *vɐ̣m*, вс. *ǫm*, коми-пермяцк. *ɐ̣m*, коми-язьв. *ɯm*, удм. *i̯m* «рот»; общепермск. **kǭz* > **kɯ̯o̯z* > коми (общ.) *koz*, вс. *kǫz*, коми-пермяцк. *kɐ̣z*, коми-язьв. *kɯz*, удм. *ki̯z* «ель». Те редкие слова, в которых казалось бы выступает *ō̯*, в упомянутых положениях не дифтонгизировавшееся в *ɯ̯ӧ̣*, объясняются как поздно возникшие и вошедшие в употребление, когда процесс дифтонгизации был уже закончен. Например: общепермское **ǭd* > коми *ɐ̣d* «жар», удм. *ɐ̣di̯* «сила»; общепермск. **kǭd′z′-* > коми *kɐ̣d′z′-*, коми-язьв. *kɯd′z′-*, удм. *kiźi̯-* «сеять». Для таких слов в других финно-угорских языках не найдено соответствий.

Рядом с упомянутым *ɯ̯ӧ̣* как параллельное явление имеется сочетание гласных заднего ряда *u̯ǫ*. И в этом случае полугласный *u̯* выступает в начале слова и после *k*. Например: общепермское **u̯ǫmen* > коми (общ.) *vomɐ̣n*, вс. *ǫmɐ̣n*, коми-пермяцк. *omɐ̣n*, удм. *u̯amen* «через»; общепермск. **ku̯ǫr* > коми (общ.) *kor*, вс. *kǫr*, коми-язьв. *kur*, удм. *ku̯ar* «лист». Возникновение *u̯* было, естественно, таким же как возникновение *ɯ̯*, другими словами: *u̯ǫ* является дифтонгом, возникшим из раннеобщепермского долгого *ǭ*. Развитие *ǭ* > *u̯ǫ* я предполагал возможным еще в исследовании «Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe...» (стр. 282). Пока что нам известно о возникновении фонематической пары *ǫ* — *ǭ* только то, что оба гласных возникли из финно-угорского гласного заднего образования, именно из *a* или *o*.

Важным доказательством наличия во всяком случае частичной, количественной корреляции в еще довольно поздний общепермский период я считаю то явление, что в верхнесысольском диалекте коми языка в первом слоге закрытый *ǫ* в закрытом слоге перед звонким согласным долгий (как это я сам отметил, наблюдая за речью двух лиц из разных деревень этой диалектной области в Сыктывкаре в 1957 г.); наоборот, открытый *o* в тех же позициях, как и в других случаях, краткий. Например: *pǭn* «собака», ср. *pon* «конец». Т. Е. Уотила обозначал это удлиненное *ǫ* как полудлинное. В современном

[14] W. I. L y t k i n, указ. соч.,стр.61.

[15] Ср.: E. I t k o n e n, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe..., стр. 278, 279 и V. L õ t k i n, указ. соч., стр. 228.

верхнесысольском диалекте долгота *ǫ* носит, конечно, характер избыточности, но когда вопрос стоит о языке, подобном коми, на звуковое развитие которого уже в общепермский период начала влиять тенденция утраты количественной корреляции, невозможно предполагать вторичного удлинения гласного без фонологического значения. Если исходить из верхнесысольского удлиненного *ǫ*, то большое значение приобретает также ижемский диалект, в котором, как это видно из записей Ю. Вихмана, все гласные обыкновенно являются полудолгими или долгими именно в закрытом слоге перед звонким согласным. Например: *tàb* «поплавок», *bēd* «палка», *sẹ̀n* «жила», *gìžnị* «писать», *gī̯ž* «ноготь», *kòr* «лист», *kǫ̀rnị* «просить», *ṭṣùẓnị* «родиться». По записям Т. Е. Уотила то же явление наблюдалось в языке выходцев с Ижмы, живших до 1940 г. в Печенге. Примеры ижемского диалекта еще не доказывают, что количественная корреляция в общепермский период касалась всех гласных. Широко распространено удлинение гласных перед звонким согласным в закрытом слоге; оно, возможно, является конечным результатом различных явлений аналогии. Пока я предполагаю, что в раннеобщепермском языке количественная корреляция имела место, во всяком случае, для *ǫ̇* — *ǭ̇*, *ǫ* — *ǭ*, *ị* — *ī̯*. Что касается фонематической пары *ị* — *ī̯*, то в «Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe...» (стр. 301—302), я указал, что без наличия количественной корреляции в общепермском языке, такие различные гласные как финно-угор. **u*, **ü* и **ē* не могли бы слиться в фонему *ị*. Таким образом, следует предполагать такие раннеобщепермские количественные соотношения, как например: *sị̄l-* «таять» (< финно-угор. **sula-*), *kịnm-* «мерзлый» (< финно-угор. **külmä*) ~ **kī̯l* «язык» (< финно-угор. **kēle*). Только позже произошло затемнение количественной корреляции, и **kī̯l* получило современную форму *kịl*. Установление подобной количественной корреляции как существенной черты общепермской системы гласных делает еще более сложным выяснение возникновения и развития данной системы. Материала для изучения здесь достаточно на долгое время.

Таким образом, я пришел к выводу, что тот звук общепермского языка, который представлен удм. юз. *ш* и бес. *ө*, не был гласным *ǫ̈*, но гласным среднего ряда *ǫ̇*. В. И. Лыткин предполагает наличие в общепермской системе гласных, кроме *ǫ̈*, еще двух лабиальных гласных переднего ряда, а именно *ö* и *ü*. Что касается двух последних фонем, то мне кажется, нет никакой причины и даже никакой возможности предполагать их наличие. Выдвинутых примеров слишком мало и они слишком разнородны, чтобы на основе их можно было реконструировать две новые первичные фонемы. Так, например, предполагаемая фонема *ö* имелась якобы в пяти словах, в которых коми язык указывает на общепермское *ȯ*, а удмуртский язык на *ǫ̇*. Такое же *ö* имелось якобы в четырех словах, в которых коми язык указывает, как и в предыдущем случае, на *ȯ*, но удмуртский язык, по-видимому, на *u* из общепермского *o*. (например: коми *śẹlẹm* ~удм. *śulem* «сердце»). Безусловно, соответствия коми **ȯ*~ удм. **ǫ̇* и коми **ȯ* ~ удм. **o* являются исключениями и выражают групповые переходы качественно близких гласных, как это до сих пор и объяснялось. Очень небольшая группа слов, на которую в основном опирается В. И. Лыткин в своей гипотезе о наличии общепермского *ü*, состоит из девяти слов, в которых в коми языке и в удмуртском литературном языке имеется *u*, но в юго-западном диалекте удмуртского языка — *ш* и в бесермянском диалекте — *ө*, т. е. здесь мы имеем то же соответствие, что и в вышеописанной группе слов, в которой, по моему мнению, представлено раннеобщепермск. *ǫ̇*. Возможно, и в этих словах, в которых В. И. Лыткин предполагает *ü*, первоначально было *ǫ̇*, которое в коми языке сначала нормально перешло в *ǫ*, но позже по неизвестным причинам спорадически смешалось с близким *u*.

Сильное сомнение возбуждает также новый взгляд В. И. Лыткина, что гласный *ị* (например: коми, удм. *kịl* «язык»), имеющий в пермских языках очень большую повторяемость, возник из общепермского лабиального гласного среднего ряда *ш* (*ü*). Здесь аргументом В. И. Лыткина были верхневычегодские диалекты коми языка, в которых действительно вместо *ị* выступает *ш*. Однако значительно более вероятно, что в этих диалектах произошло позднее изменение *ị* > *ш*. Как вторичное это *ш* еще раньше объяснял П. Аристе [16]. В верхневычегодских диалектах проявилась тенденция, которая привела к потере *ị* в системе фонем. В непервом слоге *ị* заменялось не через *ш*, но через близкий иллабиальный гласный *i* (*ị*). Например: *ị ḍẓịd* «большой» >*üdžid*. Вопреки мнению В. И. Лыткина, вполне понятно, что *ị* в одном слоговом положении могло перейти в *ш*, а в другом в *i*. Лыткин же на основе верхневычегодских диалектов неосновательно делает вывод, что в общепермском языке имелся во втором слоге первоначально только гласный *i* (или *ị*), который позже почти во всей области пермских языков дифференцировался в *ị* и *i*. История развития была, однако, как раз противоположная. Например, ясно,

[16] P. Ariste, Mõningaid märkmeid komi keele foneetika alalt, «Emakeele Seltsi aastaraamat», V, Tallinn, 1959, стр. 254.

что окончанием инессива уже в раннеобщепермском языке было *i̯n* (например: **vǫri̯n* «в лесу»), тогда как признаком претерита было *i* (например: *kuli* «он умер»). Кроме того, напрашивается вопрос: засвидетельствована ли где-либо система гласных, в которой было бы, как в предполагаемой В. И. Лыткиным системе гласных общепермского языка, девять различных кратких лабиальных гласных?

В системе общепермского языка, по реконструкции В. И. Лыткина (ср., например, стр. 231—233), имелось целых 14 фонем, различие между которыми было только качественным, потому что, по мнению В. И. Лыткина, количественная корреляция была общепермским языком уже полностью утрачена. Как было уже сказано мною ранее, три новые фонемы, лабиальные гласные переднего ряда *ӥ*, *ӱ*, *ӧ*, которыми В. И. Лыткин хотел обогатить реконструированную ранее систему, совершенно излишни. Если еще вместо предполагаемого В. И. Лыткиным *ӥ* вернуться к предполагаемому ранее *i̯*, то получим систему, в которой представлены те же самые 11 гласных фонем, как и в реконструированной мной системе общепермского языка. С другой стороны, моим новым взглядам соответствует то положение, что в общепермской системе было больше, чем 11 гласных фонем. Кроме этих одиннадцати кратких гласных, имелось во всяком случае три (вероятно, даже больше) долгих гласных, но они отличались от соответствующих кратких только по своему количеству, а не по качеству.

Мое внимание было обращено главным образом на вокализм первого слога пермских языков, которому посвящена большая часть труда В. И. Лыткина. Большой интерес вызывает краткая глава «О вокализме непервого слога» (стр. 235—243), особенно из-за выраженного в ней мнения, что *j*, появляющийся во многих существительных коми языка после согласного основы (например: *ki̯l-j-* или *ki̯v-j-* «язык»), первоначально возник в финно-угорских словах с основами на *e*. Это обстоятельство могло бы иметь исключительно большое значение в истории основ пермских слов. Остается пожелать В. И. Лыткину углубиться в изучение этого специального вопроса.

Следует еще отметить, что в числе соответствий для пермских слов, предполагаемых В. И. Лыткиным в других финно-угорских языках, имеется довольно большое количество таких, которые вряд ли можно принять; опираясь на эти соответствия, автор тем самым наносит ущерб некоторым своим выводам. Несмотря на то, что, по моему мнению, не все высказанные В. И. Лыткиным положения являются достаточно обоснованными, рецензируемый труд имеет значительную ценность. Новые наблюдения В. И. Лыткина в области удмуртского языка войдут в историю изучения вокализма пермских языков, а очень богатый, хорошо систематизированный и анализированный материал, собранный им, делает труд «Исторический вокализм пермских языков» источником, которым будут пользоваться все будущие исследователи этих вопросов.

Э. Итконен

«Очерки по истерической грамматике русского литературного языка XIX века», под ред. акад. В. В. Виноградова и доктора филол. наук Н. Ю. Шведовой.— М., изд-во «Наука», 1964.

1. Рецензируемые пять томов «Очерков» ставят себе целью установить основные тенденции развития грамматического строя литературного языка как целостной системы. Они представляют собой детальное описание (всего 2000 стр.) прежде всего двух ярусов грамматического строя литературного языка — синтаксиса простого, осложненного и сложного предложения, включая синтаксис словосочетаний знаменательных частей речи, и морфологического словообразования знаменательных частей речи, дополненное образованием предлогов и союзов. Раздел морфологии в собственном смысле слова, прикрепленный к словообразованию, разработан менее подробно, он ограничивается главным образом описанием судьбы отдельных морфологических форм, т. е. плана выражения, в то время как функционирование морфологических категорий осталось по большей части не затронутым, хотя некоторые наблюдения этого рода попутно приводятся в разделе синтаксическом (например, судьба категории времени и наклонения).

Не представляют полного описания также отдельные разделы синтаксиса и словообразования. Отчасти неполнота связана с тем, что обычно авторы концентрируют свое внимание на тех звеньях структуры языка, которые, так сказать, проверены, т. е. для которых можно было заранее ожидать известное движение, хотя бы только количественное, и оставляют в стороне те звенья этой структуры, удельный вес которых в развитии русского языка до сих пор не был предметом

пристального внимания исследователей [1]. Читателю не всегда ясно, пропущен ли тот или иной круг вопросов потому, что развитие данной области в основном завершалось до XIX в., или же его пропуск более или менее случаен.

Если оставить в стороне некоторую неполноту изложения, «Очерки» представляют собой чрезвычайно ценный результат коллективной работы. Их значение заключается прежде всего в классификации колоссального материала, извлеченного из десятков произведений, начиная со второй половины XVIII в. Представлены самые разнообразные жанры: научная и описательная проза, публицистика и журналистика, художественная литература, мемуары, частные письма, деловые документы; при анализе используются грамматики и словари. Материал представлен с максимальной полнотой, нередко даются полные списки явлений (как они отмечены в словарях). Исходным периодом для описания является вторая половина — конец XVIII в. На фоне литературного языка этого периода более выпукло предстают то более, то менее заметные количественные изменения, приводящие в итоге к некоторым качественным преобразованиям отдельных звеньев структуры языка.

Внимание авторов привлекают прежде всего судьбы дублетных форм и конструкций; отмечается общая тенденция к их размежеванию, к функциональной специализации в широком смысле слова (стилистической и семантической, т. е. функциональной в более узком смысле слова). Регистрируются отмирающие формы и конструкции, выявляется зарождение и постепенное нарастание новых. Устанавливается их место в системе имеющихся языковых средств и их влияние на изменение отношений в рамках подсистем грамматической структуры.

Авторы учитывают стилистическую дифференциацию языковых средств. Кажется, однако, что отдельные жанры представлены непропорционально; например, гораздо больше материала, согласно традиции, извлечено из художественной литературы, чем, например, из языка научной или научно-популярной литературы, специфические особенности которого, равно как и особенности языка публицистики, сказывающиеся в современном литературном языке, заслуживают самого пристального изучения.

Для развития системы литературного языка учитываются различные влияния извне: взаимодействие литературного языка и разговорной среды, отчасти также диалектной, иноязычное (французское и польское) влияние на русский литературный язык.

Схема построения отдельных томов такова: они начинаются с введения, содержащего общую характеристику исследуемых в данном томе явлений и основных тенденций их развития. При изложении материала дается характеристика состояния изучаемого явления в конце XVIII — начале XIX в. и намечаются перспективы его развития, затем излагаются процессы, характерные для XIX в. По мере необходимости выделяются более дробные периоды. В некоторых случаях такое построение неэкономно, особенно тогда, когда уже в конце XVIII — начале XIX в. данное явление было архаическим, отмирающим. В таких случаях выгоднее было бы во втором разделе о нем уже не упоминать и концентрировать внимание на живом, нарастающем [2].

Трудно в небольшой рецензии охватить все богатство наблюдений над материалом, содержащимся в отдельных томах. Ограничимся лишь краткой их характеристикой и отдельными, большей частью методическими, замечаниями.

2. «Изменения в системе простого и осложненного предложения» (499 стр.) содержат вводную статью «Некоторые тенденции развития простого и осложненного предложения в XIX в.» (стр. 9—19, автор Н. Ю. Шведова) и два больших раздела: «Изменения в системе простого предложения» (стр. 20—368, автор Н. Ю. Шведова) и «Изменения в системе осложненного предложения» (стр. 369—482, автор И. И. Ковтунова).

2.1. Из богатой проблематики простого предложения избирается активизация основных разновидностей именного сказуемого и конкуренция морфологических форм (полные и краткие прилагательные; им.— твор. падежи существительных и прилагательных, причем нарастание твор. демонстрируется главным образом на судьбе существительных; косвенные падежи и предложные конструкции), судьба связочных глаголов, соотношение причастных и глагольных сказуемых. Второй раздел содержит проблематику безличных предложений — изменения в наречных предложениях, глагольных, причастных, именных, в предложениях с беспредложным род. и вин. в качестве обязательного компонента. Третий раздел

[1] Как указано в предисловии, авторы широко использовали материалы и выводы имеющихся исследований, свидетельством чего является богатая библиография отечественных и зарубежных работ.

[2] Н. Савицкий и Р. Шишкова в рецензии, напечатанной в журнале «Československá rusistika» (IX, 4, 1964, стр. 240), отмечают, что создается впечатление преимущественного описания отмирающих явлений в ущерб собственно новому, большее внимание к которому позволило бы по-иному взглянуть на развитие литературного языка.

охватывает изменения в системе инфинитивных предложений (ограничение предложений с формами вспомогательного глагола, распространение модальных частиц, инфинитивно-назывных и вопросительных предложений и др.).

При интерпретации материала авторы обычно исходят из идей русской грамматической традиции; при его истолковании с позиций иных методов возникают некоторые вопросы. Не всегда удовлетворяют критерии членения предложений на односоставные и двусоставные. К односоставным отнесен целый ряд предложений, которые явно двусоставны; здесь скорее следует говорить не о нарастании отдельных типов безличных предложений, а о расширении возможностей инфинитива и придаточного предложения входить в парадигматический ряд с им. падежом-подлежащего. В частности, это некоторые разряды «наречных безличных предложений». Подлежащим является инфинитив (придаточное предложение), и сказуемое выражено не наречием, а прилагательным в форме ср. рода: *огорчительно видеть, что...* (стр. 243 и сл.).

Проверка на двусоставность проста. Инфинитив (придаточное предложение) потенциально заменим отглагольным существительным. Отсутствие существительного у конкретного глагола не может считаться доказательством несостоятельности такой субституции — достаточно представить себе в этой позиции другое имеющееся отглагольное существительное. Всегда возможна субституция подлежащего указательным местоимением *это*, т. е. его прономинализация. См. примеры (стр. 251 и сл.): *Жить в Петербурге дорого → Жизнь дорога // Это дорого. Пренебрегать своими предками не похвально → Пренебрежение предками // Это не похвально.* См. также предложения с полузнаменательными глаголами (стр. 257 и сл.): *Становится известно, что... Шиллеру показалось очень досадно, что...* и т. п. Желательно было бы рассмотреть круг прилагательных, сочетающихся с инфинитивным подлежащим.

Доказательством безличности не может служить дат. падеж, совпадающий по форме с дат. субъекта безличных предложений. В предложении *Умному человеку непростительно брать взятки* (стр. 245) представлен не дат. субъекта, а дат. ограничения, свидетельством чего является возможная субституция дат. падежа предложным оборотом *для* + род. падеж. Возможное значение ограничения или значение объекта, в интересах которого что-нибудь происходит, не учитывается в разделе, посвященном развитию способов выражения «субъекта, испытывающего состояния» (стр. 248 и сл.): *для молодой девушки главное выйти замуж.* Безличным считается даже *Это для меня была бы пустая выгода рассказывать, что...*

Из сказанного вытекает, что к безличным предложениям можно отнести только те наречные (глагольные и др.) предложения, инфинитив (придаточное предложение) которых не поддается субституции местоимением *это*. Дат. падеж в таком случае представляет настоящий дат. субъекта. См., например, невозможность субституции инфинитива в *Тебе нельзя простить меня; Журналу должно иметь свою физиономию* (стр. 259), но возможное *позволено критиковать → позволена критика // это позволено, мне нужно было поговорить → мне нужно было это // разговор мне был нужен* и т. п. (стр. 264).

Сказанное относится также к интерпретации глагольных предложений (стр. 275 и сл.): *меня забавляло наблюдать людей*, причастных предложений (стр. 292 и сл.): *Законом не запрещено судье спать*, и др. Предложение с пассивом в ряде случаев остается формально двусоставным, хотя субъект (≈ агенс) отодвинут на второй план. Это же самое относится к именным безличным предложениям, о которых сказано, что они — «особенно с препозитивным инфинитивом — стоят на грани безличности: они обнаруживают явную тенденцию к расчленению на два состава» (стр. 327). Разница между предложением с препозитивным и постпозитивным инфинитивом, на наш взгляд, заключается лишь в актуальном членении (тема — рема); она не сказывается в членении синтаксическом (подлежащее — сказуемое).

Трудно согласиться с отнесением *это* к местоименным связкам. *Это* способствует обособлению подлежащего, т. е. позволяет ему выйти за рамки предложения, в результате чего и вследствие прономинализации само ставится на его место.

Сосредоточение внимания на форме сказуемого ведет к тому, что остаются в стороне некоторые существенные вопросы, связанные с возможностью его распространения (они не затрагиваются также в томе, посвященном синтаксису словосочетания). Например, в разделе, рассматривающем активизацию безличных предложений с возвратным глаголом, следовало обратить внимание на судьбу качественной детерминации — ее рост или сокращение. См. на стр. 274 некомментированные примеры: *Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось, Чарову тяжело зевалось* и др. Больше места, например, следовало отвести конкуренции наречия и полупредикативного прилагательного типа *стою неподвижен // неподвижно* (на стр. 151 это явление характеризуется в двух предложениях, хотя форме прилагательного отведены десятки страниц) и т. п.

В книге не дается определения термина «трансформация», но на основании его употребления (редкого) можно интерпре-

тировать его как взаимную замену синонимических конструкций. Такое же содержание вкладывается в этот термин в остальных томах. Эта трактовка нам кажется широкой; с нашей точки зрения, необходимо учитывать направление трансформации. См., например, на стр. 201 трансформацию субъекта пассивной конструкции в объект активной, на стр. 202 сохранение порядка слов при трансформации причастных конструкций в активные. Нельзя согласиться с тем, что имеется отношение трансформации между *голова его не обитаема умом — в голове его не обитает ум* (стр. 203). С другой стороны, можно было использовать формальные приемы (трансформация, эллипсис) для объяснения, например, беспредложного род. в секундарной функции именного сказуемого, «не соотнесенного с другими видами сказуемых» (стр. 176 и сл.), см. соотношение *товар был первого сорта ← товар был* (*товар*) *первого сорта*, *вверь этот громадного размера ← зверь этот* (*зверь*) *громадного размера* и т. п.

Раздел простого предложения дополнен описанием изменений в сказуемостном функционировании некоторых глагольных форм и сочетаний (стр. 217—240). В этой главе проблемы только выдвигаются; за исключением форм императива в неимперативных функциях, сказуемостного функционирования деепричастий и сочетаний с субъектным инфинитивом (*ходил навестить* и др.), они не документированы материалом XIX в.

2.2. Раздел, посвященный изменениям в системе осложненного предложения, содержит описание синтаксических функций и структуры деепричастных оборотов и предложений с этими оборотами, описание изменений причастных оборотов (употребление полных и кратких форм, структура предложения и причастного оборота); исследуется история обособленных групп с прилагательным и существительным. Внимание уделяется также союзным сочетаниям групп слов с однородными и неоднородными членами и групп слов и зависимых предложений. В результате получается полное представление о передвижениях в структуре осложненного предложения, вызванных судьбой отмеченных конструкций. Желательно было бы разве только обратить внимание на возможность отнесения деепричастия к действию, выраженному инфинитивом.

Некоторое несогласие вызывает трактовка приложения. Не совсем ясно, на основании каких критериев в предложении *И тихо как луна, царица летней ночи, сияла там любовь* приложением считается второй им. падеж, а в предложении *и дотоле дщерь небес, Поэзия, для душ чистейших благом будет* (стр. 441) — первый. В обоих примерах детерминирован первый им. падеж вторым, выделенным запятыми [3].

3. «Изменения в системе словосочетаний» (303 стр.) содержат предисловие (стр. 7—16) и разделы «Изменения в глагольных словосочетаниях» (стр. 17—127, автор В. М. Филиппова), «Изменения в субстантивных словосочетаниях» (стр. 128—220, автор В. А. Белошапкова), «Изменения в адъективных словосочетаниях» (стр. 221—262, автор Н. Н. Прокопович) и «Изменения в наречных словосочетаниях» (стр. 263—286, автор Г. А. Золотова).

Во всех разделах внимание сосредоточено на утрате семантической нерасчлененности словосочетаний, устранении дублетных конструкций, росте предложных моделей в связи с появлением специализированных предлогов. Учитывается влияние стержневого слова и его словообразовательных и семантических связей на вид словосочетания и др.

3.1. В разделе глагольных словосочетаний рассматриваются словосочетания, выражающие причинные, целевые, пространственные и временные отношения. Тем самым проблема глагольных словосочетаний в узком смысле слова, обусловленных валентностью глагола, не затрагивается; возникает вопрос, правомерно ли отнесение к глагольным словосочетаниям обстоятельств, в большинстве случаев связанных с глаголом свободной связью. Семантика глагола оказывает малое влияние на выбор той или иной конструкции; обстоятельства, как правило, представляют собой фон, на котором осуществляется предикация [4]. Здесь скорее следовало бы говорить об изменениях в форме адвербиальной детерминации (обстоятельства) как таковой. Несмотря на свободную связь обстоятельств и глагола, желательно было бы исследовать, как сказывается на выборе того или иного обстоятельства семантика глагола. Известна, например, связь обстоятельства со значением направления с некоторыми классами глагола (глаголы со значением перемещения), в то время как связь с другими глаголами (например, *его ждали дома с работы*) оказывается свободной. Интересно было бы выяснить, расширяется ли круг глаголов, сочетающихся, например, с этим типом обстоятельства.

Не затрагиваются проблемы замены некоторых типов обстоятельств, напри-

[3] См.: Н. Křížková, K pojetí přístavku v ruské a české gramatické tradici, «Sborník university Palackého, Jazyk a literatura», VIII, Praha, 1961; см. также: W. Motsch, Untersuchungen zur Apposition im Deutschen, «Studia grammatica», V, Berlin, 1965, стр. 87 и сл.

[4] См.: Н. Ю. Шведова, Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения, ВЯ, 1964, 6.

мер, обстоятельства со значением места и направления, ср. совр. *собрали детей в школу // в школе, его назначили послом в Норвегию // в Норвегии* и др. Описание изменений в сочетаниях с пространственными значениями ограничивается судьбой дублетных конструкций с тем же значением: *идти навстречу к нему // ему // его, поставить в театре // на театре*.

Сложную проблему представляет классификация значений, опирающаяся в основном на контекст. Обычно ей бывает присущ известный субъективизм: то, что один исследователь считает дробным, другому кажется мало дифференцированным, и наоборот. Примером дробной классификации может послужить перечень значений временных конструкций на стр. 102 и сл. Не совсем ясно, в чем заключается разница между вторым значением (действие, длящееся на протяжении временного отрезка: *путешествовал весь год*) и четвертым значением (действие и количество времени, на него затраченное: *писал два часа*) беспредложного вин. падежа (это же относится к примерам на стр. 113: *служил в течение, в продолжение зимы, пяти лет* — выделяются те же два значения). С другой стороны, вряд ли можно интерпретировать *взял на неделю* как «действие и количество времени, на него затрачиваемое» — взятие же длилось не неделю.

При классификации обстоятельств с темпоральным значением, видимо, необходимо выделить три семантические разновидности: собственно временное значение (действие и время его совершения), дуративное значение (действие и количество времени, на него затраченное) и фреквентативное значение (действие и указание на количество или частотность его реализации). В рамках этих разновидностей необходимо в большей степени считаться с видом глагола; см., например, примарное сочетание беспредложного вин. падежа с дуративным значением с несовершенным видом. При этом полезно обратить внимание на историю сочетания беспредложного вин. падежа и параллельного наречия *долго — недолго* с совершенным видом: *посидеть час // долго, усидеть минуту // долго, продержать неделю // долго. В // во* + вин. примарно сочетается с совершенным видом; употребление несовершенного вида сопровождается нейтрализацией видового противопоставления, несовершенный вид выражает неактуальное, повторяющееся действие (см. *строить в год, за год*). *На* + вин., безразличное к виду, выражает не количество затраченного на действие времени, а длительность его результата (*уехать на год*) [5].

[5] См.: К. Кржижкова, Темпорально-квантитативная детерминация глагола, «Ceskoslovenská rusistika», XI, 2, 1966.

Не чувствуется разницы между действием, совершающимся «в один из моментов названного отрезка времени» (*явился на утро*), и действием и временем его осуществления, определяемым «по отношению к предшествующему времени» (*заболел на следующий день*); эта разница не в самой предложной конструкции, а в ее лексических компонентах (атрибут *следующий*). Неотмеченным остался тип *назначить* (*заседание...*) *на завтра*, где *на завтра* выражает время совершения не *назначить*, а отглагольного существительного (ср. *Заседание назначено сегодня на завтра*).

Трудно согласиться с тем, что в *не видеться годами* временное значение «осложнено значением образа действия» (стр. 96) — возможна субституция *долго*, но не *как, каким образом*.

3.2. В разделе о субстантивном словосочетании освещаются вопросы о соотношении между словосочетаниями с прилагательными и с косвенными падежами существительных, выражающими отношение к лицу, к группе лиц и к не-лицу, о соотношении беспредложных словосочетаний (конкуренция род. — дат., род.— твор. падежей); беспредложных и предложных словосочетаний (вытеснение беспредложных род., дат. и твор. падежей, вытеснение предложных конструкций) и предложных словосочетаний с существительными в роли стержневого слова. Из множества затронутых здесь тем выбираем три.

Изучая способы выражения субъекта и объекта действия, выраженного существительным, необходимо осветить функционирование притяжательного местоимения, отношение между исчезающими притяжательными прилагательными и род. падежом, особенно в сочетании с существительными, образованными от переходных глаголов. Сами по себе род. присубстантивный, местоимение и прилагательное притяжательное отношения к субъекту или объекту не сигнализируют, но совместное их употребление способствует однозначности конструкции. Притяжательное местоимение и прилагательное, будучи детерминацией слева, связываются с субъектом, в то время как род. падеж (= детерминация справа) представляет объект действия: *его возвращение* (=*он возвратился, его возвратили*), *возвращение сына* (= *сын возвратился, сына возвратили*), но *его возвращение сына* (= *он возвратил сына*).

Проблема вытеснения у отглагольных существительных характерной для существительных детерминации (прилагательных род. падежа), приводящего к сближению модели словосочетания существительного с моделью словосочетания глагола, нуждается в комплексном подходе. Вытеснение прилагательных с местным значением связано с семантическими

сдвигами в системе относительных прилагательных — с развитием у них качественных значений [6]. Оно характерно также для существительных с конкретным значением и сказывается в росте вторичных функций адвербиальных конструкций. Однако, например, обстоятельство времени в сочетании с существительным заменяется, как правило, прилагательным. Ср., например, *сегодняшняя Москва*//*Москва сегодня*, но только *сегодняшняя встреча*. По нашим подсчетам, опирающимся на анализ языка современной публицистики, в современном русском языке значение места действия при отглагольном существительном выражено прилагательным в 18% случаев, адвербиальными конструкциями в 82%, в то время как у значения времени соотношение 78% прилагательных на 22% наречных конструкций (замена наречной конструкции прилагательным невозможна, например, в случае распространения существительного такой конструкции). Регулярная субституция наречия прилагательным наблюдается при качественной детерминации глагола и отглагольного существительного.

Соотношение род. и твор. падежей необходимо было бы дополнить рассмотрением сочетаний с существительными типа *движение*, *взмах* и т. п.; ср. совр. *кивок головы*, *движение руки*, *взмах руки* и др.

В некоторых случаях к словосочетаниям с существительными отнесены явления по крайней мере спорные, относящиеся скорей к плану предикации предложения в целом. Доказательством может послужить свобода порядка слов: *Настал конец страданию нашему — Страданию нашему настал конец* (стр. 161). В таких случаях мы имеем дело с дат. ограничения. Ср. твор. ограничения: *Я совсем не щеголь ни одеждою, ни обращением, ни душою* (стр. 201), предложные конструкции с тем же значением: *По чувствам братья мы с тобой* (там же) и др. Присубстантивными эти конструкции становятся только в результате трансформации, т. е., например, в результате редукции глагола.

3.3. Изменения в адъективных словосочетаниях исследуются как результат развития категории качества. Отмечается относительно поздний рост возможностей распространения полных прилагательных, сравниваются конструктивные возможности полных и кратких форм, отмечаются сочетания с полными прилагательными, не имеющие параллелей среди кратких форм.

В пределах словосочетаний с прилагательными в некоторых случаях рассматриваются члены, связанные с прилагательными лишь вторично, посредством существительного. Точно так же, как нельзя считать словосочетанием *новое школьное* в *новое школьное платье*, нельзя, на наш взгляд, относить к словосочетанию с прилагательным *черный с проседью*, *деревянный с резьбой* и т. п. (см. *черная с проседью борода*, *деревянный с резьбой портсигар*, стр. 259 и сл.). В подобных случаях мы имеем дело с двойной, иерархической детерминацией существительного. Более тесной следует признать связь *портсигар с резьбой*, *борода с проседью*; это синтаксическое целое в свою очередь детерминируется прилагательным подобно тому, как в случае *новое школьное платье* мы имеем дело сперва с детерминацией *школьное* + *платье*, а затем со второй — *новое* + *школьное платье*. Доказательством является реальное существование лишь первой ступени детерминации (*портсигар с резьбой*, *платье в горошинку* и т. п.), а также свобода порядка слов (*деревянный портсигар с резьбой* и т. п.). Порядок слов в сочетании *деревянный с резьбой портсигар* лишь внешне напоминает соотношение между членами в словосочетании *безымянный для нас человек*, *соседняя от той комната* (стр. 258), в котором действительно прилагательное детерминировано предложным оборотом.

Можно согласиться с тем, что распространение полных прилагательных в атрибуте вызвано ростом их употребления в предикате, но это не единственный импульс. Степень распространенности прилагательных в атрибуте нуждается в комплексном изучении; в частности, целесообразно исследовать ее на фоне распространенности глагола в атрибуте. Атрибут-причастие детерминирован гораздо реже, чем личная форма того же глагола.

3.4. В следующем разделе исследуются изменения в наречном управлении — отмечается принципиальная близость наречного и предложного управления и взаимодействия глагольных, адъективных и наречных словосочетаний. Особое внимание уделяется сочетанию наречий с наречиями, в частности с наречиями меры и степени, и с субъектно-оценочными определителями. Следует отметить, например, тонкие наблюдения над параллелизмом между наречными словосочетаниями и сложноподчиненными предложениями (*удивительно медленно — удивительно, как медленно подвигается работа*, стр. 283). Можно только сожалеть о том, что подобные наблюдения не были проделаны для сочетаний этого типа с прилагательными и глаголами.

4. «Изменения в строе сложноподчиненных предложений» (264 стр.) содержат вводную статью «Основные направления

[6] См.: «Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного», стр. 498—499.

в развитии структурных типов сложноподчиненного предложения в русском языке XIX в.» (стр. 7—19, автор Н. С. Поспелов) и два раздела: «Развитие предложений „одночленной" структуры» (стр. 20—82, автор Н. С. Поспелов) и «Развитие подчинительных конструкций функциональных типов» (стр. 83—256, автор Е. А. Иванчикова).

В обоих разделах исследуется разграничение конструктивных моделей внутри отдельных структурно-семантических типов. Отмечается усиление подчинительной связи и роли подчинительных союзов, следствием чего является соотносительное развитие открытых и закрытых конструкций и судьба коррелятивных частей. Последовательное разграничение открытых и закрытых структур (типы *т // к* и *к // т*) и классификация типов по этим признакам оказались весьма плодотворными.

4.1. В рамках предложений «одночленной структуры» рассматривается судьба основных разновидностей присубстантивно-относительных конструкций, т. е. конструкций с определительной и повествовательно-распространительной функциями, местоименно-соотносительных конструкций с препозицией и постпозицией придаточной части и изъяснительных конструкций, в которых в качестве опорного слова выступает глагол, существительное или безлично-предикативное слово.

Несколько категорическим кажется утверждение о том, что в присубстантивно-определительных конструкциях, вследствие тесной связи между определяемым словом и придаточным предложением, относительные местоимения *где*, *куда*, *откуда* утрачивают функцию отдельного члена предложения и «обнаруживают тенденцию к переходу в служебно-связочные слова» (стр. 13, 28, 29 и др.). Роль местоимений двойственна; они, как все местоимения вообще, являются прежде всего субститутами полнознаменательных слов, в данном случае субститутами адвербиальных конструкций (*зала, где ← ← в ней собираются купцы, обширна*), и выполняют в рамках придаточного предложения функцию, сходную с функцией исходной конструкции. Факт, что форма относительного местоимения одновременно секундарно указывает на связь его (и его посредством всего придаточного предложения) с существительным за пределами данного предложения, не может служить доказательством ослабления первой его функции. Преобладанием примарной функции над вторичной, т. е. над связующей, а не переходом относительных слов на позиции служебно-связочных, можно объяснить закрепившийся во второй половине XIX в. порядок *имя которого ← которого имя*. *Которого* выполняет ту же функцию, что и род. присубстантивный, поэтому за ним закрепляется постпозиция. Возобладание связующей функции имело бы следствием скорее препозитивное положение, характерное для союзов.

В рамках местоименно-соотносительных конструкций желательно было бы обратить внимание, кроме анализируемых пар *кто — тот*, *что — то*, *как — так*, *каков — таков*, *сколько— столько* также на пары *где — там*, *куда — туда*, *откуда — оттуда* с возможными вариациями (*где — туда*, *куда — там* и др.) и влияние этого рода конструкций с разновидностями *к//т*, *т//к* на пропуск коррелятива.

4.2. Во втором разделе исследуется развитие придаточных предложений временных, условных, уступительных, причинных, следственных и целевых, т. е. в первую очередь изменения в употребительности союзов и союзных сочетаний. Должное внимание уделяется дифференциации оттенков синтаксических значений конструкций и фразеологизации их компонентов.

Сложную проблему представляет собой формирование составных союзов — определение ступени их слитности. Если, как указано на стр. 116, причинные составные союзы *оттого что*, *для того что* непосредственно соотносились с предложными формами указательных и вопросительных местоимений, то следовало бы говорить о самостоятельном значении *от того*, *для того*, а не о компоненте составного союза. Самостоятельность прономинализированных предложных конструкций в составе сложного предложения заключается в том, что они, указывая на характер синтаксических позиций, способствуют включению придаточного предложения (сигнализированного союзом *что*) в состав другого предложения [7]. С точки зрения синтаксических функций не существенна, например, разница между прономинализированным *в то время + как*, считающимся компонентом составного союза (стр. 194 и сл.), с одной стороны, и прономинализированным *в ту минуту + как* и т. п., отнесенным к определительно-временным конструкциям с определяемыми существительными (стр. 195) или же «союзным сочетанием» *после того + как*, *перед тем + как* (стр. 200 и сл.), с другой.

Желательно было бы больше внимания уделять виду глагола главного предложения, налагающего некоторые ограничения на выбор вида в придаточном временном предложении. Например, отмечается употребление совершенного вида — наряду с несовершенным — в обеих частях конструкции с союзным сочетанием *всякий//каждый раз как//когда* со значе-

[7] См.: W. Hartung, Die zusammengesetzten Sätze des Deutschen, «Studia grammatica», IV, Berlin, 1964, стр. 79 и сл.

нием повторяемости, а приведен только пример с несовершенным видом (стр. 93). Употребление совершенного вида следовало бы проверить — возможна нейтрализация видового противопоставления и употребление немаркированного члена. *Всякий // каждый раз как // когда* вряд ли можно считать союзным сочетанием. *Всякий раз // каждый раз* представляет собой обстоятельство со значением темпорально-квантитативным (выражает частотность реализации действия), свободно сочетающееся с обстоятельством собственно временным: *всякий раз перед обедом, после ужина, во время перерыва* и т. п.

5. «Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного» (600 стр.) содержат вводную статью «Основные тенденции развития словообразования в русском литературном языке XIX в.» (стр. 7—17, автор Е. А. Земская) и два словообразовательных раздела: «Изменение в системе словообразования существительных» (стр. 18—135, автор Н. В. Хохлачева) и «Изменения в системе словообразования прилагательных» (стр. 277—555, автор Е. А. Земская). Сюда же вошли статьи «Изменения в употреблении падежных форм существительных» (стр. 163—276, автор В. А. Плотникова-Робинсон), «Изменения в области родовой принадлежности существительных», «Изменения в значениях и употреблении форм множественного числа у существительных некоторых семантических групп», «Изменения в формах прилагательных», «Изменения в формах числительных» и «Изменения в формах местоимений» (стр. 136—149, 150—162, 556—565, 572—578, автор А. Б. Шапиро).

5.1. В первом разделе дается характеристика суффиксального образования существительных со значением лица и существительных с отвлеченным значением, затрагивается проблема включения заимствований в систему словообразования существительных. Проблематика префиксального и префиксально-суффиксального словообразования, по сравнению с параллельным разделом у прилагательных, разработана мало.

В разделе содержится много тонких наблюдений, например, об утрате соотносительности с глаголом у существительных на *-тель*, отмечается бóльшая в сравнении с современным языком парадигматичность образования существительных жен. рода со значением лица и др. В некоторых комментариях нуждается раздел об отглагольных существительных со значением действия. Желательно было бы избегать формулировок вроде «в стремлении ослабить влияние глагола на семантику отглагольных имен язык разрушает видовую соотносительность имен путем включения определенного звена производящих основ» (стр. 92). Во-первых, вряд ли можно говорить о «стремлении» языка, во-вторых, весь этот процесс гораздо сложнее. Парадигматическое образование существительных от обоих членов видовой пары не является еще доказательством сохранения именно категориального видового значения (см., например, положение в современном чешском языке с парадигматическим образованием отмеченных существительных). У существительных на *-ние, -тие* наблюдаются сдвиги внутри оппозиции, т. е. смена оппозиции «комплексное — некомплексное действие» оппозицией «единичное — неединичное действие» (т. е. беспризнаковое в этом отношении). Доказательством является употребление форм совершенного вида в процессуальном значении в тех случаях, где имеется соотносительная форма несовершенного вида, если нужно специально отметить неповторимость действия [8].

В разделе о префиксально-суффиксальном образовании желательно было бы обратить внимание на различие между префиксальным образованием и образованием префиксально-суффиксальным, т. е. по существу суффиксальным: префиксальное производное существительное соотнесено с предложным сочетанием, ср. *безденежье*. Убедительная трактовка этого вопроса представлена в разделе о прилагательных (стр. 498 и сл.).

5.2. В рамках словообразования прилагательных рассматривается история прилагательных, образованных от названий лиц, животных и неодушевленных предметов, история прилагательных, образованных от глагольных и глагольно-именных основ (приведены отдельные суффиксы и их соотношение), и префиксально-суффиксальное образование прилагательных. В стороне остались суффиксальные образования прилагательных отадъективных. Словообразование прилагательных разработано детально, и здесь нет возможности приводить все интересные результаты наблюдений. См., например, указание на рост агглютинативности, заключающейся в устранении фонологических альтернаций на морфемном шве, наблюдения над разрушением модели «отпредложная приставка + основа существ.+ *-н-*» в результате сближения ее с моделью «приставка + прилагательное» (тип *межворсинчатый*), описание соотношения образований с *не- // без-* и др.

Хочется только отметить, что и в тех случаях, когда производная основа отсутствует, с ней нужно считаться потенциально; см., например, на стр. 433 и сл. соотнесение прилагательных на *-ствующий* непосредственно с существительными: *правительство → правительствующий*. В ряде случаев желательно было бы учитывать соотношение прилагательного

[8] См.: Н. Křížková, Substantiva s dějovým významem v ruštině a v češtině, «Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české», III (в печати).

и наречия, особенно в случае прилагательных с отпредложными приставками: *без выезда → безвыездно//безвыездный*. Можно спорить о том, что́ здесь первично. Наречие является результатом адвербиализации (*читать по строкам → построчно*), в то время как прилагательное можно вывести как из *по строкам*, так из *построчно* в результате трансформации глагольного сочетания в именное (*читать по строкам//построчно → чтение по строкам // построчное*).

5.3. Разделы, посвященные изменениям в некоторых формах существительных, прилагательных, числительных и местоимений, ограничиваются исследованием специализации дублетных форм, например, *-а//-у* в род. и *-е//-у* в местн. падеже муж. рода, *-а* в им. падеже мн. числа муж. рода и т. п. Желательно было бы привести также историю склонения заимствований. Исследуются колебания в роде некоторых существительных, например, история дублетных форм *замена//замен*, *санатория//санаторий* и др. Нам кажется, что колебания в роде понимаются излишне широко; так, тип *набив//набивка* представляет собой прежде всего факт словообразовательный, как и современное *проведение//проводка* и др. Отмечается относительно немногочисленная группа существительных общего рода (в сравнении с современным языком). Было бы интересно проанализировать употребление соотносительных форм муж. и жен. рода и выяснить, в каких позициях начинается вытеснение форм жен. рода беспризнаковыми формами муж. рода.

6. Последний том «Глагол, наречие, предлоги и союзы» (320 стр.) содержит разделы «Изменения в системе глагола» (стр. 7—185, автор словообразовательной части Н. С. Авилова, часть «Изменения в глагольных формах» написал А. Б. Шапиро), «Изменения в системе словообразования наречий» (стр. 186—224, автор О. П. Ермакова), «Изменения в составе предлогов» и «Изменения в составе союзов» (стр. 225—276, 277—301, автор Е. Т. Черкасова).

6.1. Изменения в системе глагола охватывают — кроме упомянутого раздела о флексиях — развитие видовых соотношений глагола, в частности упорядочение синонимических способов выражения несовершенного вида (первичные — вторичные глаголы) и развитие продуктивных способов образования видовых пар, развитие приставочного словообразования, развитие отыменного словообразования и изменения в употреблении многократных глаголов.

Ценные наблюдения над упорядочением синонимических средств, сказывающимся в вытеснении первичных глаголов несовершенного вида вторичными, желательно было бы связать с проблемой контекста, способствующего активизации вторичных глаголов. В частности, необходимо учитывать так называемое актуальное и неактуальное употребление глагольных форм. Активизация вторичных имперфективов связана с неактуальным употреблением, по-видимому, вследствие ограниченных возможностей совершенного вида выступать в таких контекстах (см. настоящее историческое, повторяющееся действие и др.). Интересно было бы исследовать с этой точки зрения образование видовых пар у отдельных способов глагольного действия; см. perfectiva tantum, с одной стороны, и регулярные видовые пары, с другой. Эти проблемы остались в стороне.

Не всегда точны указания на вид исходного глагола; см. констатацию на стр. 82, что дистрибутивные глаголы с *по-* образуются от приставочных глаголов совершенного вида. Однако возможно также их образование от вторичных имперфективов, о чем свидетельствуют не отмеченные на стр. 82 и сл. примеры: *повыбивать*, *повыбегали*, *повысыхали* и др.

Раздел изменений в формах глагола ограничивается изменениями в форме инфинитива некоторых глаголов, переходом глаголов из одного класса в другой; исследуется также образование деепричастий. Семантическая морфология, т. е. функционирование морфологических категорий, не рассматривается.

6.2. Раздел наречий охватывает образование наречий на *-и*, *по- + -и*, *по- + -ому* и изменения в словообразовательном типе наречий на *-о*.

Целесообразным оказывается в ряде случаев исследование словообразовательных связей наречий на фоне словосочетаний, в которые они входят, и на фоне синонимических конструкций. См. формы наречий на *-о* от названий разных признаков предметов: *тонко вытесать*, *толсто сделать*, *расти кудряво* и т. п. (стр. 205), параллельные конструкции *очаровано //словно очарованный* (стр. 220), *огорченно // огорченным тоном // с огорченным видом* (стр. 219) и др. На эти факты следовало бы обратить внимание в разделе о глагольных словосочетаниях.

6.3. Словообразование составных предлогов и союзов выгодно было бы исследовать в связи с синтаксисом словосочетаний и сложноподчиненного предложения, где некоторые проблемы были уже освещены.

Открытым остается вопрос, когда полнознаменательное слово можно считать компонентом служебных слов, например предлогов. Критерии должны быть как можно более точными. Отмечается, например, предложный характер *с помощью*, *через посредство* в сочетании с неодушевленным существительным, в то время как в сочетании с названием лица *помощь*, *посредство* следует признать существительными (стр. 247). Используются также другие критерии, в частности возможность распространения входящего в составной

предлог слова. Этот критерий можно было бы несколько расширить. Интересно, например, выяснить форму прономинализованного сочетания с составным предлогом. Зависимое существительное прономинализируется таким образом, что местоимение сохраняет форму род. (или другого) падежа или же превращается в указательное местоимение адъективного характера. Ср.: *за счет этого, в продолжение этого, по отношению к этому, в отличие от этого...*, но *в это время, по этой причине // по причине этого, в этой области, в этом деле, с этой стороны // со стороны этого, в этом отношении, в этом направлении, с этой целью* (между прочим, *с целью* нельзя считать предлогом по той причине, что *с целью* сочетается с инфинитивом) и др. К составным предлогам следовало бы отнести только те сочетания, которые не дают образований с адъективными местоимениями. Ср. также удобную субституцию с личным местоимением: *в лице кого-н. // в моем лице, в интересах чего-н. // в моих интересах, со стороны чего-н. // с моей стороны, в сторону чего-н. // в мою сторону* и др. В некоторых случаях мы имеем дело скорее с составным наименованием, см. *дело чего-н., область чего-н.* и т. п.

7. Несмотря на некоторые недостатки, в ряде случаев дискуссионного характера, «Очерки» как целое представляют собой капитальный труд, который во многом облегчит описание системы современного русского языка с надлежащей исторической перспективой. Можно только пожалеть, что статистические данные приводятся довольно скупо.

Е. Кржижкова

A. M. Schenker. Polish declension. A descriptive analysis.— The Hague, Mouton, 1964. 105 стр.

Книга А. Шенкера интересна не новыми фактами (или даже попыткой собрать воедино все до сих пор изученные факты), а новым подходом к уже известному материалу, тем, что автор попытался использовать дескриптивные методы анализа при описании системы склонения современного польского языка. Вместе с тем А. Шенкер (и в этом его отличие от чистых дескриптивистов, объясняемое несомненным влиянием Р. Якобсона) постоянно сосредоточивает свое внимание на связи формы и значения в грамматических категориях имени. Отличие от чистых дескриптивистов состоит и в том, что А. Шенкер, хотя явно это и не оговаривается, исходит из того, что ему в каком-то виде уже даны факты морфологии польского глагола (выделены падежи, роды, окончания существительных, прилагательных, числительных).

Во «Введении» автор указывает, что в трактовке грамматических значений падежа и рода он следует за Р. Якобсоном, а в трактовке грамматического значения числа — за Р. Якобсоном и А. В. Исаченко [1]. В дальнейшем автор последовательно выявляет, в какой степени совокупность формальных показателей польского склонения настроена на выявление семантических противопоставлений всех трех именных категорий.

В главах «Определения» и «Дескриптивные процедуры» дается изложение исходных понятий, используемых автором, и производится разбиение на части речи всего множества польских имен. Автор в первую очередь выделяет классы имен в польском языке среди других частей речи по наличию категории падежа. Далее он исследует именные парадигмы с точки зрения категории рода [2] и числа, используя эти категории для дальнейшей классификации. По наличию категории рода

[1] См.: Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением (Состав русских падежных форм), «American contributions to the IV International congress of slavicists», 's-Gravenhage, 1958; R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, «Charisteria Guilelmo Mathesio... oblata», Prague, 1932; А. В. Исаченко, О грамматическом значении, ВЯ, 1961, 1; R. Jakobson, The gender pattern of Russian, «Studii şi cercetări lingvistice», XI, 3, 1960.

[2] При анализе категории рода А. Шенкер не указывает на существенные различия между категорией рода существительных и категорий рода других частей речи. Для него род существительных и род прилагательных — это одна категория, имеющая только разные способы выражения (синтаксический, морфологический). Следует также отметить, что при выделении родов А. Шенкер оперирует с разделенной парадигмой, где формы мн. числа рассматриваются отдельно от форм ед. числа. С нашей точки зрения, при специальном изучении рода такой подход менее продуктивен, поскольку формы ед. и мн. числа в их совокупности представляют ту минимальную парадигматическую область, где функционирует род.

и способу ее выражения А. Шенкер выделяет три типа имен: 1) имена, где род отсутствует, например *ty*; 2) имена, где род выражен синтаксически, например *kot*; 3) имена с морфологически выраженным родом, например, *stary*. В последней группе имена различаются по тому, какие в них имеются семантические противопоставления родов и в каких падежах они представлены. Выделяются четыре парадигмы, различающиеся грамматическими значениями родов (в дальнейшем они именуются родовыми парадигмами): I — парадигма слова *stary*; II — парадигма слова *on*; III — парадигма слова *dwa*; IV — парадигма слова *pięć*.

С другой стороны, А. Шенкер проводит различие между склонением имен в ед. и во мн. числе, женским и неженским склонением и склонением существительных, прилагательных, местоимений и числительных.

Таким образом, А. Шенкер выделяет 11 типов склонения в польском языке: (1) существительных ед. числа жен. рода; (2) прилагательных ед. числа жен. рода; (3) местоимений ед. числа; (4) неженских существительных ед. числа; (5) неженских прилагательных ед. числа; (6) существительных мн. числа; (7) местоимений мн. числа; (8) прилагательных мн. числа; (9) субстантивное склонение числительных; (10) адъективное склонение числительных; (11) смешанное склонение в ед. числе: неженских прилагательных — женских существительных. Автор получает два четких критерия для разделения имен: способ выражения рода и тип склонения. По сочетанию этих критериев автор выделяет следующие классы имен.

Имена, где род выражен морфологически: 1) чистые прилагательные (plain adjectives), например *stary*. Родовая парадигма (I), типы склонения (2), (5), (8); 2) формы 3-го лица ед. числа местоимения *on*, *ona*, *ono*. Родовая парадигма (II), типы склонения (2), (5), (8); 3) адъективные числительные (adjectival numerals), например *dva*. Родовая парадигма (III), тип склонения (10); 4) субстантивные числительные (substantival numerals), например *pięć*. Родовая парадигма (IV), тип склонения (9).

Имена, где род выражен синтаксически: 5) чистые существительные (plain substantives), например *kot*. Типы склонения (1), (4), (6), (11); 6) адъективные существительные (adjectival substantives), например, *woźny*. Тип склонения (2), (5), (8); 7) существительные общего рода (common-gender substantives), например *niezdara*. Синтаксически маркированы в ед. числе и по женскому и по одушевленному родам. Типы склонения (1), (6).

Имена, не имеющие рода: 8) чистые местоимения (plain pronouns), например *ty*. Типы склонения (3), (7); 9) адъективные местоимения (adjectival pronouns), например *co*. Тип склонения (5); 10) собирательные числительные (collective numerals), например *dwoje*. Тип склонения (4).

А. Шенкер показал, что три именные категории не равнозначны между собой. Они иерархизованы и притом таким образом, что основной именной категорией выступает категория падежа, которой достаточно, чтобы выявить класс имен среди других частей речи. Как показал А. А. Зализняк [3], для корректного определения категории рода необходимо знание падежа (т. е. категория падежа уже должна быть выделена), в то время как обратное не имеет места.

Но если категория рода не позволяет отделить имя от других частей речи, она выступает основной организующей силой в пределах собственно категории имен, где выраженность рода выступает одним из двух критериев разбиения всего множества имен на классы. По концепции рода, принятой автором, в иерархии признаков, по которым в польском языке осуществляется разбиение имен на части речи, категория рода выступает второй после падежа, отделяя имена с синтаксически выраженным родом (существительные) от имен с морфологически выраженным родом (прилагательные) и имен, не имеющих рода.

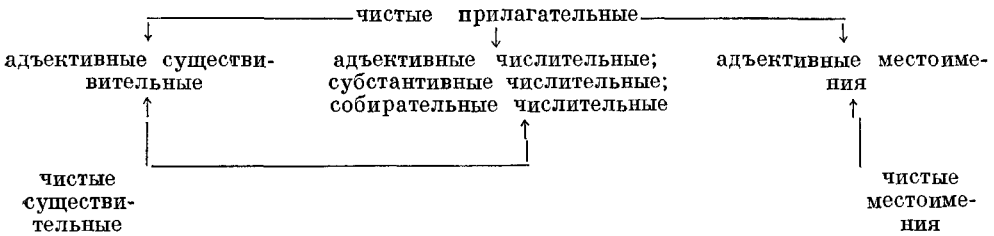
А. Шенкер получил в результате своей процедуры 10 классов слов (их представители — *stary*, *on*, *dwa*, *pięć*, *kot*, *woźny*, *niezdara*, *ty*, *co*, *dwoje*). Введенные им четкие критерии разбиения позволяют выявить взаимоотношение этих классов и определить место колеблющихся групп, которые по разным признакам тяготеют к разным типам имен (отметим, что вопрос о таких промежуточных типах актуален и для других славянских языков). А. Шенкер показывает, что за внешней сложностью и «многоликостью» промежуточных типов имен в польском языке скрывается достаточно четкая система. А именно, в системе имени имеется три концентра — чистые существительные, чистые прилагательные, чистые местоимения. Между ними находятся «гибридные» классы: адъективные существительные (на пересечении чистых прилагательных и чистых существительных), адъективные местоимения (на пересечении чистых прилагательных и чистых местоимений). Сущность этих промежуточных типов состоит в том, что они сочетают родовую характеристику одного из чистых классов с типами склонения другого класса.

В системе А. Шенкера отсутствуют чистые числительные. Класс числительных возникает как результат объединения

[3] См.: А. А. Зализняк, К вопросу о грамматических категориях рода и одушевленности в современном русском языке, ВЯ, 1964, 4.

групп слов, выделенных «чистыми» классами имен и функционирующих как числительные. Сюда относятся субстантивные числительные (*pięć*), адъективные числительные (*dwa*). Отсутствие в чисто синхронном описании системы польского склонения класса чистых числительных естественно связать с первоначальным отсутствием этой части речи в славянских языках и постепенным ее формированием из слов других частей речи.

Факты, приводимые А. Шенкером, можно было бы, следуя его классификации, представить в виде схемы:



Интересно отметить, что промежуточные типы возникают, если существительные или местоимения (т. е. не имеющие рода или выражающие его синтаксически) имеют парадигмы прилагательных. Обратное не наблюдается, т. е. отсутствуют прилагательные, которые имели бы парадигмы существительных или местоимений. Это связано, по-видимому, с тем, что все грамматические категории прилагательных являются чисто согласовательными, т. е. семантически пустыми категориями. Четко выделяемая и унифицированная парадигма прилагательных не несет в себе никаких особых значений и поэтому допускает наполнение семантикой тех же категорий других имен. Для существительных же и местоимений характерно как многообразие парадигм, т. е. отсутствие какой-то одной характерной парадигмы существительных или местоимений, так и наличие особой семантики в именных категориях, которую они не могут терять. Отсюда отсутствие в системе субстантивных или местоименных прилагательных, а также субстантивных местоимений или местоименных существительных.

Особняком в системе А. Шенкера стоит местоимение 3-го лица ед. числа *on*, *ona*, *ono*, которое он выделяет в особый класс. Чтобы определить место этих форм в общей системе имен, необходимо, однако, более внимательно подойти к тем критериям, которые использует А. Шенкер для разделения существительных, прилагательных и местоимений.

В самом деле, в данной системе формы *on*, *ona*, *ono* ни в коем случае не являются местоимениями, так как они имеют род и склоняются как прилагательные. Чтобы определить эти формы как местоимения, необходимо поставить их в связь с чистыми местоимениями *ja*, *ty* и рассмотреть их противопоставленность по категории лица. В этом, на наш взгляд, ограниченность процедуры А. Шенкера — она имеет слабый выход на синтаксический уровень, поэтому некоторые существенные свойства выделяемых в имени классов остаются вне поля зрения автора. Это, между прочим, касается и числительных, которые можно корректно определить как отдельную часть речи, только учитывая специфику их связи с существительными.

Еще более существен тот факт, что в формах *on*, *ona*, *ono* ряд выражен не только морфологически, как указывает А. Шенкер, но и синтаксически, т. е. по данному признаку эти формы объединяются и с чистыми прилагательными, и с чистыми существительными. Действительно, при подстановке в контексты, где род выражен синтаксически, мы можем использовать лишь ту форму местоимения *on*, *ona*, *ono*, в которой морфологический показатель рода совпадает с родом, указанным определяющим словом (ср. *он красивый — она красивая* при *ты красивый*, *ты красивая*). Именно это свойство синтаксической эквивалентности по роду местоимений *on*, *ona*, *ono* с существительными позволяет им выступать универсальными заместителями последних.

Это ведет нас к необходимости рассмотреть, как же соотносятся между собой критерии грамматического выражения категории рода, предложенные А. Шенкером. А. Шенкер выделяет морфологическое и синтаксическое выражение рода и рассматривает эти показатели как взаимоисключающие. Однако логически оба способа выражения рода ни в коей мере не исключают друг друга.

По сочетаемости этих критериев выделяются четыре класса имен: 1) род не выражен ни морфологически, ни синтаксически — это местоимения 1-го и 2-го лица); 2) род выражен морфологически, но не синтаксически — таков класс прилагательных; 3) род выражен синтаксически, но не морфологически — это класс существительных, и, наконец, 4) род выражен и морфологически и синтаксически — в местоимениях *on*, *ona*, *ono*. Эти формы действительно образуют особый класс, вбирая в себя родовые признаки и существительных, и прилагатель-

ных и дважды противопоставляясь по роду остальным местоимениям.

Более сложные связи с другими группами имен имеются и у местоимений *kto, co*. А. Шенкер определяет их как адъективные местоимения, т. е. внеродовые формы с парадигмой прилагательного (местоимение *co* парадигматически ср. рода, ср. им.-вин. *co*, местоимение *kto* парадигматически личное, ср. им. *kto*, вин. *kogo*). Однако местоимения *kto, co* нельзя считать полностью безразличными к роду. В русском языке, например, местоимение *что* всегда соединяется с прилагательным ср. рода (*что это там зеленое*, но не *зеленый* или *зеленая*), а местоимение *кто* — с прилагательным муж. рода (*кто это сказал*, но не *кто это сказала*, или *кто это сказало*, *кто следующий*, но не *кто следующая*), т. е. эти местоимения выражают род синтаксически как существительное. В связи с этим нельзя не вспомнить, что А. М. Пешковский [4] считал местоимения *кто, что* идеальными существительными, подчеркивая, что эти местоимения очевиднее всего выражают характерные свойства существительных. Отнеся формы *kto, co* к адъективным местоимениям, А. Шенкер учел только морфологические признаки.

Указанные возражения не снимают общей значимости подхода А. Шенкера, представляющегося для славянских языков вполне обоснованным и перспективным. Целостный анализ именных грамматических категорий и единая классификация типов склонения позволяет автору совместить описание характерных признаков всей польской именной области с постепенным выделением в ней частей речи. Дело не только в экономии описания (хотя она весьма ощутима по сравнению с традиционным изложением, когда существительные, прилагательные, местоимения, числительные характеризуются одними и теми же категориями и пересекающимися типами склонения, т. е. одни и те же факты неизбежно повторяются неоднократно). Более существенно, что подобный метод позволяет глубже проникнуть в структуру всей именной системы. Морфологические факты возведены здесь на тот уровень абстракции, при котором возможно типологическое рассмотрение именных систем славянских языков.

Следующие главы книги посвящены описанию тех средств, которыми выражаются значения грамматических категорий. Набор падежных окончаний, падежный синкретизм, типы морфологических чередований вместе с супплетивными формами выступают здесь дифференциальными признаками, по которым описывается любая парадигма в польском и других славянских языках.

При рассмотрении падежной парадигмы автор исходит в первую очередь из того, что в ней представлен определенный набор грамматических значений. Отсюда — необходимость выявить структурные соотношения падежных окончаний, т. е. определить, какие значения обязательно выражаются в парадигме собственными падежными окончаниями, а какие из них могут совмещаться между собой и выражаться одним и тем же окончанием и т. д. Вместе с тем вслед за Р. Якобсоном автор стремится определить, существует ли фонемная близость между окончаниями одних и тех же падежей, представленными в разных парадигмах.

Выводы автора сводятся к следующему. В польском языке нет парадигмы, в которой не был бы представлен падежный синкретизм. При этом окончания падежей вступают в синкретическую связь не случайным образом, эта связь направляется и лимитируется их значениями. Почти не имеют синкретического проникновения прямые падежи (им., вин.), с одной стороны, и периферийные (дат., местн., твор.), с другой. Вместе с тем род. падеж, который не является ни прямым, ни периферийным, вступает в связь с членами обеих групп. Исключая синкретизм твор. и вин. падежей у прилагательных жен. рода и у существительного *pani* в ед. числе, синкретизм прямых и периферийных падежей всегда происходит с участием род. падежа. Неопределенные падежи (им., твор.) имеют собственную форму чаще, чем определенные падежи, и соответственно различаются сильнее, чем любая другая пара падежей. Среди определенных падежей местн. падеж менее различителен, чем дат. падеж, а вин. падеж менее различителен, чем род. падеж. Местн. падеж синкретизируется только с косвенными падежами, вин.— с непериферийными, дат. падеж объединяется только с периферийным местн. падежом, а род. падеж — или с периферийным вин. или с объемным местн. падежами. Направленные и объемные падежи встречаются в двухпадежном синкретизме только в том случае, если они имеют один знак по периферийности.

В польском склонении А. Шенкер выделяет синкретизм двух, трех, четырех и пяти падежей. Исключая редкие случаи синкретизма вин.-твор. (ср. *pani*, вин.-твор. *panią*) и им., род., дат. и местн. падежей (например, в склонении *gospodyni*), все типы двухпадежного синкретизма входят в более широкие комбинации (трех, четырех и пяти падежей), и все типы, включающие больше двух падежей, представляют комбинации мелких синкретических типов.

Таким образом, падежный синкретизм является универсальным средством организации падежной парадигмы во всей

[4] А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1938, стр. 94.

польской именной области. Приводимый А. Шенкером материал позволяет поставить типологически важный вопрос о функции синкретизма в оформлении системы склонения. Синкретизм славянских языков и, в частности, польского — не недостаток этой системы по сравнению, например, с агглютинативной, а просто другой и в целом весьма экономный способ различения шести членов парадигмы, когда каждый раз используется ограниченный набор окончаний, причем их разное распределение по падежам одновременно дает возможность выразить противопоставления и по другим категориям, например одушевленности — неодушевленности.

Исследуя структуру падежных окончаний, А. Шенкер стремится выявить, как система падежных окончаний настраивается, с одной стороны, на различение частей речи, а, с другой стороны, на выражение противопоставлений именных грамматических категорий. Склонение существительных, а также вообще склонение в ед. числе имеет бóльшую степень формальной дифференциации, чем склонение прилагательных и склонение во мн. числе. При этом склонение прилагательных, а также склонение существительных и местоимений во мн. числе характеризуется полифонемными окончаниями, в то время как монофонемные окончания свойственны склонению местоимений, существительных в ед. числе и субстантивных числительных.

Несмотря на то, что фонетический вид падежных окончаний определяется исторической фонетикой данного языка и может многократно изменяться, мысль Р. Якобсона о единой фонетической отраженности разных окончаний единого падежа получает определенное подтверждение и на материале польского языка. Так, гласные *-o*, *-a* и нулевое окончание встречаются только в периферийных падежах. Только в этих падежах встречаются огубленные назальные, из них *m'* — только в твор. падеже. Неогубленные спиранты встречаются только в объемных падежах, *s* — в местоименном склонении мн. числа, *ch* — в любых типах и т. д.

Следует отметить наглядность и простоту в изложении материала о склонениях. А. Шенкер изображает парадигмы в виде круговой диаграммы, где по часовой стрелке в следующем порядке расположены падежи: им., вин., род., дат., местн., твор. Для каждого из падежей указываются окончания, имеющиеся в данном склонении, и одновременно отмечается падежный синкретизм. Это дает возможность автору рассмотреть факты склонения с двух точек зрения: поставить в соответствие каждому из типов склонения возможные типы падежного синкретизма, а затем суммировать эти типы, указав словоизменительную область их распределения.

В заключение хотелось бы отметить, что описание системы польского склонения, данное Шенкером, ни в коей мере не зачеркивает богатые описания польской морфологии, сделанные в традиционных грамматиках. В известном смысле оно является дополнительным по отношению к ним, так как служит другим целям. В частности, такое описание полезно при типологическом анализе. Оно позволяет ясно ответить на вопрос, что в морфологии можно сравнивать типологически и что не поддается такому сравнению. Очевидно, что факты морфологии в чисто эмпирическом виде сравниваться не могут. Но вполне возможно описать систему имени во всех славянских языках так, как это сделал А. Шенкер, т. е. произвести разбиение имен по двум критериям (выражение категории рода, тип склонения) и тем же способом исследовать синкретизм падежей. В этом случае типологический анализ дает возможность выявить меру симметричности, однородности каждой из систем, роль падежного синкретизма и т. д.

О. Г. Карпинская

А. А. Юлдашев. **Аналитические формы глагола в тюркских языках.** — М., изд-во «Наука», 1965. 275 стр.

Рецензируемая книга представляет собой первый опыт монографического исследования так называемых аналитических форм глагола в тюркских языках. Основной задачей, поставленной в ней и в известной мере предопределяющей характер, структуру и объем всей работы, является разработка критериев выделения аналитических форм и всесторонний анализ их «в неразрывной связи с другими глагольными формами» (стр. 3).

Книга состоит из «Введения» (стр. 5—38), четырех глав, посвященных синхронному описанию разных аналитических форм: «Аналитические формы вида» (стр. 39—86), «Аналитические формы модальности» (стр. 87—113), «Аналитические формы изъявительного наклонения» (стр. 114—204), «Аналитические формы других наклонений» (стр. 205—267), и «Заключения» (стр. 268—272).

Вводная часть содержит подробный историко-библиографический обзор тюркологической литературы по избранной

теме, начиная с грамматик И. Гиганова, М. Иванова, Т. Макарова и А. Троянского. Здесь же кратко охарактеризовано состояние разработки проблемы аналитических форм глагола в русском, немецком, английском, французском и других языках и изложены теоретические взгляды самого автора, являющегося сторонником широкого понимания грамматической формы.

В обзоре большое внимание уделено работам О. Бётлингка, высказывания которого «очень существенно сказались на последующей грамматической традиции в тюркологии» (стр. 7). О. Бётлингк, отмечает автор, признавал наличие аналитических форм как перифрастических образований, выражающих самостоятельные грамматические значения, но скептически относился к возможности рассмотрения этих форм в одном ряду с аффиксами и к выделению аналитических формантов в качестве регулярных морфем, так что по существу не считал их морфологическими единицами (стр. 6).

Традиция, идущая от трудов О. Бётлингка, по мнению А. А. Юлдашева, в конце прошлого и начале нынешнего столетия нарушалась только эпизодически, и нарушения касались главным образом частностей. Так, например, П. М. Мелиоранский специально выделил аналитические формы с глаголом *э-*, а А. Габен в своей древнетюркской грамматике несколько расширила границы перифрастических образований, необоснованно включив в них «сложные слова» типа *kärgäk bol-* «умирать» и «составные сказуемые» типа *kärgäk ärti* «нужно было» [1].

Для большинства советских тюркологов характерно признание морфологической сущности аналитических образований и включение их в число действующих регулярных глагольных форм (стр. 15). Однако такое включение, при отсутствии теоретического обоснования, как полагает А. А. Юлдашев, не приносит должного эффекта: ошибочные взгляды О. Бётлингка, не будучи замененными какой-либо новой концепцией, сохраняют притягательную силу и продолжают оказывать влияние на современные грамматические исследования.

Введение в целом написано на довольно высоком уровне и свидетельствует о большой эрудиции автора и глубоком знании специальной литературы; однако не все, содержащееся в нем, является одинаково убедительным — сомнения и разного рода вопросы вызывают не только отдельные положения теоретической части, но и некоторые разделы библиографического обзора.

Прежде всего хочется возразить автору по поводу использования термина «аналитические» формы в отношении тюркских языков. Известно, что в любом случае в языке мы имеем дело либо с одним словом, либо с сочетанием слов, свободным или связанным (устойчивым). Устойчивое сочетание лексических единиц никто не называет аналитическим словом. И это понятно, потому что такие сочетания — качественно особые образования, отличающиеся от простой лексической единицы не только с формальной, количественной стороны. Почему же устойчивое сочетание морфологического компонента полнозначного слова с другими словами, в той или иной степени формализованными, которое в тюркских языках, как правило, также имеет свои качественные особенности, отождествляется с грамматической формой? Даже по линии терминологии здесь не все безупречно: так называемая аналитическая форма включает в себя синтетическую морфему полнозначного слова и, следовательно, является синтетико-аналитической. Но суть дела, конечно, не в терминологической неувязке.

Действительно ли есть основания говорить о принципиальной ошибочности взглядов О. Бётлингка? (стр. 8). О. Бётлингк не игнорировал существование грамматикализованных перифрастических образований, а лишь отводил для них особое место в грамматической системе языка. И он имел для этого основания.

1. Грамматикализованные перифрастические образования в тюркских языках в большинстве случаев выражают слабо абстрагированные значения, придают действию конкретную дополнительную характеристику [2], ср. башк. *яҙа башла-* «начинать писать» (*башла-* «начинать»), *яҙып бөтөр-* «написать; дописать» (*бөтөр-* «кончать»); карачаево-балк. *учаргъа тур-* «вот-вот полететь» (*тур-* «стоять»), *айтыргъа башла-* «начинать говорить» (*башла-* «начинать»), *ёлюрге джет-* «вот-вот умереть» (*джет-* «достигать»); узб. *ёзиб ташла-* «быстро написать; набросать» (*ташла-* «бросать, класть, набрасывать»), *сўзлаб кет-* «заговорить, разговориться» (*кет-* «идти, уходить»). Об этом, в частности, свидетельствует сам факт наличия в каждом из тюркских языков от 30 до 60 подобных образований.

2. В значительном количестве грамматикализованных перифрастических образований грамматическая «идиоматич-

[1] A. von Gabain, Alttürkische Grammatik, 2. verbesserte Aufl., Leipzig, 1950, стр. 129. В работах А. Габен, относящихся к более позднему времени, сложные слова и составные сказуемые выделены в особую группу (см.: A. von Gabain, Das Alttürkische, «Philologiae turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959, стр. 40).

[2] См.: Б. А. Серебренников, К вопросу о «морфологизме», сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», М.— Л., 1965, стр. 102.

ность» тесно переплетается с лексической: в процесс семантического взаимодействия может включаться, с одной стороны, содержание основы, с другой,— лексические значения окказионально формализованных глаголов [3]. «Ни употребление словоизменительных аффиксов, ни употребление формообразовательных аффиксов так не обусловлены семантикой слова, как обусловлено употребление вспомогательных глаголов»,— отметил И. П. Павлов в своем выступлении на координационном совещании по проблемам глагольного вида и сложноподчиненного предложения в тюркских языках [4]. Часто именно поэтому, а не в силу субъективных обстоятельств, одни и те же перифрастические образования определяются одними тюркологами как аналитические формы, другими — как фразеологические сочетания, третьими — как сложные глаголы.

3. Грамматикализованные перифрастические образования в тюркских языках могут состоять из двух, трех и даже большего количества слов, ср. кирг. *мен көпүрөдөн өтүп бара жатып жыгылып кете жаздап калдым* «я, переходя через мост, чуть не упал», где в сочетаниях *өтүп бара жат-* «переходить» и *жыгылып кете жаздап кал-* «чуть не упасть» носителем собственно лексического значения является только основа первого деепричастия: *өт-* «переходить», *жыгыл-* «падать». Ср. также: кирг. *чыдай албай бара жатам* «я не в состоянии вытерпеть; я не вытерпливаю» (*чыда-* «терпеть; мочь») [5]; карачаево-балк. *барыб къала эдим ~ барыргъа аздан къалдым* «я чуть не пошел» (*бар-* «идти»), *джазаргъа деб турабыз* «мы намереваемся написать» (*джаз-* «писать»), *келебиз деб турабыз* «мы намереваемся приехать» (*кел-* «приезжать; приходить»); башк. *уҡыған булып ултыра ине* «он притворялся читающим» (*уҡы-* «читать»); узб. *тўкилиб кетишига оз қолди ~ оз бўлмаса тўкилиб кета ёзди* «чуть не вылилось» (*тўкил-* «литься»).

4. Глаголы, входящие в состав грамматикализованных перифрастических образований в качестве вспомогательных компонентов, утрачивают свои лексические значения только в пределах этих образований, иными словами, вспомогательными оказываются полнозначные глаголы, формализация которых имеет контекстуальную обусловленность.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что грамматикализованные перифрастические образования, будучи соотносимыми по содержанию с отдельными словоформами, а по форме — со словосочетаниями, являются особыми единицами, устойчивыми лексико-грамматическими сочетаниями, и обособление их от обычных парадигматических форм не содержит в себе ничего ошибочного. Такое обособление позволяет исследовать указанные образования и в целом, как специфическое явление, и порознь, для определения уровня их грамматикализации. Дело в том, что грамматикализованные перифрастические образования далеко неоднородны. Одни из них — так называемые видовые и модальные формы, в состав которых входят глаголы *кал-*, *сал-*, *бар-*, *кел-*, *бер-*, *түш-*, *чык-*, *йибер-*, *ташла-*, *кет-*, *яз-*, *кой-*, грамматикализованы не полностью и недостаточно регулярны, другие, например сочетания с глаголом *э(р)-*, с глаголами *тур-*, *отур-*, *йүр-*, *ят-*, близки к полной грамматикализации и при наличии почти абсолютной регулярности постепенно превращаются в обычные словоформы. Кстати, процесс образования синтетических форм глагола на базе грамматикализованных перифрастических образований происходил и происходит очень интенсивно и существуют десятки примеров, иллюстрирующих различные ступени этого процесса, ср. гагауз. *алдыйдым* «я взял» («давнопрошедшее очевидное время») < *алды эдим*, *алэрым* «я беру» («настоящее время») < *алыйэрым* < *алы йорырым* (ср. турецк. *aliyorum*); кирг. *келет* «он придет» («будущее время») < *келе турур*, *келатам* «я прихожу» («настоящее время») < *келе жатам*; туркм. (диалектн.) *геледўрын ~ гелдўрын* «я иду» («настоящее конкретное») < *геле дурур мен*; узб. *келяпти* «он приходит» («настоящее конкретное время») < *келаяпти* < *кела ётипти* < *кела ётип турур*, *келарди* «он приходил» («прошедшее незаконченное», «неопределенный имперфект») < *келар эди* и т. д. Возвращаясь к затронутому выше вопросу и подчеркивая еще раз допустимость и целесообразность описания грамматикализованных перифрастических образований в специальном разделе, необходимо отметить, что этим не исключается возможность введения некоторых из них в глагольную парадигму.

Не ясно, какова цель синхронного описания аналитических форм всех тюркских языков. Сравнение или сопоставление фактов строго в пределах одной языковой семьи немыслимо без выхода в диахронию, последовательное же синхронное описание каждого языка в отдельности делает излишним соблюдение границ генеалогических подразделений.

Вызывает сожаление не совсем точная передача и оценка взглядов предше-

[3] Ср.: Э. В. Севортян, Грамматические и семантические признаки аналитических конструкций в отличие от свободных словосочетаний в тюркских языках, сб. «Аналитические конструкции...», стр. 233.

[4] Сб. «Вопросы грамматики тюркских языков», Алма-Ата, 1958, стр. 149.

[5] Примеры из работы Б. М. Юнусалиева («Вспомогательные глаголы в киргизском языке». Автореф. канд. диссерт., Фрунзе, 1949, стр. 7).

ствующих исследователей. Так, на стр. 6 указывается, что О. Бётлингк называл аналитические формы «перифрастическими образованиями, представляющими собой сложное слово (Zusammensetzung), которое состоит из причастия или имени действия и вспомогательного глагола». На самом деле О. Бётлингк не считал грамматикализованные перифрастические образования сложными словами. В том месте, которое имеет в виду А. А. Юлдашев, слово «Zusammensetzung» употреблено не в терминологическом значении («сложное слово»), а в обычном («составление, соединение»), ср. у О. Бётлингка: «...однако описательная форма находится не на одной ступени значения (т. е. не совпадает по грамматическому значению.— *А. Щ.*) с формой вспомогательного глагола; благодаря такому соединению (Zusammensetzung) образуется новое время, новое наклонение или новая порода» [6]. На стр. 8 А. А. Юлдашев пишет: «Об аналитических формах, в состав которых входит вспомогательный глагол *эди-*, весьма скептически высказался и П. М. Мелиоранский...» (со ссылкой на «Краткую грамматику казак-киргизского языка», ч. 1, стр. 45, 46). Ничего подобного у П. М. Мелиоранского в указанном месте нет. Он лишь говорит о том, что все формы глагола *э-* «быть» употребляются для образования сложных времен от других глаголов, и нисколько не нарушает традицию, «идущую от О. Бётлингка». Далее отмечено следующее: «Важным для изучения аналитических глагольных форм является указание Фортунатова на то, что „составные формы полных слов не отличаются от простых форм"» (стр. 23). Ср. у Ф. Ф. Фортунатова: «Составные формы полных слов по значению (разрядка моя.— *А. Щ.*) не отличаются от простых форм, но образуются они соединением форм полных слов с грамматически-частичным словом» [7]. Никакого особенного сдвига в описании перифрастических образований у М. Рясянена, по сравнению с существующей в тюркологии традицией, нет: он помещает в одном ряду с синтетическими формами только сочетания с глаголом *э(р)-* [8], тогда как все другие рассматривает в специальном разделе[9].

В главе «Аналитические формы вида» исследованы и описаны 15 аналитических форм главным образом башкирского и татарского языков (см. стр. 44).

Считая постановку вопроса о виде [10] в общетюркском плане преждевременной, А. А. Юлдашев, тем не менее, полагает, что «материал тюркских языков дает больше оснований для утверждения грамматической категории вида, чем для ее отрицания...» (стр. 42).

В тюркских языках действительно имеется большое количество перифрастических образований, выражающих различные видовые оттенки действия: начало, завершенность, процессуальность, внезапность, последовательность, прерывность и т. д. И, конечно, бесспорно то, что тюркские языки располагают средствами выражения любых видовых значений. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы говорить о наличии в них грамматической категории вида. Есть языки, в которых отсутствуют падежные формы и для передачи соответствующих значений используются предлоги или послелоги. И все же мало кто осмеливается, учитывая сам факт выражения значений, выделять в этих языках грамматическую категорию падежа.

Важнейший критерий выделения грамматической категории — наличие единой, регулярной грамматической формы (не обязательно синтетической). Абсолютизация формального критерия не просто дань увлечению формализмом, она продиктована своеобразием объекта исследования, осознанием того, что фоническая субстанция языка и ее структурная организация имеют для лингвиста первостепенное значение.

Подходит ли указанный выше критерий к тому материалу, который описывается в рецензируемой книге?

Формы выражения видовых значений в тюркских языках не являются едиными, стабильными. Одно и то же видовое значение нередко передается при помощи нескольких формализованных глаголов, ср. *-п тур-*, *-п отур-*, *-п ят-* («процессуальность»), *-п кой-*, *-п бол-*, *-п кет-*, *-п бит-*, *п кал-*, *-п чык-*, *-п йибер-*, *-п ташла-* («завершенность, исчерпанность»), *-п йибер-*, *-п кал-* («мгновенность, внезапность»).

Перечисленные автором аналитические формы вида, согласно его собственному заключению, образуются далеко не от

---

[6] O. Böhtlingk, Kritische Bemerkungen zur zweiten Ausgabe von Kasembek's türkisch-tatarischen Grammatik, zum Original und zur deutschen Uebersetzung von Dr. J. Th. Zenker, SPb., 1848, стр. 59 (Extrait du «Bull. de la classe des sciences hist., philol. et polit. de l'Academie Imp. des sciences de St.-Pétersbourg», V, 22).

[7] Ф. Ф. Фортунатов, Избр. труды, 1, М., 1956, стр. 178.

[8] См.: M. Räsänen, Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen, Helsinki, 1957 («Studia Orientalia», XXI), стр. 214, 215, 225, 226.

[9] Там же, стр. 170 и сл.

[10] Ср. материалы координационного совещания по проблемам глагольного вида и сложноподчиненного предложения в тюркских языках, опубликованные в сб. «Вопросы грамматики тюркских языков»

всех глагольных основ. Возьмем, например, башкирский язык. Образование формы на *-п ят-* возможно в нем для ограниченной группы глаголов (стр. 55). Сочетание *-п отур-* «как грамматический показатель процессуальности регулярно употребляется лишь в глаголах движения горизонтального плана...» (стр. 64). Форма на *-п тур-* образуется от глаголов состояния (стр. 67), форма на *-п йур-* — главным образом от «имперфективных» глаголов, которые выражают «определенное занятие, предполагающее длительный и многократный процесс» (стр. 72). Формы на *-п бар-* и *-п кел-* «ведут себя как формы лишь в глаголах со значением перехода из одного состояния в другое и в отдельных глаголах активного действия...» (стр. 76). «...в форме на *-а бер-* по преимуществу употребляются глаголы активного действия...» (стр. 80). Приблизительно в таком же плане говорится и о других формах: на *-а туш-*, *-п чык-*, *-п ал-*, *-п йибер-*, *-п ташла-* и *-п кет-*.

Следует обратить внимание также на ограниченную морфологическую изменяемость многих форм. «Так, например, в башкирском, татарском и некоторых других языках сочетание глагольной основы с элементом *-п ят-* не может функционировать ни в сфере страдательного и взаимного залогов, ни в сфере повелительного и долженствовательного наклонений, ни в сфере времен, связанных с обозначением типичного действия. Рассматриваемое сочетание практически не употребляется в этих языках и в сфере аспекта возможности, условного наклонения, прошедшего времени на *- ан ине-*, понудительного залога...» (стр. 55). «... форма на *-а туш-* чаще всего выступает в сфере повелительного наклонения» (стр. 81). От формы на *-п ал-* в башкирском «невозможно образовать отрицательного аспекта, условного и сослагательного наклонений, а также наклонения намерения и форм модальности» (стр. 84), от формы на *-п кет-* не производится отрицательный аспект, повелительное, желательное, долженствовательное наклонения, «формы модальности» (стр. 86).

Плохо согласуются с положениями традиционной грамматики, полностью разделяемыми автором [11], случаи употребления при одной основе нескольких видовых форм, ср. кирг. *өтүп бара жат-* «переходить» (*өт-* «перейти»); кумык. *яллап башлап кет-* «загораться, разгораться» (*ялла-* «гореть»); узб. *чалиб бериб қўя қол-* «сыграть» (в переводе А. Н. Кононова — действие, выполняемое для кого-то) (*чал-* «играть») [12].

Таким образом единых, стабильных и регулярных форм вида в тюркских языках нет. Нет, следовательно, и грамматической категории вида.

Многое из того, что было сказано о видовых формах, относится и к выделенным в следующей главе аналитическим формам модальности: на *-а (-й) ал-*, *-а бил-*, *-п бол-*, *-гы кел-*, *-сы кел-*, *-а яз-*, *-ган бол-*.

Существование в тюркских языках особой грамматической категории модальности сомнительно. Модальность выражается обычно формами наклонений, модальные же слова и перифрастические образования служат целям передачи некоторых модальных значений.

Что касается аналитических форм изъявительного, условного, желательного, сослагательного и других наклонений, образованных с участием вспомогательного глагола *э-* «быть» (*-р эди-*, *-йор эди-*, *-а эди-*, *-а турган эди-*, *-макта эди-*, *-ган эди-*, *-мыш эди-*, *-п эди-*, *-гай эди-*, *-са эди-*), то почти все они, как уже указывалось выше, подверглись сильной грамматикализации и по существу ничем не отличаются от синтетических форм. При этом аналитизм их часто выступает лишь на уровне орфографии. Необходимо также отметить то обстоятельство, что формализация вспомогательного глагола *э-* является постоянной, независимой от контекста.

Значительное место во всех четырех главах занимает анализ содержания перифрастических образований. Автор проделал большую работу, чтобы определить семантические границы различных форм и обнаружить точки их соприкосновения. Учтены многочисленные значения и оттенки значений, намечена градация основных типов. Тем не менее, поскольку внутренние отношения компонентов перифрастических образований необычайно сложны и многообразны и часто трудно установить, «где кончается грамматическое значение и где начинается лексическое», строгое, системное описание их значений, естественно, оказывается невозможным. Поэтому было бы несправедливо ставить в вину автору недостаточную четкость и некоторую непоследовательность семантического анализа.

В заключение сделаем несколько частных замечаний.

Ногайское *ятыргъан* в составе перифрастического образования *барып ятыргъанман* «я шел» неправомерно разлагать на *ятыр-* и *-гъан* и нет оснований утверждать что «в ногайском языке, в отличие

[11] См. на стр. 88: «... ведь не могут же существовать при одной основе два наклонения одновременно, как не могут сосуществовать в одном слове два временных значения или два падежа».

[12] См.: А. Акбаров, Сложные глаголы в узбекском языке. Канд. диссерт., Ташкент, 1949, стр. 39; А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.— Л., 1960, стр. 268.

от других тюркских языков, есть случай, когда форма на *-а ят-* выходит за пределы настоящего времени, захватив с собой его форматив, который, лишаясь своего значения, органически входит в состав формы на *-а ят-*» (стр. 58). В *ятыр* компонент *ыр* является не формативом настоящего времени, а частью формализованного глагола *тур-*: *ятыргъан* < *ята тургъан*.

По мнению автора, нельзя согласиться с теми грамматистами, которые считают форму на *-аятыр* в ногайском языке формой настоящего времени данного момента, так как «форматив *-а ят-* и показатель настоящего времени, сочетаясь, не претерпевают никаких изменений в своей семантике» (стр. 58). Это не совсем так. Аффикс *-ыр* в ногайском языке обозначает действие, которое может совершиться в будущем, форма на *-аятыр* в этом значении не употребляется.

Трудно не возразить автору, когда он утверждает, что форма на *-р* во всех случаях обозначает действие данного момента (стр. 128).

В перифрастических образованиях, выражающих модальные, а также видовые значения (стр. 94), первый компонент может быть назван деепричастием только условно. Структурная модель соответствующих образований возникла очень давно, по крайней мере, в то время, когда формы на *-а* и *-ып* обладали фунциональными признаками имен действия.

Основным для формы на *-а эди-* в случаях ее относительного употребления является не выражение единичности (стр. 147), а указание на то, что действие происходило в течение некоторого времени в прошлом, ср. татар. *урманны чыгып килә идек яңгыр ява башлады* «(когда) мы *выходили* из лесу, начал лить дождь».

Форма на *-моқда эди-* в узбекском языке передает значение чистой процессуальности («пребывать в определенном состоянии») и не сходна с формой на *-б эди-* (стр. 198).

Рассуждения о дотюркской системе аналитических форм (стр. 199) в известной мере беспредметны.

Как всегда оставляет желать лучшего качество набора иллюстративного материала: в примерах из современных и древних тюркских языков очень много опечаток.

Несмотря на отмеченные выше недостатки и спорность ряда положений теоретической части, книга А. А. Юлдашева будет безусловно полезна для тюркологов и окажет благотворное воздействие на расширение исследований в данной области.

А. М. Щербак

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В № 3 ВЯ за 1966 г. в статье А. В. Гладкого «О формальных методах в лингвистике» на стр. 59 утверждается, что моя статья в № 3 ВЯ за 1965 г. сводится к «наклеиванию ярлыков» и по существу призывает к «административным мерам». Это утверждение не соответствует действительности. В своей статье я заклеймил административное вмешательство в научный спор как позорное явление (стр. 23) и призвал к максимальной свободе для всех направлений и проверке работой (стр. 40). Подобные полемические приемы недопустимы даже в дискуссионном порядке. Они рассчитаны на то, чтобы парализовать всякий принципиальный научный спор, что, конечно, не в интересах нашей науки.

В. И. Абаев (Москва)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1967

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 25 июля по 25 августа 1966 г. в г. Синая (Социалистическая Республика Румыния) проходили очередные летние курсы и научные семинары по проблемам языка, литературы, истории и искусства румынского народа, организованные Бухарестским университетом и Академией наук СРР.

Данные научные семинары носят характер международных встреч, дискуссий, конференций по упомянутым проблемам и организуются ежегодно. В текущем году на семинарах присутствовало 68 представителей из 21 страны, причем характерно, что большинство участников семинаров составляли лингвисты, что во многом определило направление семинаров этого года.

Пленарные заседания были посвящены обсуждению проблем происхождения и развития румынского языка. С докладами, в которых освещались названные проблемы, выступили ведущие лингвисты СРР: акад. Й. Йордан, акад. А. Росетти, акад. Э. Петрович, чл.-корр. АН СРР Б. Казаку и др.

В докладе А. Росетти «О роли балканской латыни и румынского языка в процессе становления балканской языковой общности» был представлен, главным образом, лексический материал латинского, румынского, болгарского, албанского, новогреческого и сербскохорватского языков, рассматриваемый в сопоставительном плане. На основании большого материала автор констатирует значительное влияние латыни на все балканские языки.

Доклад Й. Йордана «Синтаксические тенденции в современном румынском языке» был посвящен как общим вопросам определения роли синтаксиса, так и частным вопросам синтаксиса современного румынского языка. В докладе содержится попытка дать объяснение противоречивому характеру природы синтаксиса: изменчивости, нестабильности синтаксических конструкций, с одной стороны, и в то же время своеобразию, стабильности синтаксической системы для определенной языковой структуры, с другой стороны.

В докладе Э. Петровича «Автохтонная и заимствованная топонимика» был дан глубокий анализ этимологии коренной и заимствованной топонимики на территории Румынии, проиллюстрированный богатым языковым материалом, рассматриваемым автором в сравнительно-историческом плане.

Проф. Ц. Погирк в докладе «Актуальные проблемы румынской этимологии» обратил особое внимание на трудности, возникающие при исследовании румынской этимологии вследствие огромного влияния на формирование румынского языка со стороны других языков.

Доклад проф. А. Никулеску «Индивидуальные черты румынского языка» был посвящен разработке теоретических положений, касающихся методики определения индивидуальных черт того или иного языка в общем, и описанию морфологических и синтаксических особенностей румынского языка в частности. Индивидуальность румынского языка, по мнению А. Никулеску, заключается именно в сохранении некоторых черт латыни, которые были утрачены другими романскими языками в процессе их развития. К числу последних А. Никулеску относит флексии в падежной форме вокатива, супинум, конструкции с *iar* «а; тогда» и др.

Вопросам функциональной стилистики был посвящен доклад чл.-корр. АН СРР И. Котяну «О стилистическом распределении словарного состава в современном румынском языке», в котором автор предлагает обратиться к частотному словарю с учетом разряда, частотности и степени дисперсии слов, не отказываясь при этом от семантического аспекта.

Кроме вышеназванных докладов, построенных на базе сопоставительного анализа и содержащих разработку целого ряда положений широкого языкового плана, на отдельных секционных заседаниях были прочитаны доклады, посвященные разработке частных проблем современного румынского языка. К их числу относятся: доклад чл.-корр. АН СРР Д. Макря «Лексическая структура румынского языка», доклад А. Никулеску «Местоименные флексии в румынском

языке», доклад В. Куцу-Ромало «Артикль и детерминативные конструкции в румынском языке», доклад М. Караджиу-Мариотяну «Фонология румынского языка», доклад Ф. Димитреску-Никулеску «Особенности флексий имен существительных в румынском языке».

На отдельное секционное заседание были вынесены доклады по вопросам диалектологии. Работу секции «Современные и традиционные методы в диалектологии» возглавил ведущий диалектолог Румынии Б. Казаку, которым были представлены два доклада: «Новый лингвистический атлас Румынии. Часть I — Олтения» и «Диалекты румынского языка (*Происхождение, важность их изучения*)». Доклад «Новый лингвистический атлас Румынии» был посвящен принципам разработки и составления нового атласа, являющегося началом целой серии диалектальных описаний, полученных на базе применения специального вопросника. Новый лингвистический атлас Олтении содержит описание фонетических, морфологических и лексических особенностей диалекта Олтении, не зафиксированных ранее ни в лингвистическом атласе Румынии, ни в диалектологических монографиях.

На заседании секции диалектологии была представлена совместная работа канд. филол. наук Л. П. Блохиной и канд. филол. наук Р. К. Потаповой (Москва) «К вопросу об изучении звукового строя диалектов», в которой в результате обработки спектральных данных методами вариационной статистики был сделан вывод относительно возможности установления акустических параметров, характеризующих принадлежность речевого сигнала к определенной диалектальной группе. Доклад проф. Е. де Феличе (Генуя) «Историзм и структурализм в диалектологии» затрагивал общие вопросы исторической (диахронической) и структуральной (синхронической, дескриптивной) диалектологии. В работе лингвистических семинаров приняли участие и выступили в дискуссиях: проф. Э. Хэмп (Чикаго), проф. П. Трост (Прага), проф. В. Скаличка (Прага), проф. А. Исаченко (Оломоуц), доц. В. Манчак (Краков), проф. П. Русев (София), проф. Е. Цвирнер (Кельн), проф. Х. Люткe (Фрейбург), проф. Ж. Антуан (Орлеан), проф. Л. Велек (Монреаль) и др. Остальные доклады, обсуждавшиеся в последний день работы семинаров, касались вопросов методики преподавания иностранных языков.

В заключение следует отметить, что работа лингвистической секции в 1966 г. отличалась обилием и тематическим разнообразием докладов, что, несомненно, явится ценным вкладом в развитие исследований в области романистики.

Р. К. Потапова (Москва)

*

Изучение характера взаимовлияний албанского, греческого, славянских, тюркских языков и диалектов на Балканском полуострове, исторические судьбы носителей которых были тесно связаны на протяжении многих веков, конкретные лингвистические факты, обнаруживаемые при таком изучении, помогают решать многие важнейшие вопросы общего языкознания: о возможностях взаимопроникновения структур разных (дальнородственных и неродственных) языков, о путях возникновения новых языковых систем вследствие наложения системы одного языка на систему другого языка, о влиянии субстратов, суперстратов и адстратов на направление исторического развития языка, о влиянии иноязычных заимствований на изменения в системе языка, о природе так называемых «языковых союзов» и условиях их возникновения и др.

Поэтому проведение по инициативе ЮНЕСКО и правительства Болгарской Народной Республики I Международного конгресса по балканистике и изучению Юго-Восточной Европы (София, 26 августа — 1 сентября 1966 г.) привлекло большое внимание не только историков, археологов, этнографов, но и филологов, в том числе и лингвистов различных стран. В работе лингвистической секции Конгресса приняли активное участие языковеды как Балканских стран (Греции, Албании, Югославии, Болгарии, Румынии и Турции), так и многих других государств: Советского Союза, США, Англии, Франции, Италии, Чехословакии, Польши, Венгрии, ГДР, ФРГ, Австрии, Канады и др. На секции было представлено к обсуждению свыше ста докладов по общему и индоевропейскому языкознанию, славистике, романистике, греческому и албанскому языкам. Работа секции была сосредоточена в основном вокруг пяти больших проблем.

В докладах и выступлениях, посвященных первой проблеме (возникновение в языках балканских народов общих черт, так называемых «балканизмов»), указывалось на два принципиально возможных пути возникновения «балканизмов»: либо из единого источника, вследствие влияния языка-субстрата (возможно протоалбанского) на славянские, романские и т. д. языки Балканского полуострова (в пользу подобного мнения о моногенезе «балканизмов» высказыва-

лись В. Георгиев — Болгария, А. Росетти — Румыния), либо вследствие взаимовлияния живых балканских языков, широко распространенного в прошлом билингвизма и трилингвизма, дополненных тюркским суперстратом, а также влияния книжного греческого через церковь. В пользу гипотезы о полигенезе «балканизмов» приводился новый материал в различных докладах и выступлениях (П. Ивича — Югославия, Г. Болокана — Румыния, Э. Хэмпа — США и др.). В прениях по этим докладам приводился также диалектный материал, показывающий, по мнению выступавших (Ст. Стойкова — Болгария, О. С. Широкова — СССР и др.), что не только всю систему «балканизмов», но и отдельные общебалканские языковые явления нельзя возводить к единому источнику: возникновение того или иного «балканизма» в языке может быть объяснено одновременным влиянием нескольких внешних (иноязычных) факторов во взаимодействии с внутренними (тенденции развития в данном направлении, заложенные в самом языке).

На возможность установления романских источников для некоторых румынских «балканизмов» и славянских источников для болгарских указывали Э. Петрович (Румыния), И. Заимов (Болгария) и др. Такое явление, как постпозитивный артикль в румынском языке, было вызвано еще общероманскими тенденциями (ср. подобные же конструкции в некоторых западнороманских диалектах), но усилено и закреплено благодаря греческому влиянию, точно так же в ряде «балканизмов» болгарского языка можно проследить внутреннюю тенденцию, которая была усилена внешним влиянием. Как взаимодействие внутренних и внешних факторов представляется возникновение фонологической категории «твердости» — «мягкости» в румынском и болгарском языках и в северногреческом диалекте в докладах Р. Г. Пиотровского (СССР), Ив. Кочева (Болгария), в выступлении О. С. Широковой.

В. Георгиев отметил в своем выступлении, что если отдельные «балканизмы» в каждом изолированном случае и можно объяснить как чисто славянское, романское или греческое явление в каждом из языков, то появление всего «комплекса» балканизмов в нескольких соседних языках требует специального объяснения, опирающегося на разработанную методику исследования языковых схождений, отличую от обычной методики сравнительно-исторического изучения родственных языков. Такая строгая методика еще не разработана и усилия лингвистов-теоретиков должны быть направлены на совершенствование методов лингвистических исследований. Р. Г. Пиотровский указывал в своем докладе и выступлениях на необходимость разработки структурных и математических методов в их применении к исследованию «балканизмов» в отдельных языках, в частности необходимо строгое определение понятия «балканизма».

Второй проблеме (о судьбе «балканизмов» в отдельных языках и характере их конкретного проявления) были посвящены доклады Б. Конеского, Б. Видоеского и О. Яшар-Настевой (Югославия), Л. Гальди (Венгрия), В. Горжейшего (Чехословакия). Большую дискуссию вызвал доклад М. А. Габинского (СССР), посвященный возникновению вторичной инфинитивности в балканских языках. Докладчик расширил в сравнении с традиционным как понятие инфинитива, куда он включил также и ряд новообразований в албанском, румынском и других языках, так и само понятие балканских языков, отдельные черты которых он видит также в сефардско-испанском и цыганском языках, в некоторых южноитальянских наречиях. Дискуссия показала, что в науке нет еще строгого и точного определения структурных признаков, по которым язык следует считать входящим в балканский языковой союз; была признана также необходимость более четкого и непротиворечивого определения таких понятий, как инфинитив, супин, герундий.

Третьей проблеме (конкретные пути взаимодействия балканских языков в процессе их развития — как по линии общебалканских, так и гетерогенных черт) было посвящено большинство докладов. В докладах освещались взаимоотношения в области фразеологии, лексики, синтаксиса, морфологии, фонологии между отдельными балканскими языками: греческим и южнославянскими (А. Минчева и Б. Вельчева — Болгария, К. Гудшмидт — ГДР), восточнороманскими и южнославянскими (Б. Настев — Югославия; И. Манкен — ФРГ; Э. Петрович; И. Гылыбов — Болгария; Р. Ружичка — ГДР; И. Петруц — Румыния), албанским и славянским (И. Айети — Югославия), греческим и албанским (О. С. Широков, Э. Хэмп), албанским и романскими (С. Флокьи, Ш. Демирай, С. Риза — Албания; Х. Михэеску — Румыния; М. Доми — Албания) и др. Ряд докладов содержал ценную информацию об исторических взаимоотношениях между диалектами отдельных языков (Р. Г. Пиотровский; А. Доди, И. Гьинари — Албания).

Наибольший интерес вызвали доклады, связанные с албанским материалом; в ходе дискуссии высказывались различные взгляды выступавших на роль языковых

контактов и конкретные приемы их анализа, на методику собирания диалектного материала. О. С. Ш и р о к о в, Э. Х э м п и Р. Г. П и о т р о в с к и й в своих докладах продемонстрировали плодотворность применения методов структурной фонологии к решению конкретных вопросов исторического взаимодействия балканских языков и диалектов. Албанские языковеды Э. Ч а б е й и М. Д о м и в своих выступлениях указывали на необходимость использования в конкретных лингвистических исследованиях дополнительных экстралингвистических данных (этнографии, археологии, фольклористики и др.). Выступавшие отметили важность первых исследований взаимоотношений между диалектами разных языков (взаимоотношения албанских и греческих диалектов, албанских и сербскохорватских, аромунских и македонских и др.) и указывали на необходимость в дальнейшем расширения диалектологической работы (в особенности в области пока еще значительно отстающей греческой диалектологии), а также призвали к организации совместной работы по сбору и изучению материалов исчезающих бесписьменных языков на Балканском полуострове (цаконского, мегленороманского, сефардско-испанского, цыганского, гагаузского и др.) и изолированных балканских диалектов за пределами Балкан («арванитики» в Греции, «румейских» в СССР и др.).

Несколько докладов и выступлений (В. З а й о н ч к о в с к о г о — Польша, Г. Х а з а и — ГДР, Х. Э р е н а — Турция, Л. Б а з е н а — Франция, В.-М. Д ю Ф ё — Англия, И. Э р е н — Турция, Е. Б о е в а — Болгария, М. М о с к о в а — Болгария, Н. А. Б а с к а к о в а — СССР и др.) были посвящены четвертой проблеме — вопросам балканской тюркологии. В этих докладах и выступлениях освещались те элементы, характеризующие балканский языковой союз, которые имеют турецкое или иное тюркское происхождение. Было показано, что вымершие тюркские языки оставили несколько слоев в балканских языках, а территориально-диалектные различия внутри тюркских языков отложились в виде тюркского суперстрата в разных территориальных диалектах южнославянских и других балканских языков; изучение, например, болгарского диалектного материала помогает установить границы распространенных на этой территории в прошлом разных тюркских диалектов. Дискуссия показала, что тюркобалканистика еще не оформилась в самостоятельную отрасль, тюркологам и балканистам (славистам, эллинистам и т. д.) предстоит еще большая предварительная работа как по собиранию диалектного материала, так и по совершенствованию методов исследования, прежде чем лингвисты будут в состоянии исследовать два важнейших вопроса: а) почему, несмотря на древние контакты, тюркские языки не входят в балканский языковой союз?, б) в какой мере элементы тюркского происхождения характеризуют балканский языковой союз?

Особо стояла серия докладов, посвященных последней, пятой теме: проблемы древних балканских языков и отношение балканского языкового арсенала с соседними областями. Этим проблемам были посвящены доклады и сообщения О. Х а а с а (Австрия), Р. А. К р о с с л а н д а (Англия), О. М а с с о н а (Франция), П. М е р и д ж и (Италия), А. В. Д е с н и ц к о й (СССР), В. Г е о р г и е в а (Болгария), М. Д. П е т р у ш е в с к о г о (Югославия), А. Б а р т о н к а (Чехословакия), Х. Г е й с с а (ГДР), Ф. З а г и б ы (Австрия), К. В л а х о в а (Болгария), Э. Л а р о ш а (Франция), Г. М и х а й л о в а (Болгария), И. Ш р ё п ф е р а (ФРГ) и др. Доклады показали перспективность изучения древних лингвистических связей Балкан с Малой Азией. По ряду вопросов возникали дискуссии, в частности по вопросу о происхождении албанского языка, прародине албанцев и отношении албанского языка к мессапскому, иллирийскому, дако-мизийскому и фракийскому. Некоторые албанские ученые (М. Доми и др.) отстаивают гипотезу о распространении в начале н. э. единого праалбанского «иллирийского» языка от северного Эпира до Дуная, оспаривая гипотезу, восходящую к исследованиям А. М. Селищева, о сравнительно позднем заселении албанцами Чама и Ляберии и о приходе предков албанцев на нынешнюю территорию с северо-востока. Дискуссию вызвала также проблема периодизации истории албанского языка (чему большое внимание уделялось в докладе А. В. Десницкой).

В ходе прений по всем отмеченным проблемам внесены конкретные предложения. Вот некоторые из них: 1) к Международному комитету по исследованию Юго-Восточной Европы — создать специальную постоянную комиссию по языкознанию; 2) организовать систематическое изучение наименований селений на всем Балканском полуострове, чтобы определить отдельные топонимические ареалы, а этим и древние зоны языковой интерференции; 3) организовать совместную работу по изучению и сбору материалов исчезающих языков, связанных с балканским языковым союзом, как «арванитики» в Греции, арберешского в Италии, «румейских» в СССР, гагаузского и других бесписьменных тюркских языков в Болгарии и Югославии, сефардско-испанского в южнобалканских странах и др.; 4) проводить совместное изучение методики исследования вторичных языковых схождений, в том числе изучение возможностей при-

менения для этих целей вероятностно-статистических и логико-математических приемов анализа; 5) при журнале «Балканское языкознание» (Болгария) создать постоянный центр для текущей библиографической информации в области балканского языкознания.

В целом Конгресс показал, что балканские языки являются благодатной почвой для совместной исследовательской работы лингвистов разных специальностей (славистов, романистов, эллинистов, албанологов, индоевропеистов, тюркологов), а балканистика в целом — для совместной работы лингвистов с этнографами, фольклористами, археологами, историками.

О. С. Широков (Минск)

*

С 9 по 14 сентября 1966 г. в Самарканде состоялась созванная Самаркандским госуниверситетом им. Алишера Навои Всесоюзная конференция по проблеме «Основные проблемы эволюции языка». В конференции приняли участие языковеды ряда университетов и пединститутов страны, а также научные сотрудники Института языкознания, Института русского языка и ЛО Института языкознания АН СССР, Института языкознания ГрузССР, Институтов языка и литературы КазССР, Туркменской и УзбССР, сектора гуманитарных исследований Сибирского отделения АН СССР.

Разосланная Оргкомитетом конференции анкета предлагала ответить научным сотрудникам всех вузов и научных учреждений, занимающихся проблемами языкознания и смежными науками, на ряд вопросов, касающихся основных проблем советского языкознания, различных направлений в лингвистической науке и т. п. (ответы на анкету будут опубликованы).

Работа конференции проходила в пяти секциях: 1) социальных факторов в развитии языка, языка и речи и языковых контактов; 2) лексики, семантики, фразеологии и стилистики); 3) синтаксиса; 4) морфологии и словообразования и 5) диалектологии, топонимастики, фонетики и фонологии. На шести пленарных заседаниях было сделано 19 докладов, освещающих наиболее общие и важнейшие проблемы эволюции языка и отдельных групп (семей) языков. Всего было прослушано 96 докладов.

В своем вступительном слове председатель Оргкомитета, ректор Самаркандского ун-та им. Алишера Навои акад. АН УзбССР В. А. Абдуллаев, подчеркнул своевременность и актуальность созыва конференции, остановился на определенных успехах, достигнутых самаркандскими филологами и лингвистами в деле разработки некоторых существенных общих и частных проблем языкознания (фразеология, диалектология, грамматика).

Председатель Научного совета по теории языкознания при АН СССР акад. АН СССР В. М. Жирмунский (Ленинград), рассказавший о задачах и деятельности Совета со времени его организации в сентябре 1961 г., отметил, что с организацией Научного совета по теории языкознания в определенной мере улучшилась координация научно-исследовательских работ в области лингвистики и информации о важнейших достижениях советского языкознания, был созван ряд всесоюзных и региональных научных конференций и симпозиумов. Совету, однако, до настоящего времени не удается выпускать регулярный «Бюллетень», в котором бы освещалась деятельность этого координационного органа; докладчик призвал также конференцию отметить в резолюции необходимость регулярных периодических изданий по языкам народов СССР (в частности, по тюркскому языкознанию) и по языкам зарубежных стран (например, по романо-германской филологии). В. М. Жирмунский подробно остановился на основных проблемах, изучаемых советским языкознанием (социология языка, разработка теоретических грамматик отдельных языков и сравнительных грамматик, диалектология, лингвостилистика). Он отметил также факт расширяющегося сотрудничества и сближения между представителями так называемого традиционного языкознания и структурной лингвистики.

Основные положения содоклада секретаря Научного совета по теории языкознания Г. А. Климова (Москва), где была дана характеристика основных направлений работ московских и ленинградских центров структурной и прикладной лингвистики, изложил на конференции И. А. Мельчук.

Т. П. Ломтев (Москва) в докладе «Источники и механизм развития структуры языка» разграничил два класса противоречий, являющихся источником развития языка, указав, что история конкретного языка есть история постепенного преодоления внутриструктурных противоречий в условиях разрешения внешних противоречий. Докладчик изложил свое понимание механизма развития структуры языка как вероятностного процесса, отметив, что такое понимание не исключает наличия в данном процессе детерминизма. Возражая Т. П. Ломтеву, А. Г. Волков и И. А. Хабаров (Москва) указали на невозможность рас-

сматривать вероятностный процесс как детерминированный, поскольку последний обязательно предполагает линейную (причинную) связь между явлениями.

В докладе акад. АН ГрузССР А. С. Чикобава (Тбилиси), прочитанном И. Б. Рамишвили, «Эволюция языка: внутренние стимулы и внешние факторы» также было указано на ведущую роль внутренних стимулов сравнительно с внешними факторами развития системы и структуры языка и дана развернутая характеристика внешних факторов развития языка (контактов, взаимовлияния языков) и внутренних стимулов его развития (выравнивание индивидуальных особенностей речи, реинтерпретация фактов языка, выравнивание различных парадигматических, деривационных и т. п. рядов — так называемые явления аналогии, «давления системы»). Характеристика противоречий в лексике и фразеологии как движущая сила языкового развития была дана в докладе Т. А. Дегтяревой и И. И. Чернышевой (Москва) «Элементы диалектики в развитии языка».

В докладе «О соотношении синхронического и диахронического описаний (к постановке вопроса)» И. А. Мельчук (Москва) в противовес традиционному пониманию синхронической лингвистики как статической, а диахронической как динамической, высказал мнение об определенной близости задач синхронического и диахронического языкознания, указав на необходимость дальнейшего сближения логических оснований обеих лингвистик.

Лингвистической историографии был посвящен ряд докладов, прочитанных на пленарных заседаниях конференции: А. М. Мухина (Ленинград) «Е. Д. Поливанов как выдающийся представитель ленинградской лингвистической школы (к 75-летию со дня рождения)», Л. И. Ройзензона и У. Т. Турсунова (Самарканд) «Е. Д. Поливанов и вопросы эволюции языка», Н. А. Слюсаревой (Москва) «Влияние идей казанской школы на становление теории Ф. де Соссюра о соотношении синхронии и диахронии».

Уточнению понятия дистрибуции применительно к дистрибутивным микросистемам предлогов русского языка был посвящен доклад Л. Н. Засориной (Ленинград) «Дистрибутивные структуры синтаксиса и их эволюция».

Описание пространственно-временной характеристики потока речи дано в докладе А. Г. Волкова: соответствующим образом формализованная, такая характеристика обеспечивает строгое научное определение лингвистического объекта и семиотики в целом.

Проблеме типов эволюции в соотношении грамматических категорий с категориями понятийными (на примере генезиса славянского глагольного вида) был посвящен доклад А. В. Бондарко (Ленинград).

М. М. Закарьян (Вильнюс) в докладе «Вопросы метода, методологии и философских основ языкознания» отметила, что при попытке рассмотрения философских и теоретических вопросов современного языкознания приходится сталкиваться с расплывчатостью, неоднозначностью терминов этой области, в первую очередь — «метод», «методика», «методология», «философские основы», и предложила свое понимание соотношения между этими терминами. Определяющим, по мнению докладчика, оказываются не методы (методология) исследования, а его конечные результаты.

В докладе «Эволюция понятия „лингвистическая семантика"» Ю. Д. Апресян (Москва) подчеркнул, что две основные задачи современной семантики — моделирование понимания текстов (анализ) и производства текстов (синтез) — решаются составлением алгоритмов перевода с естественного языка на семантический и обратно. Во втором докладе «Развитие по аналогии в синтаксисе и грамматика словаря» Ю. Д. Апресян выдвинул понятие синтаксической парадигмы — совокупности синтаксических свойств класса близких по значению слов. Множество синтаксических парадигм и правила обращения с ними — важный фрагмент грамматики словаря, позволяющий единообразно и экономно описывать синтаксические свойства слов.

В докладе В. Ю. Розенцвейга (Москва) «Конвергенция языков в процессе контактов» были проиллюстрированы принципиальные изменения программы речевого поведения носителей разных языков в результате длительных их контактов: а) изменение правил перехода от текста к смыслу (понимания) и б) изменение правил перехода от смысла к тексту (говорения).

На пленарных заседаниях конференции были также прослушаны доклады И. Д. Кобалава (Тбилиси) «О направлении звуковых изменений в лингвистике», А. П. Дульзона (Томск) «О древней центральноазиатской языковой общности», Е. А. Земской (Москва) «Изменения в структуре производного слова в русском литературном языке советской эпохи» и Г. А. Абдурахманова (Ташкент) «К истории развития сложных предложений в узбекском языке».

На заседании секции социальных факторов в развитии языка, языка и речи и языковых контактов интерес вызвал доклад М. И. Черемисиной (Новосибирск) «Естественный язык, естественная речь и моделирование этих объек-

тов», где «логическое развертывание» (по мысли автора, это — вторая функция аппликативно-порождающей модели языка по Шаумяну — Соболевой) предлагается рассматривать как исчисление эволюционных возможностей языка, заключенных в самой его системе. Некоторые вопросы эволюции речи и мышления, языка и сознания обсуждались в докладе В. Т. Ковальчука (Ош).

Проблема влияния социальных факторов на эволюцию различных языков обсуждалась в докладах М. З. Закиева (Казань), В. Х. Хакова (Казань), Е. К. Микерова (Москва), А. С. Канюковой (Чебоксары), В. П. Тимофеева (Шадринск), А. Н. Чобану (Кишинев), Э. М. Медниковой (Москва); к этой же тематике примыкает доклад Л. М. Скрелиной (Минск) «Об особенностях эволюции речи и языка».

Роли взаимодействия языков в языковой эволюции был посвящен ряд докладов: Э. Н. Кушлиной (Душанбе), Ш. Ч. Сата (Кызыл), Г. Я. Панкраца (Алма-Ата). Были прослушаны также доклады В. П. Нерозника (Ленинград) об эволюции фракийских языковых реликтов в балканских языках, Ж. Хамдамова (Самарканд) о русских заимствованиях в узбекском до присоединения Средней Азии к России, Л. Ю. Максимова (Москва) о тенденциях развития русской стихотворной речи в XIX—XX вв. и Х. Д. Даниярова (Самарканд) об этногенезе узбеков-кыпчаков.

На заседании секции лексики и семантики, фразеологии и стилистики был прочитан ряд докладов, посвященных развитию семантической структуры языка (М. Ф. Павлевской — Кишинев, А. И. Кузнецовой — Москва, А. Н. Шиловского — Днепропетровск, Т. Ходжаева — Самарканд), а также развитию лексики и терминологии (М. Д. Феллера — Львов, Л. А. Капанадзе — Москва, Э. В. Кузнецовой — Донецк, Ф. А. Литвина — Орел, Л. В. Малаховского — Ленинград, Н. Е. Буровой — Иваново, А. Д. Хаютина — Самарканд, М. С. Коробовой — Гурьев). Были прослушаны также доклады Л. З. Совы (Ленинград) «Языковая интуиция: смысл и форма» и М. У. Эткина (Карши) «Коммуникативный и экспрессивный факторы в развитии функционального стиля». Эволюция фразеологизмов, крылатых слов и устойчивых словесных комплексов изучалась в докладах Л. С. Вирясовой (Фрунзе), Б. С. Шварцкопфа (Москва), К. М. Гюлумянца (Самарканд), А. Г. Ломова (Самарканд), слóва *чор* в таджикском языке — Х. Гулямовым (Ташкент).

Оживленную дискуссию вызвал прочитанный на заседании секции доклад Л. П. Ступина (Ленинград) «Эволюция понятия нормы языка в английской и американской лексикографии», где утверждается понимание нормы как отражения существующих в языке в данное время употреблений, а не как отражения употребления наиболее авторитетных носителей языка данной эпохи. Ряд интересных соображений содержал доклад А. А. Цоя (Самарканд) «Семантика как фактор синтаксического конструирования (к истории изучения данной проблемы в русском языкознании)».

На заседаниях секции синтаксиса были прочитаны доклады В. З. Санникова (Москва), А. З. Абдуллаева (Баку), И. П. Белецкой (Киев), О. В. Мутта (Тарту), Т. А. Колосовой (Алма-Ата), В. Н. Мещерякова (Душанбе), Г. И. Климовской (Томск). Сопоставлению элементов синтаксического строя неродственных языков были посвящены доклады Л. А. Клетновой (Самарканд), М. М. Нушарова (Самарканд), Г. Д. Юлдашевой (Ташкент).

Работа секции морфологии и словообразования была в основном посвящена рассмотрению проблем эволюции отдельных грамматических категорий в различных языках (категории падежа — Г. И. Коляда, Ташкент; В. Б. Куликов, Самарканд; категории вида глагола — Ю. Ю. Авалиани, Самарканд; А. Н. Тихонов, Самарканд; других категорий глагола — М. А. Абдрахманов, Новокузнецк; П. И. Инэнклей и В. П. Недялков, Ленинград; категории наречия — П. И. Инэнликэй), проблемам развития форм по аналогии (В. З. Марин — Кишинев), а также эволюции словообразовательных моделей (М. Хыдыров — Ашхабад, В. М. Никитевич — Алма-Ата, С. В. Смирницкая — Ленинград), конверсии (К. Ю. Юсупов — Фергана) и т. д. На секции были прочитаны также доклады: И. А. Смирновой (Ленинград), А. А. Горбачевского (Душанбе), В. Мажюлиса (Вильнюс), П. Н. Стрелкова (Саранск).

На заседаниях секции диалектологии, топономастики, фонологии и фонетики были прочитаны доклады по диалектологии — С. М. Глускиной (Псков), В. Д. Бондалетова (Пенза), Б. Дж. Джураева (Ташкент), Н. Раджабова (Самарканд); по топонимике и ономастике — А. В. Суперанской (Москва), Э. Б. Магазаника (Самарканд), Е. Ф. Теплова (Петрозаводск), Р. Кунгурова (Самарканд);

по фонетике — С. М. Кузьминой (Москва), А. Ишаева (Ташкент), С. Ю. Адливанкина (Пермь).

На заключительном пленарном заседании в связи с отсутствием единообразия в употреблении лингвистических терминов, наблюдающемся в языкознании, было высказано пожелание о подготовке в ближайшее время специального исследования о языке лингвистики. В резолюции конференции особо оговорено пожелание переиздать опубликованные, но ставшие библиографической редкостью, и издать неопубликованные труды классиков русского языкознания Н. В. Крушевского, А. А. Шахматова, Д. Н. Кудрявского, Е. Д. Поливанова и мн. др.

Конференция рекомендовала просить Министерство высшего и среднего специального образования об организации при Самаркандском университете специальной лингвосоциологической лаборатории. Конференция также высказалась за введение в учебные программы языковедческих вузов и факультетов специальных курсов по истории лингвистических учений, по социальной лингвистике, по ономастике. В особом пункте резолюции конференция поставила вопрос об организации при Самаркандском университете им. Алишера Навои ежегодную летнюю школу по проблемам и методам изучения языкового контактирования.

Л. И. Ройзензон, Р. И. Могилевский (Самарканд)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Приводимый список подтверждает получение посланных в редакцию книг. Редакция благодарит издательства и авторов, направивших книги в адрес журнала «Вопросы языкознания». Редакция сообщает, что она не может гарантировать рецензирование всех присланных книг. Рецензии помещаются в зависимости от возможностей и от профиля журнала, два экземпляра оттисков рецензии высылаются издателям или авторам. Присланные книги не возвращаются.

Материалы по русско-славянскому языкознанию. II.— Воронеж, 1966. 192 стр.

М. А. Бородина. Проблемы лингвистической географии (на материале диалектов французского языка).— М.— Л., 1966. 220 стр.

Годишњак филозофског факултета у Новом Саду. VIII.— Нови Сад, 1964—1965. 404 стр.

Зборник за филологију и лингвистику. VIII.— 1965. 242 стр.

Прилози проучавању језика. 1.— Нови Сад, 1965. 217 стр.

Bulletin de la société Roumaine de linguistique Romane (S. R. L. R.). II.— Bucarest, 1965. 46 стр.

Československá rusistika. XI, 3. 1966. Стр. 129—193.

«Readings in linguistics». I. The development of descriptive linguistics in America 1925—56.— Chicago and London, 1966, 421 стр.

«Readings in linguistics». II — Chicago and London, 1966, 395 стр.

Slovo a slovesnost. XXVII, 3. 1966, 288 стр.

E. Benveniste. Problèmes de linguistique générale.— [Paris], 1966, 357 стр.

V. Bohm — G. Ljungdahl. De slaviska språkens släktskap.— Stockholm, 1966. 69 стр.

M. Coyaud. Introduction á l'étude des langages documentaires.— Paris, 1966. 148 стр.

H. Gipper, H. Schwarz. Bibliographisches Handbuch zur Sprachinhaltsforschung. I, 7. (Gulkowitsch — Gytkiaer).— Köln — Opladen, 1966, 773 стр.

R. Jakobson. Selected writings. IV. Slavic epic studies.— The Hague — Paris, 1966. 751 стр.

Marina Kucała. Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim.— Wrocław — Warszawa — Kraków, 1966. 179 стр.

W. Labov. The social stratification of English in New York City.— Washington. 1966. 655 стр.

J. Mateši6. Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen, I, 1 (228 стр.); II, 2 (464 стр.).— Wiesbaden, 1965.

Hajdú Péter. Bevezetés az uráli nyelvtudományba (A magyar nyelv Finnugor alapjai).— Budapest, 1966. 180 стр.

P. Saukkonen. Itämerensuomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa. II.— Helsinki, 1966, 229 стр.

T. A. Sebeok. Portraits of linguists. A biographical source book for the history of western linguistics. I (1580 стр.); II (605 стр.).— Bloomington and London, 1966.

A. Wandas. Język staroruskiego przekładu polskich statutów ziemskich kazimierza wielkiego i Władysława Jagietty.— Wrocław — Warszawa — Kraków, 1966, 80 стр.

J. U. Wolff. Beginning Cebuano. I.— New Haven and London, 1966. 686 стр.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

БЕ — «Български език»
ВЯ — «Вопросы языкознания»
ВИ — «Вопросы истории»
ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»
ВФ — «Вопросы философии»
ВДИ — «Вестник древней истории»
ИАН ОЛЯ — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»
ИАН ОТН — «Известия АН СССР. Отделение технических наук»
«Р. яз. в шк.» — «Русский язык в школе»
«Ин. яз. в шк.» — «Иностранные языки в школе»
РФВ — «Русский филологический вестник»
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»
ЗВО РАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества»
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР»
СбНУ — «Сборник за народни умотворения»
ФН — «Доклады высшей школы. Филологические науки»
ADAW — «Abhandl. der Deutshen (Berliner) Akad. der Wissenschaften», Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst»
AfslPh — «Archiv für slavische Phililigie»
AKGW — «Abhandl. der Königl. Geselschaft der Wissenschaften zu Göttingen»
AL — «Acta linguistica» (Budapest и Copenhague)
AO — «Archiv orientalni»
APAW — «Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften», Philosoph.— hist. Klasse.
BPTJ — «Biuletyn Polskiego towarzystwa językosnawczego»
BSLP — Bullétin de la Société de linguistique de Paris»
BSOS — «Bulletin of the School of Oriental studies»
BCLC — «Bullétin du Cercle linguistique de Copenhague»
BzNf — «Beiträge zur Namenforschung»
CFS — «Cahiers F. de Saussure»
IF — «Indogermánische Forschungen»
IIJ — «Indo-Iranian journal»
IJAL — «International journal of American linguistics»
JA — «Journ. asiatique»
JASA — «Journ. of the Acoustical society of America»
JEGPh — «Journ. of English and Germanic philology»
ЈФ — «Јужнословенски филолог»
JP — «Język polski»
JRAS — «Journ. of the Royal Asiatic society»
JRSS — «Journ. of the Royal statistical society»
JSFOu — «Journ. de la Société finno-ougrienne»
KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», hrsg. von A. Kuhn
MSLP — «Mémoire de la Société de linguistique de Paris»
MSFOu — «Mémoire de la Société finno-ougrienne»
MSOS — «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin»
NTS — «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap»
PBB — «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (Tübingen и Halle)
PMLA — «Publications of the modern language assotiaton of America»
RÉG — «Revue des études grecques»
RÉSL — «Revue des études slaves»
RF — «Romanische Forschungen»
RKJL — «Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa naukowego»

RKJW — «Rozprawy Komisji językowej Wroclawsk. t-wa naukowego»
RLR — «Revue de linguistique romane»
RO — «Rocznik orientalistyczny»
SAS — «Slovo a slovesnost»
SMS — «Sborník matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu»
SDAW — «Sitzungsberichte der Deutschen Acad. der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SPAW — «Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften»
Stud. or. — «Studia orientalia»
SWAW — «Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften»
TCLC — «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague»
TCLP — «Travaux du Cercle linguistique de Prague»
UAJb — «Ural — Altaische Jahrbücher»
ZfceltPh — «Zeitschrift für celtische Philologie»
ZfPh — «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft»
ZfS — «Zeitschrift für Slavistik»
ZfslPh — «Zeitschrift für slavische Philologie»
ZfromPh — «Zeitschrift für romanische Philologie»
ZfdPh — «Zeitschrift für deutsche Philologie»
ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Geselschaft»

CONTENTS

Articles: D. Brozovič (Zagreb). Slavonic standard languages and the comparative method; **Discussions:** L. V. Bondarko (Leningrad). The structure of the syllable and characteristics of the phonemes; V. I. Grigoriev (Moscow). Modulative nature of speech and the distinctive features of phonemes; A. F. Losev (Moscow). Logical characteristics of methods of structural typology; E. M. Pospelov (Moscow). Cartography as a method for the investigation of substrat toponymics; **Materials and notes:** I. A. Perelmuter (Leningrad). On the primitive function of Indo-European perfect; A. S. Liberman (Leningrad). The Common Germanic (h) and some regularities of sound changes; A. N. Tikhonov (Samarkand). On the semantic correlation of deriving and derived stems; G. E. Kornilov (Čeboksary). On the types of topnyms in agglutinative languages; **Critics and bibliography; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: D. Brozovič (Zagreb). Langues slaves standardisées et la méthode comparative; **Discussions:** L. V. Bondarko (Léningrad). Structure de la syllabe et caractéristiques de phonèmes; V. I. Grigoriev (Moscou). Nature modulative de discours et traits distinctifs de phonèmes; A. F. Losev (Moscou). Caractéristique logique des méthodes de typologie structurale; E. M. Pospelov (Moscou). Cartographie comme méthode d'investigation des toponymes de substratum; **Materiaux et notices:** I. A. Perelmuter (Léningrad). Sur la fonction primitive du parfait indo-européen; A. S. Liberman (Léningrad). Le (h) de germanique commun et quelques regularités de changements phonétiques; A. N. Tikhonov (Samarkand). Sur la corrélation sémantique des bases derivantes et derivées; G. E. Kornilov (Čeboksary). Sur les types des toponymes dans les langues agglutinatives; **Critique et bibliographie. Vie scientifique.**

SUBSCRIPTION FOR THIS JOURNAL IS ACCEPTED BY FIRMS DOING BUSINESS WITH V/O «MEZDUNARODNAJA KNIGA»

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их — в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть тщательно и четко написаны чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью; чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями; все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка.

8. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев,*
М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский,
Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

Технический редактор Л. Д. Мельникова

Сдано в набор 11/XI-1966 г. Т-01119 Подписано к печати 6/I-1967 г. Тираж 6700 экз.
Зак. 1556 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л. 15,4 Бум. л. 5¹/₂ Уч.-изд. л. 17,5

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10